

ПЕТРОВИЧ

Олег Зайончковский

Финалист премий
«Национальный бестселлер»
«Русский Букер»
«Большая книга»



Олег Зайончковский

ПЕТРОВИЧ

Романы

Москва
«Астрель»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
3-12

Художник *Ирина Сальникова*

Зайончковский, О.В.

3-12 Петрович: романы / Олег Зайончковский. – М. : Астрель, 2012. – 412, [4] с.

ISBN 978-5-271-44973-4

Олега Зайончковского называют последователем русской классической традиции и одновременно одним из самых оригинальных современных русских прозаиков.

И в романе «Сергеев и городок», и в «Петровиче» герои живут «не так далеко от Москвы», ритм их жизни подчинен природному, совпадает с течением времени, здесь четче проступает связь поколений. Герой «Петровича» – мальчик, подросток, юноша – окружен любящей семьей, где его кличут отнюдь не детским именем Петрович. Последовательно переживая каждому известные тревоги: детский сад, драка во дворе, первая рыбалка – Петрович взрослеет и то ли находит свой путь, то ли повторяет кем то уже пройденный и заранее предопределенный...

Роман вошел в лонг-лист премии «Ясная Поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 10.08.12. Формат 84х108/32.
Усл. печ. л. 12. Тираж 2500 экз. Заказ № 6906.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-271-44973-4

© Зайончковский О.В.
© ООО «Издательство Астрель»

ПЕТРОВИЧ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕ УТЕРПЕЛ

О сколько врагов себе нажил старый глупый СССР этой ежеутренней трансляцией гимна. Сколько теплых голых тел, сплетенных в собственных нежнейших союзах, содрогались в постелях при первых его раскатах, возглашавших «союз нерушимый» и все остальное... Петрович, например, проснувшись среди ночи, чтобы перевернуться на другой бок, всегда прислушивался со страхом — не раздастся ли знакомая до боли прелюдия: отдаленный, но скребущий душу звук сливаемой где-то канализационной воды. Вообще композитор Александров и помыслить не мог, как много тем прибавит страна к его партитуре: топанье нетвердых спросонья ног, нечаянные громкие пуканья, шкворчанье бесчисленных утренних яичниц, взаимные раздраженные понукания... И все это на фоне литавр, бьющейся посудой сыпавшихся изо всех открытых окон, и петушьей переклички — ближних с дальними — хоров, с утра исполненных гражданственного счастья.

Первым в доме просыпался и вставал без будильника родоначальник Генрих. Щетина на его щеках отрастала так быстро, что к утру уже начинала драть подушку. Во сне еще патриарх начинал почесывать лицо и шею, затем несколько раз сильно тянул носом и, наконец, издавал громкий зевок, распутивая ночные тени. Минуту спустя кровать его принималась скрипеть и пошатываться — Генрих делал лежачую гимнастику. Так и эдак поводил он своими худыми членами, нещадно хрустевшими в суставах, и бурно дышал. Можно предположить, что шумы, производимые дедом при пробуждении, имели кое-какую тайную цель, а именно — вернуть из забвения Ирину, недвижно и неслышимо почивавшую на соседней кровати. Цель достигалась: голова, упакованная в сетку для волос, поворачивалась на подушке; глаз, обрамленный морщинками, моргнув несколько раз, фокусировался на Генриховых пассах. «О-хо-хо...» — вздыхала Ирина, ложилась на спину и тоже принималась делать гимнастику. Упражнения (вычитанные лет тридцать назад в медицинском журнале) неукоснительно приводили в действие все системы организма. Генрих вставал, целовал жену в сетчатый лоб и как был — в просторных цветных трусах — шел в уборную. Минуты, проведенные дедом наедине с целым миром, помещенным во вчерашних «Известиях», — эти десятки минут и были последним, уже отравленным тревогой затишьем перед бурей... Но вот взрывался победным ревом унитаза. Генрих, презиравший старческое шарканье, топал по-солдатски на кухню, чтобы включить проклятый репродуктор, а затем, запершись в ванной, впал в ежеутреннее безумство. Ни закрытая дверь, ни вся мощь государственной музыки не могли заглушить диких звуков, издаваемых Генрихом при умывании. Его яростные фыркания, рычания и вскрики наводили прямо-таки на мысль о драке, но с кем мог сражаться дед, запершись среди зубных щеток и сохну-

щей постирушки, было абсолютно непонятно. Петрович всякий раз удивлялся, находя его после ванной целым, ароматным и заметно повеселевшим. Как бы то ни было, но не проснуться от всего этого шума мог только мертвый (и то, если принять на веру Иренино выражение). Обнаруживая свою принадлежность к царству живых, на сцену утра выходили и привычно здоровались друг с другом Ирина, Катя, Петя... Все, кроме Петровича, ждавшего, затаясь, — ждавшего до последней минуты какого-то чуда, которое сломает хотя бы на этот раз постылый ход вещей...

Но увы — он и сегодня услышал знакомые шаги, и мягко открывшуюся дверь... и тихий Катин голос, позвавший:

— Петрович...

— Что? — глухо в подушку отозвался он.

— Ты знаешь, что... — Ее голос прозвучал печально, но твердо. — Пора.

Нет, как ни облекай эти слова в ласку и нежность, их жестокости не скроешь. «Пора!» — не с таким ли понуждением она когда-то исторгла его из собственного чрева? Тогда, наверное, Петрович сопротивлялся и возмущенно орал на руках у акушерки, но сейчас... сейчас он только злобно брыкнул ногой, сам сбросив с себя одеяло. Хорошо же! Вам нужен Петрович — извольте. Он сел на кровати и, сурово посмотрев на Катю, объявил:

— А лифчик я не надену! — И с вызовом добавил: — Вообще никогда.

Она ахнула:

— Господи, началось!

Зная его характер, Катя даже не попыталась подступить к нему силой. Швырнув на стул приготовленную сбрую с чулками, она ринулась на кухню за подмогой:

— Петя, Ирина, что мне с ним делать?

Мрачно нахохлившийся Петрович услышал знакомый семейный квартет. Женские голоса выпевали про

чулки и его, Петровича, несносное упрямство; мужчины, не отрываясь от завтрака, отрывисто и невнятно мычали. Наконец, прожевав, Генрих с досадой громыхнул вилкой:

— Дать ему брюки, и конец! Некогда сейчас воевать.

Им было некогда, поэтому старшие сдались. Катя принесла и сердито кинула ему новые брюки:

— Знал бы ты, как с тобой тяжело!

Знала бы она, с каким тяжелым сердцем начинал Петрович этот день, несмотря даже на свою победу над чулками.

В сад они с Катей трюхали на троллейбусе. В другие дни изредка им подвертывался знакомый, весьма боевой «козлик» из Катиного КБ. Едва успевали они разместиться на тесном сиденье, как «козлик» уже мчал по проспекту, хлопая тентом и оставляя за флагом весь попутный транспорт. Тогда Петровича охватывало радостное возбуждение, он захлебывался гордостью и лихим ветром из форточек. Зато троллейбусы... Петрович раза два в жизни видел похоронные процессии — так вот, они были такие же скучные и медленные, как троллейбусы, только с музыкой. Рогатые ублюдки могли двигаться, только цепляясь за провода, без которых становились совершенно беспомощными; к тому же в них отсутствовал запах бензина и выхлопных газов. В представлении Петровича троллейбусы были машинами низшего сорта — недаром к рулю их нередко допускались толстые болтливые тетки.

Под однообразный вой электрического мотора Петрович уныло ковырял резинку, обрамлявшую окно, — ковырял, пока не получил от Кати легонько по рукам. Скучной была поездка, но и конец ее радости не сулил. Вот она, нужная остановка, и надо выбираться, протикиваясь меж чьих-то задов и животов. Еще несколько сотен метров отделяли Петровича от ежедневной его Голгофы. Влекомый Катиной рукой, он, стиснув зубы,

смотрел не вперед, а на собственные мелькающие внизу ноги, словно удивляясь своей покорности.

Сад окутал его всегдашней своей тошнотворной спиралью. Словно жирный кит, перед тем как не жуя проглотить Петровича,дохнул на него влажно и несвеже. Что ж, беги, Катя, не забудь только вернуться вечером... Опаздывая на работу, она припустила через садовский дворик, по-женски разбрасывая икры и не чувствуя на спине его прощального взгляда.

Кит сомкнул пасть, сглотнул и вверг его в свое затхлое и отнюдь не материнское чрево. Там копошилось и переваривалось уже немало Петровичевых товарищей по несчастью. Странно, однако, что в массе они казались вполне довольными жизнью: орали что-то возбужденно-бессмысленное и чувствовали себя совершенно в своей тарелке. Кстати, о тарелках: как могли садовцы жрать эту запеканку, поданную на завтрак! Петровича мутило от одного вида этой желтой гадости, а вот Ольга Байран, не наевшись, еще и у Прокофьевой украла кусок. Впрочем, Прокофьева быстро нашлась и в свою очередь стащила нетронутую порцию у Петровича при полном его брезгливом непротивлении.

Стоит ли удивляться, что Петрович чувствовал себя чужим в стаде этих жизнерадостных идиотов. Один лишь сухорукий Кашук составлял ему приятную компанию, но бедняга часто хворал и пропускал сад. Лишенный общества Петрович выпрашивал у воспитательницы карандаши и бумагу и садился в углу рисовать. Не потому, что так уж любил это занятие, а просто чтобы убить время. Выбор цветов, увы, предоставлялся ему небогатый, так как карандаши в саду были вечно поломанные. Досаждали также пахнувшие запеканкой дети, то и дело заглядывавшие через плечо и шмыгавшие над ухом соплями. Что он рисовал? Он и сам с трудом ответил бы на этот вопрос. Во всяком случае, на его рисунках не было ни танков с самолетами, ни домиков с дым-

ками, ни солнечных пасторалей. Длинные полосы через весь лист могли означать промчавшийся автомобиль или ветер, унесший Петину шляпу; пульсирующие круги, расходившиеся из красной точки, изображали наглядно температуру тридцать девять и пять. Рыжая Байран, взглянув однажды, фыркнула и вынесла приговор: «Каля-маля!» С тех пор она повторяла свой суд регулярно. «Каля-маля!» – вскрикивала Байран пронзительной фистулой, подкравшись к Петровичу со спины.

А сегодня он пытался нарисовать сон, увиденный уже после того, как Генрих, выстрелив шпингалетом, засел в уборной. Снился Петровичу ночной город: дома и окна в домах, гаснувшие одно за другим. Лист бумаги заштриховывался все гуще, пока не сточился единственный найденный Петровичем черный карандаш.

Но, как карандашный грифель, было хрупким даже такое, весьма относительное уединение. Татьяна Ивановна (о, этот голос!) уже созывала садовцев на прогулку: «Строиться, всем строиться!.. Быстренько!.. А ну, кто там егозит? Я все вижу!..» Петрович вздохнул и пошел к шкафу, где вместе с другими, по большей части испорченными, игрушками стопкой лежали потертые рули, выпиленные из той же фанеры, что и здешние стульчики. Выбрав из нескольких, на первый взгляд одинаковых, рулей тот с маленькой зазубриной, который он считал своим, Петрович встал в строй. Пару себе он, к сожалению, выбирать не мог: по неизвестной причине (скорее всего, из личной к нему неприязни) Татьяна Ивановна навечно прилепила его к грязнуле Бакановой. Именно прилепила, ибо Люськина лапка всегда была отвратительно клейкой то ли от конфет, то ли почему-то еще.

Гулкий садовый дворик замкнут был не с четырех сторон, а со всех шести. Снизу его, естественно, ограничивала земля, убитая детскими сандалиями, а сверху... сверху над ним нависали карнизы внушительных толсто-

стенных домов, таких, какие водятся только в центре города. Дома эти надежно предохраняли дворик от попадания солнечного света. Даже воробьи залетали сюда ненадолго и лишь по нужде: например, чтобы отдышаться после драки. Уличный шум — голоса людей и машин, гудки, милицейские свистки и другие многообразные городские звуки — доносился сюда с прибавлением странного эха, делавшего их таинственными и отчужденными, словно в сумрачном кинозале. Вся эта жизнь, протекавшая, по сути, совсем рядом, казалась Петровичу безнадежно далекой и, быть может, навсегда утраченной.

Однако у него имелось средство — хорошее, проверенное средство, чтобы покинуть невеселое место: волшебный фанерный руль. В углу садика врыты были два круглых столбика. Когда-то на них основывалась лавочка, а может быть, и специально вкопал их какой-то добрый человек. В столбики сверху вбито было по гвоздику, как раз предназначенному для деревянного штурвала. Устраивайся поудобнее, жми на газ и... отправляйся куда душа пожелает, прочь из обрыдлого двора-вольеры. Как правило, Петрович занимал место за правым столбиком, а Кашук располагался за левым. Сухорукий Петровичев товарищ, которому из-за увечья не суждено было в жизни крутить настоящую баранку, неплохо действовал рулем из фанеры и к тому же мастерски подражал голосу автомобильного двигателя. В хорошую погоду друзья совершали предельные путешествия — за город, за Волгу, в степь, пыля по проселкам и мощно рыча моторами, устроенными в их собственных гортанях.

Однако сегодня Кашука в саду не было, и потому Петровичу пришлось отправляться в путь без напарника. Это бы полбеда, если бы никто не претендовал на вакансию за соседним столбиком. Но садовцы во дворе были сущие обезьяны: они непременно желали усесться рядом и выть в подражание Петровичу, выть бездарно и непохоже. Или принимались, словно безумные, так

крутить рулем, что настоящая машина давно бы улетела в кювет. Петрович сдерживал себя, старался терпеть отвратительное соседство, а когда становилось невмоготу, вставал и куда-нибудь уходил. Но сегодня... сегодня все вышло еще хуже. Случилось так, что за свободным столбиком приземлилась обезьяна самая противная из всех. Рыжая, зубастая, со звучной татарской фамилией Байран – отродясь не садилась она за руль, а теперь явилась нарочно лишь для того, чтобы известить Петровича. И уж как она старалась, передразнивая с хихиканьем его гудение, как воистину по-мартышечьи пародировала все его движения! Плюнуть и уйти – вот что должен был сделать человек разумный, но увы – место действия покинул не человек, а только его разум. И не удерживаемый больше ничем, Петрович встал, снял с гвоздика свой штурвал, коротко размахнулся... и с сухим деревянным стуком обрушил его на рыжую башку. Уф! Мгновенное облегчение сменилось в душе его тоскливым ожиданием. Байран схватилась за темя... глаза ее закатились... медленно и беззвучно отворился бездонный зев с красным напрягшимся языком... В левой ноздре Байран вздулся и лопнул желтоватый пузырь, и в то же мгновение двор огласился таким воплем, что в ближних домах едва не треснули оконные стекла.

Впрочем, Байран могла бы так не стараться, Татьяна Ивановна сама давно уже наблюдала за происходящим у столбиков. Воспитательница она была опытная и не первый день дожидалась, когда наконец Петрович покажет истинное свое лицо. Она не доверяла его насупленной благовоспитанности; интуиция подсказывала ей: не может быть чист душой человек, отвергающий хороводы и общие игры с мячиком... Вот и случилось! С чувством педагогического удовлетворения Татьяна Ивановна защемила Петровича за ухо двумя холодными пальцами и, словно волчица суслика, утащила в кислое садовское логово.

Что ж, возможно, оно и к лучшему: приговоренный стоять в позорном углу, он обрел хотя и печальный, но покой. Здесь никто не тронет его до обеда; потом тихий час; а там, глядишь, недолго и до Катиного возвращения. Стенка желтого запеканочного цвета стала для Петровича предметом неторопливого изучения. Наплывы масляной краски питали фантазию: в них он угадывал то речные волны, то облака, то даже чьи-то лица с нехваткой, правда, некоторых частей. Стена сохраняла на себе памятки, оставленные в разное время его предшественниками: царапины, лунки, взрытые в штукатурке нестриженными детскими ногтями, а также многочисленные носовые «козы», отертые былыми страдальцами. Вступивший в их скорбное заочное братство Петрович тоже захотел как-то увековечить себя на этой стене. Сунув палец в уже начатую кем-то ямку, он обнаружил неожиданную податливость штукатурки, состоявшей будто бы из одного песка. С интересом он продолжил раскопки и не заметил, как расчесал в стене большущую дыру размером с его кулак. К несчастью, не заметил он и приближения Татьяны Ивановны...

— Прекрасно! — прошептала воспитательница. — Вот мы чем занимаемся.

Очки ее сверкали ненавистью, но все, что она могла сделать для Петровича в рамках садовского устава, — это продлить ему срок «отстоя» до прихода родителей.

— А будешь еще ковырять стену, — кривясь, добавила она, — завяжу руки.

Петрович взглянул светло, будто задумчиво:

— Не завяжете, — ответил он спокойно.

Что ж, он и тихий час с большим удовольствием провел бы в обществе желтой стенки. Но Татьяна Ивановна знала — что нет для него горшей муки, чем это лежание в раскладной садовой койке. Так уж устроен был его организм: Петрович иногда испытывал сильные приступы сонливости под гвалт резвящихся садовцев,

но и он же терзался бессонницей, когда они, умиротворенно сопя, пускали слюни на подушки. Тут уж ничем себя не развлечешь, кроме как разглядыванием собственных рук и устройством из пальцев подобия кукольного театра. Но и это пресекалось бдительной Татьяной Ивановной. Запрещалось лежать на спине, на левом боку, с руками под одеялом, с открытыми глазами... Неужели, думал Петрович, она сама спит только на правом боку? Не может быть — тогда она давно бы уже превратилась в камбалу.

Он не умел считать время. Он вообще не верил, что время можно измерить при помощи часов. Часы — механизм; это только кажется, что они то грустят, то усмеваются, так и эдак разводя усы. На самом деле они просто тупо вращают свои стрелки с постоянной скоростью. И вообще, разве время идет с постоянной скоростью? Может быть, для кого-то, но не для Петровича. Час, что они с Петей катались по реке на крылатом «Метеоре», и час, проведенный в садовой койке, различались, как миг и вечность. «Время — деньги!» — сказал как-то Генрих (он любил это выражение), а Ирина добавила со вздохом: жаль, мол, что ни того, ни другого нам не отпущено вдоволь. Это она намекала на свою старость. Милая Ирина; чем-чем, а временем Петрович поделился бы с тобой с удовольствием.

Размышления свои он продолжил после полдника все в том же углу. Группа гуляла без него, а присматривать за наказанным Татьяна Ивановна поручила няне Степаниде Гавриловне, бабке, не имевшей педагогического образования, но тоже от души ненавидевшей своих подопечных, притом не выборочно, как воспитательница, а всех подряд. Наказанный Петрович был для нее подарком судьбы: ежеминутно она взбадривала его криком, велела стоять прямо, держа руки по швам. Няня грозилась, злобно ворча, все рассказать его «пап-

ке с мамкой» про шишку Байран и про испорченную стену.

— А как денежки с них сдерут, — мстительно приговаривала она, — так они с тебя шкуру спустят, попомни!

Петрович не боялся за свою «шкуру», но сердце его непроизвольно сжималось от тоски, и от тоски же, вероятно, в животе тоже что-то ёкало, урчало и толчками подвигалось ниже и ниже. Наконец, ощутив явственную потребность, он пробормотал:

— Хочу в туалет.

— Чаво? — Степанида вскинула мохнатые брови.

— Хочу в туалет, — повторил Петрович.

— В туале-ет? — насмешливо переспросила бабка. — Стой так! Никаких тебе туалетов. Ишь, хитрец!

Он пробовал помочь своему заду, сжав ягодицы руками, но тщетно. Петрович не в силах был удержать то, что так требовательно рвалось из него. Он почувствовал в штанах своих тепло, и сейчас же предательский запах обдал его восходящей волной. Запах заполнил угол и стал потихоньку расходиться по палате, достигнув наконец Степанидиного носа. Она подошла ближе:

— Фу-у! — Бабка скривилась брезгливо и презрительно. — Ах ты застранец! Ну так и стой теперь в гомне — пушай мать тебя отмывает.

Так он и стоял, пока не явилась, увы, далеко не в первых родительских рядах, Катя, усталая и поблекшая после трудового дня. Петрович видел, как бледнеет она, слушая обстоятельный Татьяныивановнин рассказ о его злодеяниях.

— И к тому же... — воспитательница выразительно потянула носом, — вы чувствуете?

— Чувствую, — глухо отозвалась Катя, и румянец ненадолго вернулся на ее лицо.

— Может быть, пройдете в туалет? — предложила с ухмылкой Татьяна Ивановна.

— Нет, — ответила Катя, — только не здесь. Они вышли на улицу. Катя была печальна.

— Куда же мы теперь? Ведь в троллейбус с тобой нельзя... А, Петрович?

Он помотал головой: нельзя.

— Придумала! — Она встрепелулась. — Пошли на Волгу.

И они, избегая людных улиц, отправились к реке — туда, где заводские задворки должны были скрыть небольшое и, в общем-то, нестрашное гигиеническое мероприятие. Это незапланированное путешествие позволило обоим вернуть до некоторой степени душевное равновесие, хотя местность, выбранная ими, не радовала глаз. Минувя обширную свалку какого-то ржавевшего железа, Петрович даже вспомнил Генрихово выражение:

— Бесхозяйственность!

Катя, молчавшая до этой минуты, усмехнулась:

— А по-моему, дружок, бесхозяйственность у тебя в штанишках. Вот где бесхозяйственность...

Дело было сделано быстро и без ненужных свидетелей. Великая река смыла и унесла маленький грех маленького человека.

Они с Катей вернулись домой утомленные, потому что у обоих был тяжелый день. Но события, притом весьма неожиданные, Петровича еще ожидали. Сначала шушукались женщины, потом к ним подключился пришедший с работы Петя. Все поглядывали в окно. И только когда Генрих, важным циркульным шагом прошествовав через двор, увенчал собой семейный пейзаж, в большой комнате состоялся пленум. Через полчаса в детскую заглянула Катя:

— Идем, — сказала она Петровичу.

— Куда?

— Идем, идем... Генрих зовет, — и улыбнулась.

В большой комнате взволнованный Петя ходил туда-сюда. Ирина трогала его за плечо, пытаясь успокоить.

Генрих сидел прямой на диване и внушительно договаривал:

— ...никуда ты не пойдешь, и не унижай себя скандалом, Петр. Мы все уже решили.

— Ты решил.

— Хорошо... я решил.

Петрович слушал, не понимая, но чувствуя, что происходит что-то важное. Генрих умолк и некоторое время внимательно смотрел на внука.

— Что, Петрович, — молвил он вдруг со странной, не идущей ему нежностью, — говорят, плохо тебе в детсаду?

Все уставились на Петровича, а он, мрачно нахмурясь, молчал. Он-то молчал, но две самовольные большие слезины набухли в светлых глазах, повисели немало и, скатившись по щекам, упали и канули в ворсе фамильного ковра.

— Конец, — сказал Генрих, и голос его стал привычным, командным. — Больше ты туда не пойдешь. Завтра Ирина возьмет за свой счет, а потом мы что-нибудь придумаем... Только смотри, — он усмехнулся, — в моих ящиках не рыться.

Петрович не мог даже по-настоящему обрадоваться, так он был потрясен. Выходило, что весь большой и налаженный состав их семейной жизни во главе с локомотивом Генрихом менял свое расписание ради него, самого малого из своих пассажиров. Ого! Теперь не для него по утрам будет скрежетать ненавистный гимн... Впрочем, насчет гимна он заблуждался.

Позже этим вечером, когда выкупанный до телесного скрипа Петрович уложен был в свою кровать и, сладостно дрожащий, укрыт, подобно озимой травке, медленно опустившейся огромной простыней; когда легкий зуд у переносицы предвещал уже скорый сон, в детскую пришел Петя, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Он уже протянул руку к выключателю, как вдруг, обернувшись, лукаво улыбнулся:

— А что, Петрович, сдается мне, сегодня ты счастливо обделался?

И, не дождавшись ответа, погасил свет.

У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Дни чем дальше, тем больше уступали ночам в их извечном противостоянии. Ирина объяснила Петровичу, что так всегда бывает осенью: год стареет, и дни его укорачиваются так же примерно, как у стареющего человека, — это она знала по себе. Все это были проделки времени, к которым Петрович старался привыкнуть.

Человек вообще ко всему может привыкнуть, кроме чулок и рисовой каши. Ирина, например, довольно быстро освоилась на пенсии. Сначала она казалась растерянной, но скоро пришла в себя: составила новый план жизни и вернула себе ясность духа. Домашним она объявила, что займется своими ногами, ну и, конечно, Петровичем. Неизвестно, что Ирина делала с ногами, похоже, только гладила их и парила в тазике, зато Петрович сполна вкусил ее забот. Ирина, не будь она Генрихова жена, печатными буквами составила ему на листочке полный распорядок дня — не только одного, но и всех последующих. Однако, не полагаясь на Петровичеву исполнительность, она сама методично и неуклонно направляла все его действия, сверяясь с собственными параграфами, словно они были ниспосланы свыше. Поначалу Петрович пришел в отчаяние: даже в саду у него случались передышки, а тут никаких. Подъем, гимнастика, умывание, еда, чтение, прогулка, еда, сон, прогулка, арифметика, «др. занятия» (по Иринуному усмотрению) — и так навсегда, присно и вовеки. Вечером ему полагалось сесть на колени к Кате или Пете и отчитаться о том, как провел он истекший день: что делал, что читал, да слушался ли Ирину.

Но постепенно Петрович научился сам понемногу управлять процессом своего воспитания. Оказалось, что с расписанием тоже можно бороться — при помощи хитрости и тонкого знания человеческой природы. От гимнастики легко было увильнуть, сославшись на нездоровье, — Ирина была простодушна и доверчива. Чтение? Чтение тоже могло быть необременительным занятием. Надо было только открыть книжку, сесть у окна, откуда был хороший вид, и... Когда истекло время, отпущенное Ириной на «Красную Шапочку» (достаточное, чтобы проштудировать «Войну и мир»), она попросила его пересказать содержание. И Петрович без смущения поведал ей такую занятную историю. Шапочка, заблудившись в лесу, встретила Серого Волка; они подружились, и Волк помог ей добраться до города, где они поженились и стали жить у бабушки. Бабушка была немолода, у нее болели ноги, но она делала гимнастику и потому не умирала. Здесь Петрович задумался.

— Это все? — спросила Ирина.

Нет, — как оказалось, потом у Красной Шапочки вырос живот, и она родила малыша.

— От волка, что ли? — Ирина округлила глаза.

Тут удивился Петрович:

— Почему от волка? Просто родила.

Но самым надежным способом пустить под откос дневной распорядок было превратить утреннюю прогулку в настоящее путешествие. Очень уж не любил Петрович копошиться во дворе — лепить дурацкие «куличики» из песка, вращаться до одури на ржавой скрипучей карусельке или слушать с Ириной старушечьи сплетни на лавочке. Сильнее всего раздражали Петровича большие девочки, игравшие в дочки-матери и упорно норовившие его усыновить. И вот однажды он приступил к Ирине с хорошо обдуманном разговором.

— Ирина, — спросил он, — скажи, разве ты уже старушка?

Она, конечно, возмутилась:

— С чего ты взял?

— А тогда почему ты сидишь со старушками на лавочке? Тебе не скучно?

— Ты же знаешь, я сижу из-за тебя.

— Нет, — возразил Петрович, — это я из-за тебя сижу во дворе и играю в песочке.

— Что же делать? — Она была озадачена. — Тебе ведь надо гулять.

Петрович помолчал и вкрадчиво предложил:

— Ирина, ты не старушка, а я уже большой. Давай куда-нибудь с тобой сходим.

Он убедился: главное было — выманить ее со двора, а уж, выйдя в открытое плавание, Ирина оказывалась другим и притом очень интересным человеком. Известно, что никакие путешествия невозможны без разговоров. Иногда люди просто гребут языками, как веслами, и это их способ передвижения. А Петрович с Ириной помогали себе ногами и в результате забредали в такие пределы, где и город-то становился на себя не похож: ник к земле какими-то бесформенными покосившимися халупами и смотрел на странников подозрительными маленькими окнами. Войдя во вкус, парочка могла вообще уехать за город и бродить по степи, ловя насекомых. Конечно, Иринины ноги протестовали против дальних походов, но ведь всегда можно было присесть, а заодно и перекусить захваченным из дому бутербродом. Эти бутерброды, запитые пробковым чаем из термоса, заменяли, к великой радости Петровича, пропущенный обед, а Иринины непридуманные истории (придумывать она не умела) отлично усваивались на свежем воздухе. Однажды Ирине пришлось в голову взять с собой арифметику, чтобы соединить «приятное с полезным», и она даже достала ее на привале, но, открыв учебник и заглянув внутрь, снова захлопнула, будто прочитала что-то неприличное. Только под

вечер друзья возвращались домой; носы у обоих лупились, а ноги покрыты были дорожным прахом. Генрих недовольно сопел — ужин приходилось готовить самому. Катя пыталась пощупать Петровичу лоб, а он увертывался и шел на диван к Ирине. Там они вместе, уже молча, полеживали: отдыхали и вспоминали день, прошедший в нарушение распорядка.

Но прогулки становились все короче, потому что короче становились дни. Мухи, залетая в окно, уже не бесновались в комнате, уже не припадали жадно к каждой съедобной крошке, а опускались где придется и подолгу сидели, устало и задумчиво пошевеливая крыльшками. Мухи ленились чистить свои тельца и головы и потому выглядели запыленными. Некоторые еще находили в себе силы улететь, но многие прямо на подоконнике переворачивались на спину и начинали умирать. Умирили мухи долго, то вздымая лапки, будто в мольбе, то прижимая их к груди, и по временам издавали обессилевшими крыльшками слабый стрекот, словно моторные игрушки, в которых иссякал пружинный завод.

Что поделаешь, осень. Печальная, в сущности, пора. Но так уж случилось, что именно осенью, глубокой осенью на свет появился Петрович. Что значил для него этот факт осеннего рождения? Только одно: ноябрьские промозглые дни несли с собой не скуку и уныние, а радостные и небеспочвенные надежды. Именно в ноябре парк его игрушек основательно пополнялся: новые, целые, пахнувшие краской и резиной механические товарищи появлялись взамен безвременно ушедших и в компанию к тем, что оставались пока в строю. Беда, однако, что время, отношения с которым у Петровича всегда не складывались, приближаясь к заветной дате, начинало совсем уж откровенно над ним издеваться и тащилось медленнее самого дрянного троллейбуса. Была еще проблема — она заключалась

в предрассудке его близких, полагавших неприличным загодя обсуждать с Петровичем материальную сторону дарения. Похоже, они считали главным тут эффект неожиданности, забывая, что неожиданности бывают не только приятными. Поэтому Петровичу приходилось исподволь искусно засеять почву под будущий урожай и взрыхлять ее, освежая память тех, от которых зависело, ликовать ли ему в свой день рождения или втайне проклинать судьбу.

В этом году — году их с Ириной путешествий, когда осень, уже не стесняясь, сыпала листья, как конфетти, и потом, когда уже нечего стало сыпать, когда на деревьях оставались, болтаясь забытыми одежными этикетками, лишь одинокие почерневшие листочки, — этой осенью в силу некоей полуосознанной причины Петрович все чаще стал прокладывать их пешие маршруты в сторону не слишком далекой от дома железнодорожной насыпи. Разговоры их о том о сем по известной причине нередко сворачивали на тему «дней рождения» и вообще подарков. Однажды, с удовольствием вороша ботом опавшую листву, Ирина рассказала Петровичу, как когда-то (давно до неправдоподобия) родители подарили ей железную дорогу. Маленький паровоз имел водяной котел и крошечную паровую машину; он ходил по рельсам с тремя?.. она не помнила... маленькими вагонами, очень похожими на настоящие. К дороге, кажется, прилагалась станция с семафором, но за это Ирина поручиться не могла. Рассказ ее Петрович выслушал с напряженным вниманием. Станным образом железнодорожная тема почти непрерывно звучала этой осенью в его душе и в окружающей жизни. В августе они с Петей катались на «пионерской», почти игрушечной дороге — туда и обратно вдоль Волги. По ночам он стал слышать отдаленный стук колес и рев тепловозов. А недавно в витрине «Детского мира» (мимо которой полагалось бы прохо-

дить с закрытыми глазами) он увидел ее... и потерял сон. Дорога была великолепна: точная копия, но сто- крат притягательнее настоящей, ибо приводилась в дей- ствие силой человеческой фантазии. Увы, чудесная до- рога была выставочным экземпляром и служила лишь поводом к напрасному возбуждению фантазии. Петро- вич понимал, что не только семейных денег, но, возмож- но, и всего золота мира не хватит, чтобы выкупить такое сокровище. Однако страсть в человеке сильнее рас- сужда — он грезил о своем предмете по ночам, а днем... таскал Ирину на насыпь смотреть на поезда. Потому что настоящая железная дорога казалась ему подобием той, заветной.

Услышав от Ирины рассказ об ее давно, к сожале- нию, пропавшем паровозике, Петрович поведал ей свою сердечную тайну. В ответ она, не думая о послед- ствиях, рассказала, что видела собственными глазами: в магазине и теперь продаются игрушечные железные дороги. Конечно, скромнее той, что красовалась в вит- рине, но тоже недурные, потому что они немецкие, а немцы все делают хорошо. Ох и зря Ирина прогово- рилась! Рассказ ее пробудил в Петровиче мечту — меч- ту, как теперь казалось, осуществимую. Но ведь разли- ца между несбыточными мечтами и «осуществимыми» огромна: первые лишь греют душу, а вторые могут ее испепелить.

Вечером за общим ужином Петрович завел разговор о том, что некоторые люди получают иногда в подарок небольшие, пусть не самые роскошные, игрушечные железные дороги. Хотите примеры? — пожалуйста: вот Ирина не даст соврать. Но Ирина повела себя не по-то- варищески: уткнулась в свою тарелку и промолчала. Ге- нрих, Петя и Катя посмотрели на нее сурово, потом пе- реглянулись между собой.

— Ты вот что... — пробормотал Петя, почесав себя за ухом. — Если поед, ступай, брат, к себе.

Хорошо было уже то, что его выслушали. Дыхание Петровича перехватило от волнения.

— Спасибо, — произнес он одними губами и на слабющих ногах ушел в детскую.

Было ясно, что на кухне проходит совещание. Сначала он пытался разобрать отдаленный разговор, но тщетно, — его оглушало собственное гулко бившееся сердце. Тогда Петрович решил взять себя в руки. С силой подышав, как во время гимнастики, он отошел от двери и забрался с ногами на кровать. Надо было дать мыслям отвлеченное направление. Он смотрел то на стену, то в окно, где равнодушно покачивались обезлиствевшие деревья. Ничего не получалось. Глаза были слепы, а мысль о вожденной дороге лишь на мгновение отбегала в сторону, чтобы тут же вернуться и заново обжечь истерзанную надеждой душу. И тогда Петрович сдался на милость своему наваждению. Он представил себе, что дорога уже куплена, подарена и разложена на полу в детской во всем своем великолепии. Он будет бережно брать в руки вагончики и внимательно их рассматривать. Потом он пустит поезд — сначала самым тихим ходом, затем быстрее. И поезд, послушный Петровичевой воле, пойдет по рельсам, побрякивая на стыках, и остановится точно у вокзала, который можно сделать из любой коробки. А то, что дорога эта будет много меньше выставочной, это даже хорошо. Ведь из чего складывается игра? — из предмета и воображения; чем скромнее предмет, тем больше следует добавить воображения, только и всего. Рассуждая так, он почти не лукавил перед собой.

Главное, что он не получил отказа. Больше Петрович не возбуждал запретную тему, но частенько близкие заставляли его сидящим неподвижно с остановившимся взором.

— Алло, Петрович! Ты не уснул?

Да, он грезил, но наяву. К сожалению, грезы эти не освежали его и не вносили в душу покоя.

Спустя несколько дней они с Ириной снова отправились на железнодорожную насыпь. Опять Петрович вдыхал знакомый запах креозота и слушал беглый встревоженный шелест рельсов — знак приближающегося поезда. Из-за поворота доносилось глухое утробное ворчание и вдруг внезапно усиливалось до грозного могучего рыка, — это показывался на железной тропе тепловоз, царь машин. Раздувая решетчатые бока, жарко дыша трубами, тысячесильный, стотонный зеленолобый зверь трудно, но уверенно тащил бесконечную вереницу громыхающих колеблющихся вагонов. Сотрясая землю, тепловоз проходил мимо, обдавая Петровича терпким запахом горячего машинного пота. Из кабины его выглядывал веселый, черный, как муха, машинист, который, завидя у насыпи машущего человечка, успевал подать приветственный свисток. Гомоня, толкаясь и кружа Петровичу голову, набегали товарные вагоны, груженные разнообразной занимательной поклажей. Если же состав был пассажирский, то вагоны, длинные и гладкие, проносились по рельсам со взвизгом затачиваемого ножа, и долго потом стояла в глазах стробоскопическая рябь их окошек.

Осенняя трава на насыпи уже не приглашала присесть или поваляться. Она сделалась хрустящей и ломкой. Пассажирские поезда стали пахнуть каким-то особенным дымком. Ирина объяснила, что это проводники затопили в вагонах угольные печки. Поезда утягивались за поворот, достукивая погремушками хвостов, и исчезали, оставляя аромат, навевавший на Петровича странную грусть. Ирина, как и он, провожала поезда задумчивыми глазами и тоже иногда печально вздыхала.

— Почему ты вздыхаешь? — спросил ее Петрович. — Хочешь, наверное, уехать на поезде куда-нибудь далеко-далеко?

— Уже нет, — ответила Ирина. — Мои поезда, дружок, все давно ушли.

Петрович задумался. Вот в чем был недостаток взрослой железной дороги: поезда ее приходили и уходили. Насколько лучше иметь собственный поезд, пусть маленький, но который всегда остается с тобой.

И вот, как ни медлило подлое время, день рождения наступил. Наступил день рождения... Почему он так называется? Может быть, именно в этот день судьба дает тебе шанс на еще одно воплощение. Шанс стать таким, каким ты должен быть: умным, добрым и непривередливым в еде. Над этим стоило подумать, но мысль постоянно возвращалась к железной дороге. Петрович давно уже лежал и слушал бой дождевых капель по подоконнику. Поскольку день рождения выпал на воскресенье, взрослые, для которых важнейшее дело выпасться, вставать и не думали. Что ж, оставалось лежать и размышлять...

Но вот кто-то закашлял мужским голосом в глубине квартиры. Где-то скрипнули полы и послышались приглушенные голоса... Ясно: они наконец встали и формируют делегацию.

Идут... но зачем на цыпочках?..

И все-таки Петрович вздрогнул — не мог не вздрогнуть, когда открылась дверь в детскую. Вот они, все в сборе — полон коридор...

Генрих запричитал:

— Здравствуйте! А где же Петрович? Здесь большой мальчик, а наш Петрович был маленький.

Понятно. Шутит, хотя и глупо. Но нельзя ли ближе к делу? Петрович нахмурился:

— Я Петрович, а вы кто?

Они, оказывается, пришли его поздравить — вот в чем смысл их визита. На свет появились коробки с цветными наклеенными картинками... и тут уж Петрович не утерпел — выпрыгнул из кровати.

Если на коробке изображен самолет, можно не сомневаться: внутри он и есть... А здесь что?

— «Баумастер», — пояснил Петя. — Конструктор, чтобы ты развивался.

Спасибо, но где же... Ах вот! Эту коробку Катя зачем-то прятала за спиной. Петрович увидел картинку с мчащимся тепловозом, и сердце его заколотилось. Руки не слушались его, руки дрожали, пока открывал он эту коробку, и... опали, когда открыл. В коробке действительно лежал тепловоз. Большой, железный, аляповато раскрашенный, на восьми резиновых колесах... В детской стало тихо, как в гробу.

Молчание нарушил Генрих.

— А смотри-ка! — воскликнул он фальшиво-бодро.

Нажав рычажок, Генрих пустил «тепловоз» по полу. Игрушка, жужжа, покатила, ткнулась в стену выдвижным язычком и поехала в обратном направлении. Так она бегала от стены к стене, пока Петя не остановил ее, придавив ногой к полу.

— Кому доверили! — прошептал он как бы в изумлении.

Его выразительный взгляд добил бедную Катю.

— Я не виновата... — простонала она. — Я в этом ничего не понимаю!

И, приложив свою ладонь ко лбу, вышла из детской.

Если бы они ушли все четверо, это было бы лучше для Петровича. Но Генрих, Ирина и Петя остались в детской. Они попадали на колени, они стали открывать другие коробки и наперебой совать ему самолет и «баумастер», абсолютно не думая о том, куда Петровичу девать свои слезы. Он не привык видеть их такими; старшие потеряли лицо, и от этого еще сильнее хотелось плакать.

— Спасибо, — бормотал он, — спасибо... А где Катя?.. Спасибо...

Потом они все-таки ушли, и Петрович остался в детской один. Ему надо было свыкнуться со своим горем... Но вот он судорожно вздохнул и утерся ладошкой. В мо-

крых еще глазах его мелькнул интерес к алюминиевому самолету... «Баумастер» опять же...

И тут в детскую неожиданно вошел Генрих. Петрович подумал, что он явился с новыми извинениями, и недовольно обернулся. Но Генрих пришел не извиняться — лицо его было торжественно, а руки бережно держали какой-то предметик.

— Петрович...

— Что?

— Ты сегодня молодец, — сказал Генрих, — ведешь себя как мужчина. И за это тебе вот...

В руке у Генриха была странная вещица: модель какой-то машины с трубой, отдаленно напоминавшей паровоз.

— Знаешь, что это?

Петрович отрицательно помотал головой.

— Это паровой каток. Ему, брат, столько же лет, сколько мне. Мне его в детстве подарили.

— Каток? — Глаза у Петровича загорелись любопытством.

— Каток. Чтобы дороги укатывать. Он, конечно, не локомотив, зато может ездить, куда пожелаешь. Видишь, у него штурвал поворачивается.

Большие дедовы пальцы не могли ухватить крошечное рулевое колесо, но с этим прекрасно справился Петрович. Штурвал и в самом деле поворачивал передний барабан, позволяя катку двигаться в любом направлении. Петрович замороженно, с благоговейным трепетом изучал хрупкую и вместе с тем добротную вещь.

— Немцы делали? — вдруг спросил он.

Генрих рассмеялся:

— Как ты сообразил?

— Хорошая машина, — ответил Петрович серьезно. — А немцы все делают хорошо.

ПЕТРОВИЧ
БРОСИЛИ?

Качели промахивали над помостом железной облупленной люлькой-лодочкой и вскрикивали по-птичьи. Им вторили галки на черных деревьях, слетевшиеся посмотреть, кто это и зачем явился в парк в мертвый сезон. Обычно лишь пьяницы забредали сюда зимой, чтобы без помех совершить на газете свой неприглядный ритуал, но и те не задерживались, а, ежась и знобко передергиваясь, скоро уходили — к домам, к теплу. От пьяниц галкам кое-что перепало, но вообще было непонятно, чем они тут питаются в пустом парке с облупленными, костенеющими на ветру каруселями, с гипсовыми лягушками у фонтана, впавшими в анабиоз, и мумией замороженного пионера. Этот пионер, многократно оскверненный галками, стоял с обрубок горна у рта в позе пьяницы, сосущего из горлышка.

Качели взметали сухие редкие снежинки, которые тут же подхватывал приземный злой ветерок. При каждом взмахе люльки морозный воздух надавливал Петровичу на лицо, словно жесткой пятерней кто-то мял ему щеки и ухватывал за нос шершавыми пальцами.

Холод основательно пробирал Петровича, как, наверное, пробирал он и Петю, который, нахохлившись у ограждения, курил в кулак и притопывал. Пора, уже пора было по обоюдному согласию заканчивать прогулку... Дав качелям остановиться, Петрович вылез из люльки, позволил утереть себе нос и вложил свою варежку в Петину перчатку. Не говоря лишних слов и постепенно ускоряя шаг, мужчины двинулись к выходу из парка. Думали они, скорее всего, о теплой ванне, горячем обеде, а кое-кто, возможно, и о рюмке водки перед обедом.

Зима в их городе была, безусловно, наихудшим временем года. Неласковые степные ветры встряхивали

со стуком тополиные скелеты и гнали меж домов какие-то колючки вместо снега. Наледи лакировали тротуары и проезжие улицы; любая горка становилась неодолимым препятствием для старушек и несчастных троллейбусов. Холод хозяйничал повсюду: забирался прохожим через уши в самый мозг, выстужал моторы у машин, пел в домах из каждой оконной шелки...

Нет, не повезло им с климатом. Вот на Алтае — другое дело. Алтай — это место, где Петя служил в армии. «Снегу там, — рассказывал Петя, — наметает выше человеческого роста». Конечно, рост у людей бывает разный, но даже высотой с Петровича — таких сугробов в их городе никогда не наметало. Само слово «Алтай» было какое-то вкусное — однажды Петровичу даже приснилось, как они с Петей барахтались в облачно-белых алтайских сугробах, и снег в них был теплый и как будто съедобный, похожий на сахарную вату.

Но сейчас уже не хотелось думать ни о каком снеге; мысли Петровича были только о доме. Зубы его, если их разжать, начинали забавно тарахтеть, губы сделались словно глиняные, а ноги, казалось, стали такие же деревянные, как у инвалида дяди Кости с первого этажа.

Но, как ни стремился Петрович домой, все же он дернул Петю за руку:

— Смотри!

В воротах парка стояла большая собака. Собака была страшно худа и судорожно икала; шерсть на ней, несмотря на зимнюю пору, облезла местами до голой кожи. Собака посмотрела на людей мутными глазами и сделала попытку посторониться, но задние ноги ее, задрожав, внезапно подкосились, круп завалился, и собака, не устояв на льду, упала на бок. Петрович с ужасом наблюдал, как она, вытянув шею и конвульсивно дергаясь, пытается встать.

— Не смотри, — сказал Петя. — Идем отсюда.

Они миновали погибающую собаку и в молчании продолжили путь. Потрясенный Петрович забыл даже про мороз. Наконец он не выдержал:

– Петя!

– Что? – спросил тот, не сбавляя шага.

– Эта собака... она болеет?

– Да.

– А почему ее никто не лечит?

Петя нахмурился:

– Некому ее лечить. Она ничья.

– Ничья? – удивился Петрович. – А где же ее хозяин?

– Откуда мне знать? Уехал, наверное, и бросил... Ты давай... не болтай на морозе.

Видя, что тема эта Пете неприятна, больше Петрович о собаке не заговаривал.

А того же дня вечером, сытые и согревшиеся, они разложили на полу железную дорогу. Поскольку выходной его был целиком посвящен Петровичу, то Петя не ушел из детской, а уселся здесь же в кресло, заложив ногу на ногу и почитывая журнал. Петрович, ползая по ковру, взглядывал изредка на Петин помахивающий шлепанец, и на душе его делалось тепло и покойно.

Между тем на ковре, внутри и снаружи рельсового круга, созидался мир. Кубики-домики, автомашины с колесами и без, знаменитый паровой каток – здесь разные предметы, валявшиеся как попало по ящикам и коробкам, находили свой смысл и место. Даже деревянная корова, взявшаяся от неизвестно какой игры. Корова, правда, была побольше тепловоза, но и ей позволялось щипать ковровый ворс между елочек, вырезанных Петровичем собственноручно из бумаги. Кстати, что это с ней случилось, с коровой? Вдруг упала, опрокинулась, задрав деревянные ножки...

– Корова заболела! – воскликнул Петрович.

Из-за журнала показалось Петино лицо.

– Что?

– Ничего... Это я играю.

С тех пор деревянная корова сделалась для него предметом особого покровительства. На лужок и обратно Петрович подвозил ее на специальном грузовичке, а жилище отвел в полке книжного шкафа, откуда был хороший обзор всего, что происходит в комнате. Теперь за судьбу коровы можно было не беспокоиться, но того же нельзя было сказать о бездомных кошках, собаках и птицах, которых Петрович стал часто замечать во время своих прогулок. За всеми ними, желтоглазыми, рыщущими беспокойно в поисках пропитания, казалось, стояла тень той собаки из парка. Встречались ему и люди, похожие до странности на ничьих животных: нечистые, дурно пахнувшие, жевавшие что-то и пьющие прямо на улице. Ирина сказала ему как-то, что люди эти одинокие, несчастные, а потому опустившиеся.

– Вроде той собаки, что мы видели с Петей?

– Примерно.

Но не значило ли это, что людей тоже бросают, как прискучивших домашних питомцев?

– Такое бывает, – подтвердила она.

– И детей бросают? – уточнил Петрович с замиранием сердца.

Ирина всегда была неукоснительно правдива.

– Да, – сказала она, – редко, но случается и такое.

Мысль о том, что где-то в этом мире люди избавляются друг от друга и даже иногда от собственных детей, завладела Петровичем этой зимой. С книжных страниц плакали сироты, изгнанные из дому злыми мачехами; в темных лесах блуждало множество малюток, совершенно не приготовленных к самостоятельной жизни. Сопоставляя факты и приправляя их собственным воображением, Петрович сделался подозрительным. В результате он наотрез стал отказываться ждать Катю или Петю у входа в магазин, пока они делали покупки. Цепляясь за их карманы, за ручки их сумок, он с упорством

отчаяния следовал за старшими от прилавка к прилавку. Его была людская бранчливая водверть у прилавков, ему тягостно было ощущать себя довеском, обременительным обозом в том сражении за еду, что происходило над его головой. Но все было лучше, чем оказаться одному-одинешеньку брошенным и опустившимся.

Однажды, когда по случаю какого-то «привоza» баталья в магазине предстояла совсем уже грандиозная, Катя применила к Петровичу нечестную уловку. Уж не трусишка ли он, спросила она насмешливо, если не хочет подождать ее десять минут на улице?

Сумерки скрыли краску на его лице.

— Иди, раз так, — сказал он, насупясь. — Только недолго.

Но что такое недолго? Сколько это — «недолго»? Оставшись один на один со временем, Петрович не сводил глаз с магазинных дверей. Люди отважно протискивались в эти двери, а навстречу им выбирались другие, со счастливыми лицами и съехавшими набок шапками. Некоторых женщин встречали у подъезда покуривавшие мужчины. Была здесь и парочка детей, безмятежно резвившихся в ожидании своих родителей... Вдруг Петрович увидел, как из уличного потока вынырнула дама в курчавой шубе, коротко державшая коренастую замшевую собаку с обезьяньим морщинистым лицом. Дама привязала собаку к дереву, скомандовала ей: «Сидеть!» — и, погрозив пальцем, канула в магазине. Но собака просидела не более нескольких секунд, — голому заду ее было холодно на мерзлом тротуаре. Слегка приподнявшись, она мгновение поколебалась, потом издала тонкий, непонятно откуда идущий свист и приняла стоячее положение. Взглядом собака ела магазинные двери; при этом брови ее непрерывно шевелились, и дергалась черная отвислая щека. Наконец она не выдержала и тьякнула — не сердито, а скорее тревожно-жалобно... тьякнула и подвыла.

— Не плачь, — сказал ей Петрович.

Он на минуту забыл о собственном одиночестве и потянулся к собаке в порыве утешения. Но... псина недружелюбно покосилась на Петровича и внезапно изменившимся голосом угрожающе заворчала. Он испуганно отпрянул и вернулся на свое место. Между тем детей перед магазином уже не осталось, их разобрали — всех, кроме Петровича. Подле дымящейся урны сменилось не одно поколение курильщиков. Сколько встреч наблюдал Петрович: вынырнув из магазина, женщины перевешивали на мужей тяжелые авоськи, и воссоединившиеся пары уходили в сумерки, не ведая о своем счастье.

Волей-неволей в голове его зарождались тревожные предположения. Нелепые — он сам сознавал их нелепость, но... опровергнуть их могло только Катино возвращение, а она-то и не шла. Может быть, она его потеряла, забыла, где искать?.. Или ей в магазине стало плохо?.. А вдруг... — об этом было думать страшнее всего — вдруг она решила его бросить?.. Последнее, самое фантастическое из предположений, вспуло в его мозгу, вытеснив остальные. Бросила!.. Не владея больше собой, Петрович оставил свой пост и кинулся в магазин. Путаясь в чьих-то пальто, он протиснулся в двери и оказался в бурлящем ярко освещенном зале; густое разноголосье обрушилось на него; разномастная обувь чавкала и шаркала во всех направлениях и давила мокрую грязь на полу; в воздухе стоял запах сырой одежды и сырого мяса. Одолевая людскую кипень, Петрович рванулся вдоль длинного зала, мимо прилавков, облепленных покупателями. Он толкал встречных и отлетал, получая взаимные толчки; чужие авоськи били его в грудь, и кто-то спрашивал его строгим голосом: «Чей ты? Где твоя мама?»...

— Катя! — чайкой вскрикнул Петрович, но голос его потонул в магазинном гвалте.

Гребя в людском водовороте, он прошел магазин из конца в конец, добрался дотуда, где уже и покупателей-

то не было, а только сочился из мутного стеклянного вымени бордовый лохматый сок, и продавщица от нечего делать возила тряпкой по прилавку...

— Чей ты, мальчик?

Чей?.. Петрович закружился, как в западне.

— Хочешь выйти? Дак вот же дверь!

Новая страшная догадка пронзила Петровича: в магазине были вторые двери! Конечно, как он об этом не подумал, — через них-то Катя и сбежала... И тут... паника в его душе словно бы улеглась. Ее сменило тяжкое всепоглощающее чувство катастрофы; так большая боль приходит на смену уколу или ожогу. Петрович опустил голову и, будто в задумчивости, вышел из магазина. Роняя на пальто нечастые, но полновесные слезы, медленно он побрел назад на то место, где оставила его Катя; побрел назад, потому что больше идти ему было некуда. Вот и дерево, к которому была привязана собака, — дерево было то же, но без собаки. Значит, не бросила ее хозяйка, не оставила на произвол судьбы... Петрович совсем было уже собрался зарыдать в голос, как вдруг...

— Петрович! — услышал он Катин исступленный голос. И увидел перед собой ее искаженное лицо, а за ним лицо какой-то тетки, напуганной Катиним криком. — Где ты был?! — Она хотела всплеснуть руками, но не смогла, потому что держала сумки.

— А ты!.. — крикнул в ответ Петрович, но пресекаясь и повторил уже тихо: — А ты где была?

Таким образом, не простояв и нескольких минут, храм великой скорби рухнул, но на его месте в душе Петровича образовалась странная разочаровывающая пустота. Это было не облегчение даже, а какая-то усталость и пыль...

Кате тоже понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Наконец, заправив волосы и отдышавшись, она скомандовала в дорогу. Петрович ухватился

за ручку ее сумки, и они пошли домой, не заходя больше ни в какие магазины...

Разумеется, впоследствии он вспоминал об этом происшествии со стыдом. Но стыдился Петрович не столько собственного малодушия, сколько подлых своих подозрений в отношении Кати... А в семье этому событию вовсе не придали никакого значения. И ему самому следовало выкинуть этот случай из памяти, но тут уж Петрович был не властен. Разве что мог спрятать его подальше — в тот чулан, куда он и раньше убирал кое-какие греховные воспоминания.

Да он и забыл бы эту историю, если бы... если бы обстоятельства вновь не подвергли испытанию его веру в человечество.

Та зима была еще в полной силе; зима, которая дни превращала в вечера, вечера в ночи, а ночи наполняла соблазнами культурного досуга — понятно, только для взрослых. Что ни суббота, Генрих с Ириной или Петя с Катей в лучших своих одеждах, в облаках парфюмерных отчуждающих ароматов уходили на ночь глядя из дома — то в кино, то в театр, то куда-нибудь в гости.

И вот однажды случилось то, чего Петрович втайне опасался. Генрих раздобыл на работе сразу четыре билета на какой-то особенный спектакль, который нельзя было, просто никак нельзя было пропустить. И так им понадобился этот спектакль, что Петровича решено было оставить дома одного. Точнее, сдать его на попечение ночным демонам.

— Ты большой и разумный, — сказали они. — Ложись в кровать и спи себе.

Предатели... Петрович наблюдал, как они собираются. Катя, выпучась в зеркало и не дыша, рисовала что-то на лице; Ирина, чихая, пылила на себя пудрой; Петя в передней плевал на ботинки и тер их, яростно оскаливаясь. А Генрих, виновник всей этой суматохи, стоял перед шкафом в одной рубашке и огромных ра-

дужных трусах. Хотя трусы эти почти доставали вниз до носочных подтяжек, все-таки ногам его требовалось более приличное укрытие, поэтому Генрих подбирал себе брюки. Петровичу хотелось, чтобы случилось что-нибудь непредвиденное: или в брюках у Генриха обнаружилась бы дыра, или пропали бы злосчастные билеты — что угодно, что остановило бы хоть кого-то... Но они были неудержимы. Охорошившись настолько, что сами уже боялись дотронуться друг до друга, старшие построились в передней на выход. Петровичу понадобилось немало мужества, чтобы принять этот прощальный парад, — не своих домашних он увидел, а четверых незнакомцев. И бодрые голоса их звучали фальшиво — как у людей с нечистой совестью.

Хлопнула дверь, прохрумкал запираемый снаружи замок. Петрович услышал пение перил в подъезде и удаляющийся нестройный топот ног. Потом все стихло, и он окончательно осознал, что остался один. Один во всей квартире, минуту назад еще полной народа. Все, что осталось Петровичу, — это затверженные инструкции по отходу ко сну да одуряющий запах Генрихова одеколона, побивший напрочь Ирнины и Катины духи. В доме сделалось так тихо, словно ему заложило уши. Оглохший, растерянный Петрович прошел в большую комнату и забрался на диван, чтобы прийти в чувство и обдумать дальнейшие действия. Так сидел он неизвестно сколько времени, не решаясь пошевелиться. Постепенно, подобно тому как глаза привыкают к темноте, уши его обвыклись в тишине и стали различать в ней кое-какие, по большей части необъяснимые звуки. Вот заклокотало, забулькало где-то далеко, на кухне. Раковина? Но почему он не слышал ее раньше? А вот это странно: скрипнула половица! В пустой-то квартире... Похоже, кто-то затевал с Петровичем скверную игру... Но нет, он не будет праздновать труса — он примет меры! Заставив себя слезть с дивана, Петрович первым делом задернул занавески.

вески — пусть не смотрит ночь в его комнату. Потом он закрыл двери, отгородившись от остальной квартиры, сделавшейся в одночасье чужой и говорливой. Надо было совсем заглушить все эти пугающие странные бормотания, и его осенило: радио! Петрович подошел к большому дедову приемнику и стал наугад крутить ручки и нажимать белые зубы-клавиши. Неожиданно шкала приемника засветилась, и в углу его стал разгораться зеленый огонек. Петрович готов был услышать из динамика человеческий голос, но... на него обрушился оглушительный, леденящий душу вой и треск. Он отпрыгнул от приемника и замер, оцепенев от ужаса. Несколько мгновений Петрович ждал, что радио придет в себя, но осклизшийся ящик продолжал бесноваться. В отчаянии Петрович бросился к ручкам и кнопкам, чтобы заставить приемник замолчать, — и тщетно: вьюга в динамиках не прекращалась. И уже сам Петрович готов был завывать от страха и бессилия, как вдруг проклятый приемник... замолчал. Он подумал, подмигнул зеленым глазком и умиротворенно произнес:

— А теперь о погоде...

Дальше пошло знакомое перечисление городов и весей, во время которого можно было перевести дух. Раз уж приемник заговорил человеческим голосом, Петрович решил с ним не связываться и больше к нему не прикасался. В дальнейшем радио вело себя сносно, однако Петрович успел натерпеться такого страха, что пробраться к себе в детскую стало делом немислимим. Он лег прямо здесь, на диване в большой комнате; лег, конечно же, не надеясь заснуть. Просто так удобнее было размышлять и грустить. А грустить и размышлять ему было о чем: ведь его снова бросили, и на этот раз бросили окончательно. Театр, спектакль... все это был дурацкий маскарад, чтобы сбить Петровича с толку.

Между тем радио, испробовав себя в разных жанрах, предалось трансляции какой-то нескончаемой

симфонии со всеми ее подробностями, включая кашель невидимых слушателей... Звуки музыки проникали в сознание Петровича, то разбредаясь по его уголкам, то вновь сгущаясь для патетических аккордов. Инструменты, словно стая разноголосых птиц, рассеявшихся на дереве, то мирно щебетали, а то поднимали такой гвалт, что Петрович вскидывался во сне и недоброльно бормотал.

ГРАБЛИ ДЛЯ ПЕТРОВИЧА

В апреле месяце Ириныны ноги совсем забастовали. По целым дням она лежала в постели, а Петрович давал ей таблетки и читал вслух. За зиму он здорово продвинулся в чтении, и теперь это занятие скрашивало им с Ириной тяготу неподвижности. С помощью книжки можно было путешествовать в такие места, куда не дойдут никакие, даже совершенно здоровые ноги. Они побывали уже в индийских джунглях, где животными командовал голый, но смекалистый мальчик Маугли; посетили страну Италию, населенную говорящими продуктами питания. Были они и в Зазеркалье вместе с девочкой Алисой, изображенной на иллюстрациях в виде очаровательной большеглазой блондинки с лентой в волосах.

Они проводили дни и мило, и уютно. Петрович читал, потом читала Ирина, потом она дремала, а он рисовал или играл с железной дорогой. Однако неясно было, когда Ирина выздоровеет, а Петровичу требовался свежий воздух. Лицо его, по наблюдениям старших, становилось все бледнее и бледнее — просто угрожающе выцветало. Еще немного, и он сделался бы невидимым, как старик Хоттабыч. Чтобы этого не случилось, семейный совет в конце концов издал указ: гулять Петровичу самостоятельно, хотя бы по часу

в день. Так, как это делали многие его сверстники, бегавшие во дворе без особого пригляда. Решение было непростое и для старших, и — в особенности — для Петровича. Но необходимое.

— Ты ведь уже большой, не так ли? — сказал Генрих. — Пора тебе становиться социальной личностью.

Петрович вздохнул. Про «социальную личность» он пропустил мимо ушей, но понял главное: его отправляли из дома в компанию к безнадзорным оболтусам. Тем самым, что днями напролет шлялись по двору, обмотанные никем не утираемыми соплями.

И уже назавтра без особой радости, но с некоторым трепетом Петрович вышел во двор — впервые в жизни без сопровождающих. Сам этот факт заставлял волноваться, а тут еще в глаза брызнуло яркое солнце, и в легкие хлынул пряный апрельский воздух, от которого сразу же закружилась голова. В этом воздухе смешивались запахи теплого асфальта, птичьего помета и горьковатый аромат нарождающейся зелени. Свежая травка выбивалась откуда только могла: обочь тротуаров, из асфальтовых щелей, даже из-под домовых стен. Воробьи с оглушительным чириканьем яростно атаковали все, что казалось им съедобным, а на них сверху обрушивались голуби, хлопая и метя крыльями так, что серые сорванцы разлетались кувырком. Сизари-богатыри, раздувшись до того, что голова их тонула в перьях, забежали перед голубками, вертелись и чревовещали прямо под носом у дворовых кошек... словом, повсюду бушевала весна. Один лишь Петрович, одетый Ириной в войлочную теплую курточку и зимние ботинки, выглядел нелепым анахронизмом.

Размотав первым делом шарф и сунув его в карман, он осмотрелся. Во дворе неподалеку крутилась стайка мальчишек, размахивавших какими-то палками и пронзительно, по-воробьиному щебетавших. Петрович постоял немного, поразмыслил и направился в их сторо-

ну. Однако не успел он до них дойти, как пацаны внезапно снялись всей компанией и с криками, топоча, унеслись со двора. Они скрылись за углом дома, а там, за домом, была уже запретная для Петровича территория: так они договорились с Ириной.

Что ж, ничего не оставалось, как просто сесть на лавочку и ждать, качая ногой, когда выйдет кто-нибудь знакомый. Ждать ему, впрочем, пришлось недолго. Вскоре из второго подъезда показался известный ему мальчишка. Мальчишка был худощавого телосложения – прогонистый, как говорили дворовые старушки, – и звали его Сережка Мусорник. Вообще-то репутация у Мусорника была сомнительная, но надо думать, личностью он был вполне «социальной», потому что отродясь болтался на улице сам по себе. Лишь по вечерам, вопя истошно на весь двор, Сережкина мать загоняла его домой, соблазняя ужином. Голос у нее был хорошо поставлен по специальности, потому что днем она, запряженная в одноосную повозку, ездил по району и громко призывала граждан сдавать старые тряпки. Потому-то и сына ее прозвали Мусорником, на что он, впрочем, не обижался. Зато он таскал у матери разные завлекательные штучки, предназначенные для сдаччиков тряпья: карманные шарманочки, шарики на резинке и даже пистолетики, стрелявшие пробкой, но которые можно было зарядить собственной слюной.

Неудивительно, что Сережка ступил во двор уверенно, словно в собственные владения. По-хозяйски осмотревшись, он заметил на лавочке Петровича.

– Привет... – Мусорник окинул его равнодушным взглядом. – А где пацаны? Петрович махнул рукой: там, за домом.

– А ты чё сидишь? Бабка не пускает?

Петрович кивнул.

Сережка огляделся:

– Чёй-то не видать...

- Кого?
- Твоей бабки.
- Я один гуляю, — сообщил Петрович не без важности.
- Во как! — усмехнулся Сережка. — Ну и фиг ли?
- Что? — не понял Петрович.
- Фиг ли тогда сидишь? Канаем за дом, никто не пронюхает.

Сережка употреблял слова явно неприличные, но они выдавали в нем знание жизни и потому внушали Петровичу уважение.

Сомнения вихрем закружились в голове. «Канать» с Мусорником за дом — означало, пожалуй, совершить беззаконие. Но уж очень не хотелось Петровичу сидеть на лавочке, словно старушка. Он метнул воровской взгляд на окна своей квартиры: не смотрит ли оттуда Ирина...

А Сережка уже проявлял нетерпение:

- Ну что, айда?..
- Айда! — Чужое слово само слетело с уст, отрезая путь к отступлению.

Через минуту они уже были за домом. Откровенно говоря, ничего необычного или опасного Петрович здесь не обнаружил, — вообще ничего, что могло бы напугать или произвести впечатление. За домом был другой дом, очень похожий на дом Петровича, и двор, мало чем отличавшийся от его двора. Кстати, и мальчишек с палками там тоже уже не было. В общем, там царило то же безлюдье, — только у песочницы, охлестывая скакалкой свежую травку, сосредоточенно прыгала какая-то девочка. К ней они и направились.

– Эй! — обратился Сережка к девочке.

Продолжая скакать, она повернула голову. Петрович увидел глаза... точь-в-точь такие же большие и синие, как у Алисы с книжной иллюстрации. К большим глазам прилагался маленький носик, который немедленно сморщился, будто почуял неприятный запах.

— Му-сор-ник! — пропрыгала девочка, показав розовый язык.

— Верка — дура, — хладнокровно отозвался Сережка и тут же деловито спросил: — Пацанов не видала?

Она остановилась, пошатнувшись, и показала куда-то концами скакалок.

— Айда? — Сережка вопросительно взглянул на Петровича.

Ну уж нет. Он помотал головой. Идти еще дальше в поисках пропавших мальчишек Петрович не отважился.

— Не хочь, как хочь, — сказал Мусорник без сожаления. — Я порыл.

И он исчез, оставив их вдвоем с синеглазой девочкой. Некоторое время она молча изучала Петровича, потом приставила одну туфельку перпендикулярно к другой и, подбоченившись, спросила:

— Ну и как тебя зовут?

— Петрович, — ответил он.

— Ах-ха-ха-ха!.. Совсем как моего дедушку.

Смеялась девочка ненатурально, но голосок у нее был мелодичный. Впрочем, она опять сделалась серьезной и, помахав на Петровича ресницами, сообщила в свою очередь, что ее зовут Никой.

— Как это? — удивился Петрович. — Сережка сказал — Верка...

— Сам он Верка... — Девочка надула губки. — Вероника — значит Ника.

Так они познакомились. Вскоре Верке-Нике надоело строить Петровичу глазки, и она предложила сыграть в классики. К стыду своему, он плохо знал эту игру. До сих пор ему казалось глупым занятием гонять по асфальту банку из-под гуталина, но то было до сих пор, а теперь его мнение изменилось. Девчачья игра и, говоря по правде, пустейшая болтовня с синеглазой прыгуньей доставляли ему странное удовольствие...

Как жаль, что вдруг откуда-то появилась женщина с ярко накрашенными губами и, смерив Петровича неприятным взглядом, увела Веронику в подъезд.

Когда он вернулся домой, Ирина похвалила его за то, что не испачкал одежду. А вечером, приходя по очереди с работы, остальные старшие поздравляли его с первой самостоятельной прогулкой. Но Петрович отвечал рассеянно; он был задумчив и весь вечер просидел у себя в детской. Дело в том, что знакомство с Вероникой пробудило в нем сильное чувство. Чувство это, похожее на грусть или беспредметную жалость, было Петровичу знакомо. Давным-давно, быть может, год тому назад, была у него в детсаду история, о которой бы не хотелось вспоминать, да нельзя было не вспомнить в данных обстоятельствах. Дело касалось Римки Булатовой, невзрачной, в общем-то, девочки, но которая однажды на утреннике спела удивительно проникновенно песню про молодого бойца, погибавшего где-то вдали за рекой от белогвардейской пули. Голосок у Римки был такой чистый, а слова песни такие трогательные, что Петрович, отвернувшись, тихонько заплакал. С того дня он стал, как умел, оказывать певице знаки внимания, а однажды даже нарисовал специально для нее сцену из песни: лошадь и умирающего бойца у ее ног. Однако Римка не проявила взаимности; видно, все чувства свои она вкладывала в пение. Никак не хотела она ни замечать Петровича, ни играть с ним, предпочитая водить компанию с особами своего пола. И пришлось Петровичу, пойдя на риск, открыться Булатовой напрямую. Что он ей сказал? Да то же, что говорит всякий порядочный мужчина даме своего сердца, то есть предложил ей выйти за него замуж — разумеется, когда это станет возможным. Увы, Петрович еще не знал женской природы. Он готов был к отказу, но только не к предательству. Римка ничего ему не ответила — лишь взглянула брезгливо и... подалась ябедничать Татьяне Ивановне. Дальше понят-

но: Петрович препровожден был в знакомый философский угол, а вечером Катя узнала от воспитательницы о его «нездоровых влечениях».

Конечно, давняя эта история быльем поросла, но благодаря ей Петрович имел некоторый сердечный опыт, хотя и неудачный. Именно исходя из личного опыта Петровичу следовало бы осторожнее предаваться мечтам о синеглазой Веронике. Но не знал он мудрой поговорки про грабли, наступать на которые вообще-то глупо, а уж во второй раз и подавно. И даже если б знал... Так уж человек устроен: не идет ему впрок ни собственный опыт, ни тот, что накоплен предшественниками.

На следующий день Петрович ждал и не мог дожидаться прогулки. А когда настало наконец время собираться, то он вместе с нетерпением выказал необыкновенную придирчивость к одежде. В гардеробе своем Петрович нашел сегодня много недостатков, однако, несмотря на это, выкатился на улицу с радостно бьющимся сердцем. Он хлопнул, распутив голубей, подъездной дверью и, даже не оглянувшись на свои окна, побежал за дом. Ему почему-то мнилось, что он найдет свою синеглазую знакомую там же, где и накануне: на травке у песочницы. Но не тут-то было: в Вероникином дворе он увидел только старушек, таких же в точности, как в своем собственном, сидящих рядком на лавочке, словно в ожидании троллейбуса. Пусто было вокруг песочницы и внутри нее — лишь на бортах ее сохли ряды песчаных «куличей», выделанных известным мастером.

Что ж, Петровичу ничего не оставалось, кроме как занять позицию напротив Вероникиного подъезда и ждать. Развлечь себя можно было, наблюдая за желтой кошкой, охотившейся неподалеку безуспешно, но с неслабеющим энтузиазмом. Кошка вела боевые действия по всем правилам: кралась, прижимаясь к земле, и надолго затаивалась, делаясь похожей на чучело в зоологическом музее. Всю охоту ей портил хвост, не желавший

никак соблюдать условия маскировки. Этот хвост напомнил Петровичу Ольгу Байран, умевшую испоганить любое дело. Кошка зло оглядывалась на свой зад, но оттого, что она нервничала, хвост только пуще извивался и стегал по земле, собирая пыль и мусор. Кошкины предполагаемые жертвы — голуби, — как ни глупы они были, отлично понимали, откуда растет пушистый предатель, и держались от охотницы на безопасном расстоянии. Казалось даже, что голуби забавлялись: после каждой ее неудачной атаки они взлетали, буйно хлопая крыльями, но вскоре опять с назойливостью мух садились на прежнее место. Раз за разом кидалась на них кошка, но все чаще, еще не добежав, теряла кураж и останавливалась.

Время, однако, шло, а Вероника во дворе не появлялась. Кошка окончательно плюнула на охоту и легла на бок посреди тротуара; самый хвост ее устал и вытянулся на отлете, вяло подергиваясь. Успокоились и голуби; они наелись и занялись личной жизнью: кто принимал пылевые ванны, кто спал на животе, затянув глаза пленочками, кто толковал про любовь с соседкой или соседом. Петрович ногой раздавил последовательно все «кулички» в песочнице, посидел на трех разных лавочках и несколько раз прошелся по двору из конца в конец. Нетерпение в нем сменилось разочарованием, разочарование — скукой. В голову уже стали приходить фантазии не совсем романтического свойства: о том, к примеру, что нынче Ирина приготовит на обед...

И совсем было собрался он уходить, как вдруг из дома... нет, из дома вышла не Вероника, а двое незнакомых мальчишек — каждый на голову выше Петровича. Выйдя из подъезда, они оглядели свой двор так же похозяйски, как давеча Сережка Мусорник, и, конечно, немедленно обнаружили в нем одиноко слонявшегося чужака. Мальчишки о чем-то коротко между собой переговорили и направились к Петровичу. Еще издали, по одной только их разбитной походке он понял, что

эта встреча не сулит ему ничего хорошего. Скука у Петровича прошла, зато желание уйти отсюда многократно усилилось. Так и следовало поступить: бежать, не дожидаясь развязки; но, как это часто с ним бывало, опасность ввергла Петровича в оцепенение. Со стороны поведение его могло показаться вызывающим: он стоял как вкопанный, покуда мальчишки не подошли вплотную. Один из них, не говоря ни слова, сделал рукой движение, будто хотел ткнуть Петровича в живот... но он не шелохнулся.

— Боисся? — усмехнулся мальчишка.

— Нет, — ответил Петрович напряженным голосом. Забияка, казалось, огорчился.

— Ничего, — пробормотал он, — шас забоисся...

Пока он заговаривал зубы, его приятель зашел Петровичу за спину и стал на четвереньки. Тогда первый, вдруг прервавшись на полуслове, сильно толкнул Петровича в грудь. Расчет был верен: не сразу даже сообразив, что произошло, Петрович оказался на земле. Впрочем, он недолго оставался в лежачем положении, а быстро вскочил и с красным от гнева лицом запальчиво крикнул:

— Вы!.. Что вам надо?

Мальчишки удивились его прыти, и тот, что был разговорчивее, насмешливо спросил:

— Ты из какого дома, щегол?

— Вон из того, — показал он сердито.

— Вот и уходи к себе во двор!

Но беда была в том, что Петрович не любил, чтобы им командовали. Он и сам очень хотел уйти, и он, конечно, ушел бы... если бы они не приказывали.

— Не уйду, — заявил он, и это уже было полным безрассудством...

Петрович падал много раз от толчков, либо скошенный подножкой, но не сдавался, а даже лежа на спине отбивался от противников ногами.

— Дур-раки!! — кричал он им, от ярости не чувствуя боли.

Наконец, мальчишки, сами запыхавшиеся от борьбы, уселись на Петровича верхом и, скрутив ему руки, лишили его всякой возможности сопротивляться.

— Что будем делать? — спросил один другого.

Подумав, тот предложил:

— Давай накормим его песком.

Это уже было слишком! Петрович завопил так громко, что старушки, дремавшие на лавочке, вздрогнули и очнулись. Одна из них даже встала и заковыляла к дерущимся.

— Вот я вам! — еще издали она показала палку.

Мальчишки отпустили Петровича и приготовились дать стрелача.

— Санька, паршивец! — пригрозила старушка. — Смотри, поймаю — к матери за ухо отведу!

— Поймала! — отозвался тот, к кому она обращалась.

Но старушка, конечно, и не пыталась никого ловить. Она подслеповато вглядывалась в Петровича:

— Чей это? Не пойму...

— Он с того двора, — хором пояснили мальчишки.

— Ишь, куда забрел, — удивилась старушка. — С того двора, так и ступай к себе. Не то бока тебе намнуть.

Впрочем, бока ему уже намяли. Петрович покинул поле боя не в лучшем виде, довольный лишь тем, что сумел не расплакаться.

Какая разница между его вчерашним возвращением домой и сегодняшним! — Ирина была потрясена. А когда она вышла из потрясения, то принялась Петровича отмывать и мазать его царапины зеленкой. Тогда он узнал, что лечить боевые раны еще больнее, чем их получать.

Но когда вечером пришли Генрих с Петей, то оба они сказали, что, по их мнению, не случилось ничего страшного. Драки, заявили они, дело мужское. Ободренный Петрович поведал им о своем сражении — во

всех геройских подробностях, частью даже присочиненных. Только об одном он не стал распространяться: о том, с какой целью ходил он в соседний двор.

А ведь было еще одно, утешительное для Петровича соображение — скорее даже не соображение, а фантазия. Отчего-то ему казалось, что пострадал он сегодня не просто так, а во имя чего-то важного. И всякий раз при этой мысли Петровичу грезилась она — синеглазая Вероника...

Даже когда уложили Петровича в постель, когда погашен был в детской свет, события минувшего дня не хотели его отпускать. Они только преобразались тем сильнее, чем дальше ко сну клонилось его сознание. Вот опять он увидел Веронику, — она вышла во двор со скалками и... сейчас же была взята в плен кровожадным Санькой. Петрович вмиг оценил ситуацию; в руке его оказалась увесистая палка. «Паршивец!» — вскричал он и бросился Веронике на выручку. Санька от страха даже не смог убежать; под градом ударов он упал на землю и что есть мочи принялся вопить. «Накормим его песком?» — предложил Петрович. «Не надо, — сжалилась над поверженным Вероника. — Видишь, он и так описался». Она подошла к своему спасителю и потрепала по волосам...

Назавтра Петрович проснулся под перестук дождевых капель, — за окном непогодилось. Правда, дождик был весенний и вскоре кончился, но облака продолжали морщить небо, придавая ему то унылое, то беспокойное выражение. На душе у Петровича тоже было неясно. Сегодняшней прогулки дождался он с некоторой тревогой.

Подавая ему одежду, вычистить которую после вчерашнего стоило немалых трудов, Ирина хмурилась.

— На улице сыро, — предупредила она. — Ты уж постарайся сегодня не драться.

Петровичу и самому не улыбалось быть битым во второй раз. Сегодня он не пошел сразу в чужой двор,

а, забравшись в палисадник, отыскал там палку, какими мальчишки пользовались для своих потешных сражений. Лишь вооружившись таким образом, он осторожно обогнул свой дом и выглянул из-за угла, чтобы оценить обстановку. На сей раз за домом царило полнейшее безлюдье. По случаю плохой погоды не было даже старушек на лавочке, — только в некоторых окнах виднелись их лица между цветочными горшками...

И снова для Петровича потянулось ожидание. И снова, словно специально, чтобы развлечь его, откуда-то появилась вчерашняя желтая кошка. Ее-то что выгнало на улицу? — голуби все попрятались от дождя под крыши, так что шансов у нее сегодня было не больше, чем у Петровича. Она то и дело гадливо трясла лапами, а промокший хвост ее тащился сзади, извиваясь как пойманная змея. В итоге своих унылых и бесцельных блужданий кошка набрела на Петровича и, поняв вдруг, что перед ней человек, замерла настороженно. Чтобы она не боялась его, Петрович отвел взгляд; он отвел взгляд от кошки, и... в это мгновение произошло чудо. Он увидел, как дверь Вероникиного подъезда отворилась. Подъездная дверь проскрежетала пружинной и хлопнула, выпустив во двор Веронику собственной персоной. Девочка выпорхнула, и пасмурный день тотчас расцветился. Все на ней было в оттенках красного: и незастегнутый шуршащий плащик, и шерстяное платице с пояском; и даже блестящие, легкие не по погоде туфельки. Шапки на Веронике не было, потому что не нашлось бы такой шапки, чтобы вместила огромные, словно два облака, банты... Петрович был ослеплен, однако, одолевая нахлынувшую застенчивость, он все-таки решился подойти.

— Петрович! — узнала его Вероника. Она хихикнула, но тут же приняла важный вид, достойный своего великолепного наряда.

— Ты — гулять? — робко поинтересовался он.

— Не-а, — ответила девочка, — сейчас мама выйдет. — И со значением пояснила: — Мы в Дом пионеров.

«Ясно, — подумал Петрович. — Вот почему она во всем красном». Он видел пионеров: они носили красные галстуки и ходили под красными флагами. Пионеры были лучшие из школьников — им даже в парках ставили памятники. Непонятно только, какое отношение к ним имела Вероника, ведь на взгляд она казалась не старше Петровича. Можно было спросить у нее — спросить, что общего между ней и пионерами, но он постеснялся.

Вообще разговор у них как-то не клеился. Петрович молчал, морща палкой лужу на тротуаре, а Вероника поминутно оглядывалась на подъездную дверь.

И вот опять вскрикнула дверная пружина, и из дома выплыла Вероникина мать — та самая краснотелая женщина. Сегодня она нарядилась еще ярче — будто ела варенье и не утерла рот. Пальто на матери было бордовое, сумочка при ней была лаковая розовая, — словом, нельзя было не заметить, что в цветовом отношении она и дочь вполне гармонировали. При виде Петровича Вероникина мать рассердилась:

— Ника, я же тебе запрещаю водиться с кем попало!.. Кто это? — Она, не глядя, ткнула в него пальцем.

Голубые Вероникины глазки немедленно увлажнились, а губки надулись:

— Откуда я знаю... Он сам ко мне пристаёт! — И, повернувшись к Петровичу, она топнула ножкой: — Иди отсюда... дурак!

Красноногая Вероника со своей краснотелой матерью давно уже погасли в конце тополиной аллеи, а Петрович все стоял и светился над лужей. Цветом своего лица в ту минуту он вполне бы мог составить компанию ушедшим женщинам...

Но прошло несколько минут — четверть часа, не более, и природа вдруг повеселела — вспомнила, должно

быть, что на дворе весна и апрель. Над головой Петровича неожиданно показалось солнце, желтое, какой была кошка, пока не выпачкалась. Облака, недавно еще стоявшие тесно и плотно, побежали врассыпную, и только одно из них, словно шая, брызнуло напоследок искристым дождиком. Спасибо дождику, — после него все лица делаются мокрыми, а отчего — уже и не разберешь.

А кошка пересидела дождик под кустом. Петрович заметил ее, единственную свидетельницу его конфуза, и погрозил пальцем:

— Смотри, не проболтайся!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЫБАЛКА

Что может быть слаще заслуженного безделья? Вздрогнув от мысли, что опоздал в школу, ты вскидываешься в постели, да тут же и вздыхаешь облегченно — свободен!.. А через открытое окно слышно, как ширкают по проспекту проснувшиеся машины — словно хлопотливые шлепанцы. Со двора доносятся хлопки подъездов, и кашель, и скорый стук по асфальту многочисленных каблучков. Дым свежераскуренных папирос поднимается, достигает твоего окна, тревожит нос... Нет-нет — все в порядке, спи спокойно... Воробьи, фыркая крыльями, падают на подоконник и, насторожась, посматривают: что за беспорядок? Чик-чилик? Они не предполагали застать тебя в постели, да ведь им-то, глупым пичугам, невдомек, что у человека бывают каникулы.

Жаль только, что сон уходит. Звуки утра щекочут уши; солнце непрощеное гуляет по комнате, везде заглядывает, будто явилось с уборкой. И даже немного обидно делается: где же сны твои — те, что недосмотрел ты за учебный год... Но такая уж их казачья служба ночная:

ходят сны, караулят в потемках берег твоего сознания, а брода не перейдут. Грянет будильник — и яви регулярные войска наведут понтоны, пойдут по которым танки разума, полки мыслей — куда против них легкой ночной кавалерии. А уж если солнце взорвется, прожжет веки бомбой сокрушительного снега, тогда чисто станет в голове — зови не зови, а снов не докличешься.

Хорошо проснуться без камня на сердце. Можно успеть еще поймать за хвост последнее, не сумевшее улететь, сновиденье — и почувствовать, как хвост его тает в твоей руке. А потом... зевнуть, потянуться и снова закрыть глаза. Никаких прыжков с кровати, никаких гимнастик — насилие над собой противно человеческой природе. Просто дай заполнить себя новому дню. Пусть шестеренки твоего разума сами войдут в зацепление; пусть кровяной и нервной токи установят сообщение в организме; пусть все члены твои нальются согласной силой и попросят действия — тогда только и вставай.

Если бы науку сладостных пробуждений сдавали в школе, то у Петровича прибавилась бы в табеле заслуженная пятерка. Однако наука вещь отвлеченная — это Петрович уже понял, — она соотносится с жизнью, как сон и явь. Задано, скажем: «Из трубы вытекает вода». А если труба засорилась — что делать? Что делать, если Генрих не умеет починить трубу, а Петя ушел из семьи? Или: «Мама мыла раму». А если ей не до рамы? Она приходит с работы, ложится и плачет... Или самое смешное: «Гоша кушал кашу». Да он в жизни не стал бы кушать никакую кашу, особенно рисовую! Кому знать, как не ему, ведь Гоша — это он самый и есть, Георгий Петрович. Он согласится хоть на яичницу, хоть на булку без ничего, но кашу есть ни за что не станет! То же и с пробуждениями: хорошо бы, конечно, просыпаться без камня на сердце; и вроде совесть чиста; хорошист на каникулах — живи и радуйся жизни. Но как наслаждаться жизнью, если в доме такие дела? Про-

снешься и думаешь: пошла Катя на работу или опять лежит в страданиях? Как наслаждаться, если квартира провоняла валерьянкой, если даже Генрих съежился, притих и тайком глотает какие-то таблетки?

И все это, увы, был не сон. Плохо, конечно, если снится по ночам всякая дрянь, но еще хуже, если день и ночь поменяются местами. Петрович недолго ощущал прелесть летнего утра, а потом действительность вступила в свои права и заволокла душу ставшей уже привычной тоской.

Что ж, как бы то ни было, ему предстояло решить, чем занять себя наступившим днем. Законная свобода, солнце и поющие птички, — лето с официальной любезностью предлагало свои услуги, а как ими воспользоваться — выбирать приходилось Петровичу. Проще всего, конечно, вернувшись после завтрака к себе в комнату, повалиться с книжкой назад в неубранную постель или затеять самому с собой какую-нибудь вялую игру. Но, во-первых, оставшись дома, пришлось бы слушать без конца Иринины вздохи, а во-вторых... во-вторых, погожий летний день — это как билет в кино: не используешь, и пропадет. Можно попробовать найти Сережку Мусорника и подговорить его вдвоем терроризировать Сашку из соседнего двора. Можно отправиться на стройку — смотреть, как работает бульдозер. А можно проведать голубей на чердаке своего дома и узнать, насколько за неделю выросли их птенцы. В общем-то выбор имелся, и все бы ничего, если бы не семейные обстоятельства.

Ох уж эти обстоятельства... Дни Петровичу еще удалось проводить в относительном рассеянии, но вечерами ощущение домашней трагедии сгушалось. Катя не выходила из спальни, и временами оттуда слышались явственные всхлипы. Ирина с Генрихом то отчужденно молчали, то вдруг сходились и принимались о чем-то

возбужденно шушукаться. И нельзя было подать виду, что прислушиваешься; «Гоша, не стой, пойдй займись чем-нибудь!» — набрасывались они тут же. Гоша! Для них он перестал быть Петровичем — вот куда зашло дело. Вслух же обстоятельства Петиного ухода не обсуждались, семейный совет не созывался бог знает как давно, и потому ситуация в доме напоминала бутылку, заткнутую пробкой.

В такую-то спертую атмосферу несчастья попали в одну из июньских суббот дядя Валя и тетя Клава, не имевшие обыкновения предупреждать о своих редких визитах. Дядя Валя был не родственник, а фронтовой друг Генриха; тетя Клава приходилась дяде Вале женой. Люди они были простые, но почувствовали сразу: в доме у Генриха крупные нелады и ситуация, близкая к чрезвычайной. А дядя Валя по складу своего характера был из тех людей, которые в чрезвычайных ситуациях не теряются, а, напротив, проявляют повышенную распорядительность. Невысокого роста, полный, дядя Валя говорил и действовал обычно с улыбочкой, но в этот раз он так раскомандовался, что куда до него Генриху. Ему почему-то взбрело в голову, что сегодня самое время устроить вместо обычной посиделки грандиозный ужин; он и повод моментально нашел: успешное окончание Петровичем первого класса. Сделали вылазку в магазин и на рынок, и в квартире началась кутерьма, в которой приняли участие сначала неохотно, а потом все более увлеченно все, кто был в ней прописан, включая растерянно улыбавшуюся Катю. Отсутствовал только Петя, но... может быть, все и дело-то было в его отсутствии.

А ужин получился бурный: разумеется, Петровичу достались кое-какие поздравления, но в основном все галдели, смеялись и трепались на разные отвлеченные темы. Казалось, и впрямь вылетела пробка из семейной бутылки, и они вдохнули свежего воздуха. Немало, впрочем, было вынута и настоящих пробок, — дядя Ва-

ля рюмку за рюмкой поднимал то за «сынка» своего Гошу, то за его тезку, маршала Жукова, то за мир во всем мире. Он рассказывал забавные фронтовые истории, спорил о чем-то с Генрихом, сердился (с улыбочкой) на тетю Клаву — словом, и сам не унывал, и никому бы не позволил. Конечно, под занавес не обошлось без песнопений. Даже из детской хорошо было слышно, как дядя Валя пытается вторить слаженно поющим женщинам: тенор у него имелся, и довольно чистый для его возраста, но слуха — никакого. Тем не менее засыпал Петрович с легким сердцем — впервые за долгое время.

А на следующий день Генрих объявил Петровичу, что дядя Валя берет его с собой на рыбалку.

— За Волгу? — Петрович не поверил своему счастью.

— За Волгу... — подтвердил Генрих и вздохнул: — Мне бы с вами, да работа не пускает.

Сердце Петровича радостно забилося, и он шепотом, чтобы не слышали женщины, два раза прокричал «ура!».

Вот это уже было мероприятие, достойное каникул. Предстоящая рыбалка заняла все его воображение. Собственно, даже не рыбалка, о которой Петрович имел смутное представление, а сама поездка за Волгу. Уж очень он любил реку: и легкий запах гнили, и дивный выхлоп судов, и плеск воды, что в солнечные дни казалась едва тяжелее воздуха. Он вспоминал семейные походы на пляж с целодневными купаниями — до изнурения, до одури; вспоминал прогулки на плавающих трамвайчиках с их прохладными пассажирскими трюмами, в которых крепко пахло дерматиновыми сиденьями, а по потолкам плясало отраженное речное сияние. В этих воспоминаниях были и лица: родные, счастливые, как на открытках, все вместе в речном обрамлении... Конечно, Петровичу горько делалось при мысли о невозвратимости прошлого, но он хотя бы Волгу надеялся увидеть на прежнем месте.

Рано утром в назначенный день к подъезду, слышно сигнала, подкатил двухцветный автомобиль марки «Москвич». За рулем его сидел Терещенко, тоже, как и дядя Валя, бывший Генрихов однополчанин. На фронте ему повезло меньше, чем его друзьям, потому что в боях он потерял одну ногу. Но даже без ноги, даже в мирное время вид у Терещенко был геройский: он никогда не снимал своих медалей, говорил громко, хохотал оглушительно и имел могучие, как у всех безногих, руки. Петрович его побаивался, особенно с того раза, когда на его глазах Терещенко Генриха (самого Генриха!) так хлопнул по спине, что у того слетели очки. Однако, в сущности, одноногий был добрый дядька, иначе почему бы он предоставил двум рыболовам свои транспортные услуги.

Дядя Валя, приехавший с Терещенко, поднялся в квартиру, и первое, что он сделал, — это выпотрошил сумку, заботливо уложенную Ириной Петровичу в дорогу.

— Знаешь, почему мы женщин не берем на рыбалку? — спросил он со своей улыбочкой.

Петрович пожал плечами.

— Потому что они в этом деле ничего не смыслят.

Ирина фыркнула, но спорить не стала.

— Делай как знаешь, — проворчала она, — но его, — она показала на Петровича, — верни нам, пожалуйста, целым.

Единственное, кажется, что оставил дядя Валя в сумке, были купальные трусы и мазь от комаров. Впрочем, к самому Петровичу, то есть к его экипировке, замечаний у командора не нашлось; он только критически оглядел его и, не тратя лишнего времени, скомандовал отбытие.

Красно-голубой «москвич» стоял во дворе под парами; работу мотора выдавало дрожание капота и дымок, курившийся за кормой. Переднее боковое окошко целиком занимало большое усатое лицо Терещенко.

— Долго вы еще? — гаркнуло лицо.

— Уже, уже... — отвечал дядя Валя, дергая неподатливую дверцу машины.

Он впустил Петровича на заднее сиденье, где тому предстояло ехать в компании с Терещенкиным костылем. Сам дядя Валя поместился впереди, рядом с водителем.

— Трогай, шеф!

— А я что делаю?!

Терещенко действительно уже некоторое время манипулировал странными рукоятками, каких Петрович не видел на других автомобилях. Наконец «москвич» взревел, выпустил сзади тучу синего дыма и, затрепетав, сдвинулся с места. Он уже набрал заметный ход, как вдруг одна его дверца, та, что была с дяди-Валиной стороны, сама собой распахнулась. Выругавшись, Терещенко перегнулся через дядю Валью, достал дверцу своей длинной рукой и так ею бабахнул, что ото всех обивок в салоне отделились облачка пыли.

Они выехали на проспект, и здесь Петровича охватило тревожное чувство. Слишком уж маленьким, слишком частным выглядел Терещенкин экипаж на большой дороге. Словно малыша, затесавшегося в толпу взрослых, «москвич» обступили огромные грузовики, многим из которых он был по колесо ростом. Грузовики угрожающе взрыкивали и густо чадили ему в самые окна. То и дело над дрожащим голубым капотом горой нависал то чей-то кузов с болтающимся снизу мятым ведерком, то хвост автобуса, высокий, как стена дома. «Москвич» выл, дергался, отчаянно дымил, но все равно уходил последним от каждого светофора, и вся дорога обгоняла его, оглушая негодующими гудками. Петрович заметил, что даже невозмутимый дядя Валя обеспокоенно покручивал головой и придерживал на всякий случай ручку своей дверцы. Один лишь Терещенко, казалось, чувствовал себя совершенно в своей

тарелке и держался, по мнению Петровича, даже слишком вызывающе. Поминутно сигналив, он высовывал в окошко усатую голову, орал что-то проезжавшим водителям и ругался такими словами, каких Петрович не слышал и у Сережки Мусорника.

Наконец автомобильная часть пути закончилась. Терещенко осадил своего взмыленного двухцветного коня на самом краю земной тверди. Дальше, отделенная лишь узкой кромкой подмокшего берега, лежала Волга. Неохватная панорама с водой, плесами и заречными делями вся сразу открылась глазам. В кабину «москвича», пропахшую машинными выделениями, потянуло влажной свежестью. Мать-река была так величественна,дыхание ее было таким глубоким и медленным, что и на Петровича, и на дядю Валю с Терещенко низошло внезапное гипнотическое успокоение. Словно не было только что сражения за место на шоссе, словно не высился позади них шумный суетливый город. Старики даже не стали сразу выгружаться, а, распахнув дверцы, закурили и, пока теплились их сигареты, молча шурились на реку. И Петрович, хоть он не курил, тоже смотрел на Волгу; глаза его постепенно привыкали к перспективе, а душа приходила в состояние романтического транса.

Но вот дядя Валя затряс рукой: окурок обжег ему пальцы. Что ж, пора было действовать. Терещенко с помощью незаметного рычажка, спрятанного под сиденьем, потянул в машине какую-то жилу, которая лопнула и позволила открыться багажнику. Заглянув в багажник, Петрович увидел большой брезентовый мешок защитного цвета, такой же рюкзак, скатку с деревянной ручкой и разные другие предметы, либо туго перевязанные, либо упакованные в чехлы. Вещей было не больше, не меньше, а ровно столько, чтобы обеспечить существование на лоне природы двум сноровистым человеческим особям. Но сначала следовало все эти пожитки перетащить на берег. Делая первую же ходку,

Петрович набрал полные сандалии песку, однако легко решил эту проблему, разувшись по совету дяди Вали и закатав штаны. Один лишь Терещенко физического участия в разгрузке не принимал, а только жестикулировал костылем, помыкая своими двуногими товарищами.

Снаряжение переключало к водяному урезу. Носильщики отерли лбы, и старший похвалил младшего за усердие. Передохнув, дядя Валя поднял за хвост брезентовый мешок и вытряхнул на песок пахучую сморщенную шкуру резиновой лодки. Надувалось плавсредство ручным насосом, похожим на голенище кирзового сапога. Клапаны, хрюкая, впрыскивали воздух под резиновую кожу, отчего лодочье тело на глазах оживало и наливалось плотью. С лица у дяди Вали капал пот, но он качал безостановочно, и вскоре уже на берегу красовалась двуногая, похожая на широкую пирогу, настоящая десантная армейская лодка с тугими звенящими боками.

Судно сволокли на воду, вставили весла, дно его застелили одеялом. На одеяло дядя Валя осторожно посадил Петровича и, велев не возиться, принялся заваливать его вещами. Закончив погрузку, командор помахал Терещенко рукой и, оттолкнув лодку от берега, перевалился в нее через борт, окатив Петровича водой с бо- сых ног. Терещенко с берега проорал басом что-то напутственное, «москвич» дискантом просигналил, и... путешествие началось.

Дядя Валя сидел, попирая своим задом спасательный надувной круг. Он развернул лодку и греб спиной вперед. Петрович больше не видел ближнего берега; перед ним выпукло расстилалась живая, подвижная речная поверхность. Небольшие остренькие волны, играя, то шлепали в борта, то гулко, дробно в них барабанили. Странно и забавно было Петровичу чувствовать под собой зыбкое дно резиновой посуды: казалось, не дно, а саму реку ощущал он собственными ягодицами. Далекий противоположный берег Волги — цель плава-

ния — поначалу не думал приближаться, а только поворачивался вправо-влево при каждом взмахе весел. Дядя Валя, держа курс к известному ему месту высадки, часто оглядывался и ставил лодку наискосок, делая поправку на резвое течение. Он усиленно пыхтел, стараясь побыстрее пересечь судоходный фарватер. Один раз ему, однако, пришлось замедлить темп, чтобы пропустить здоровенный ржавый танкер, который на всякий случай им погудел (Петрович даже немного встревожился, как давеча в «москвиче»). После танкера по воде пошли высокие волны, каждую из которых лодка встречала смачным лобзанием и пропускала под собой, изгибаясь резиновым телом и упоительно подбрасывая Петровича.

Несмотря на кажущуюся рыхлость сложения и немолодой возраст, дядя Валя оказался стойким гребцом. На середине реки он разделся, и Петрович увидел, как на груди его под жирком и седоватой шерсткой ходят приличные мышцы — почти такие же, как у Пети. К свежему аромату воды примешивался запах трудового пота; пуп на животе у дяди Вали ритмично вздувался от усилий, и лодка подвигалась мерными толчками. Наконец дальний берег смилоствивился и начал заметное движение им навстречу. Оглянувшись назад, Петрович удивился, каким далеким сделался город: трудно было даже найти место, откуда они стартовали. Здания подернулись дымкой и слились в бесформенную гряду, похожую на неровную трещину между водой и небом — трещину, в которой и сам Петрович сидел еще недавно.

Низкий левый берег, к которому они плыли, представлял собой широкий и чистый песчаный пляж, переходящий в ивовые заросли, за которыми живой светло-зеленой ширмой высился негустой широколиственный лес. Берег этот выглядел первозданным: ни следов человеческих стоянок, ни даже просто следов человека. Лишь в одном месте железной занозой торчал из песка полувросший в него остов самолета. Дядя Валя пояс-

нил, что это наш штурмовик, сбитый в войну. Вот здесь-то, напротив штурмовика, они и причалили. Лодка, нагоня легкую волну, прошуршала по песчаному дну и закорилась тем местом, где находился дяди-Валин зад.

Но здешнее побережье только на первый взгляд казалось необжитым. В кустах нашлись припрятанные, припасенные дядей Валею от прошлых рыбалок палки и колышки. С их помощью он стал воздвигать жилище, которое, как оказалось, приехало с ними в виде той самой скатки с деревянной ручкой. Палатка, как и лодка, была армейского образца и тоже вначале не имела формы. Но волшебство повторилось: орудуя топориком и при готовном содействии Петровича, дядя Валя сначала распялил палатке днище, а затем вознес ее кверху, подперев изнутри в коньках заготовленными палками. Скоро палатка совсем расправилась; теперь она сидела на песке, раскинув выцветшие брезентовые крылья. Могло даже показаться, что, если бы не державшие ее веревки, она взмахнула бы своей крышей и улетела — улетела бы, словно какой-нибудь доисторический рукокрылый ящер. Палатка очень понравилась Петровичу; ее зеленовато просвечивающее нутро хранило воспоминания о прошлых путешествиях: к запаху брезента в нем примешивались ароматы кострового дыма, комариной мази, хвои, сухой травы, рыбы и чего-то другого, Петровичу неизвестного. Запирался походный дом интересными деревянными застежками; в левой боковой стенке у него имелось окошко, затянутое марлей, а в торце были устроены два кармана для всякой всячины.

Вылезать из палатки не хотелось, но долг повелевал. Сидеть сложа руки путешественнику не пристало, ведь нянек на природе нет. Им с дядей Валею предстояло еще много дел, необходимых по обустройству занятого ими плацдарма. Петрович сам удивлялся, с какой охотой он выполняет дяди-Валины поручения: таскает вещи, ходит в лес за хворостом и к реке за водой, помога-

ет распутывать снасти. А все потому, что нужность и важность этих дел не вызывала сомнений, в отличие, скажем, от уборки постели, чистки зубов и тому подобного. А как хороши были минуты отдыха между трудами: и купание, и просто сладостно-оцепенелое до головокружения созерцание медленного парада вод. И трапеза: пакетный каша-суп, приправленный пеплом от костра и случайными осами. Главное, что готовился он в солдатском закопченном котелке, один вид которого поверг бы в ужас Ирину. И первый улов: мелкие рыбки, которым предстояло, будучи насаженными на донку, послужить приманкой для крупных. Петрович очень скоро потерял к ним всякую жалость и сам с дикарским хладнокровием цеплял их, трепещущих, на здоровенные щучьи крючки, похожие на лодочные якоря.

Весь мир сегодня был к Петровичу неправдоподобно ласков; даже мертвый штурмовик не страшно, а, казалось, приветливо помахивал ему остатками своего хвоста. В заботах и в неге большой июньский день истек, как один час, но не минул, а стал одним из ценных приобретений памяти. На прощание солнце брызнуло в глаза апельсинным соком и вылило свои остатки в реку. День истек, но прошло еще немало времени, прежде чем повеяло прохладой, и летняя ночь явилась в своих легкомысленно просвечивающих вуалях. Словно запоздавшая гостья, она пришла с тем только, чтобы показать свои украшения: матовые жемчуга в светлом небе, рубины волжских бакенов и слитно-золотистое ожерелье города. И тотчас ожили кругом многочисленные ночепоклонники: сверчки и кузнечики, цикады и... бог весть кто еще, — все наперебой зашевелились, завздохали, запели, заявляя в ночи о своем существовании. Река нашептывала что-то интимное, рыбы смело плескались и выпрыгивали из воды, а костер, днем почти незаметный, играл теперь пылким румянцем и не мог сдержать беспрестанных громких салютов.

В городе Петрович спал бы в этот час, что называется, без задних ног. Да и здесь палатка звала его под свой душистый гулкий полог, но... как уйти от костра, живого и изменчивого, как калейдоскоп, как пропустить теплоход, в огнях и музыке скользящий по водному гляncy... А если зазвенит колоколец донки, если сядет на крючок вожделенная настоящая рыба — можно ли проспать такое? Ничто не спало вокруг, не спал и Петрович. К его радости, и дядя Валя не делал попыток его уложить, а сидел молча и задумчиво покуривал. Время от времени он насаживал на палочки пару живых маленьких рыбок и жарил их на костре. Одну он скармливал Петровичу, а второй закусывал водку, которую прихлебывал из солдатской овальной фляжки. Петрович уже не сострадал несчастным рыбкам, а даже наоборот, находил их очень вкусными. В течение дня общение их с дядей Вале́й было кратким и деловитым; вечером же, по окончании трудов, оно и вовсе почти прекратилось; но молчали они легко — просто каждый думал о своем и не тяготился соседством. Тем не менее беседа назревала. Что уж было причиной — чары ночи или содержимое дяди-Валиной фляжки, — но оба они вдруг почувствовали потребность поговорить. Дядя Валя справил за самолетом малую нужду, а на обратном пути дружески похлопал штурмовик по алюминиевому боку.

— А ведь на моих глазах его сбили — не говорил я тебе? Петрович наострил уши.

Дядя Валя снова сел у костра и закурил.

— Мы с Генрихом твоим здесь недалёко были, когда это самое... ну, он, поди, тебе рассказывал. Нас на тот берег готовили, а там... не приведи бог. И в небе тоже заваруха: самолетов, конечно, много сбивали. Так вот, я помню, один никак падать не хотел: дымит, но тянет... а завалился тут где-то. Мы с Генрихом до сих пор спорим — тот или не тот.

Петрович обернулся на штурмовик. Самолет то появлялся в костровых отвесах, то отступал в темноту.

- Наверное, тот.
- Я тоже так думаю...

Они еще посидели, глядя в костер. Вдруг Петрович пошевелился:

- Дядя Валя...
- Что? Еще рыбки тебе?
- Нет... – Петрович помялся, – я хотел спросить...

ты знаешь, что от нас Петя ушел?

- Знаю, – кивнул дядя Валя.
- Краткость ответа Петровича смутила.

- Ну и вот... – пробормотал он.

Дядя Валя помолчал с минуту.

– У меня, Георгий, тоже... проблема. Только это между нами.

- А у тебя какая?

– Такая... бездетные мы с Клавой. Знаешь, как это бывает?

Бездетные? Петрович решил, что дяди-Валины дети ушли из семьи, и ему стало жаль старика.

- Знаю, – кивнул он.

Больше они болезненные темы не затрагивали, а трепались о том о сем. Языки слушались их все хуже: дядю Валю потихоньку забирала водка, а Петровича neodолжимый сон.

Ночь ушла, не простившись, и наступило предраcветное безвременье. Отцвел, опал костер; смолкли хоры насекомых. Небо побледнело – оно не осветилось, но просто сделалось серым. Природа, что случается с ней нечасто, показалась вдруг ненакрашенная, и хорошо, что зрителей у нее было немного. Однако наваждение длилось недолго. Прозрачные древесные кроны, загораживавшие восток, испустили вдруг нежное золотисто-зеленое сияние, небо над ними светло заголубело. Это означало, что время пошло: там, за ле-

сом, с далекого степного космодрома стартовало солнце.

И тут только дядя Валя спохватился.

— Давай-ка, брат, укладываться, — сказал он, — не то завтра от нас будет мало толку.

Они на четвереньках вползли в брезентовое логово, натянули на себя кое-как одеяло (одно на двоих) и... мгновенно уснули, не чувствуя боками неудобных кочек и предоставив себя на завтрак заждавшимся комарам.

Не часто, но бывало, что душа Петровича, блуждая во сне, забиралась в такие изначала, в такие проваливалась колодцы, где не было уже ничего — ни образов, ни времени. Эти колодцы не напоят впечатлениями, и память не сохраняет таких путешествий — разве смутную догадку, что был где-то далеко-далеко. А вынырнуть из них нелегко: тянут колодцы, не отпускают...

Что-то навалилось на Петровича и давит, и надо бы проснуться, а сил недостает. Дядя Валя что-то кричит, а чего кричит-то? Сам навалился и ругается... Нет, это не дядя Валя навалился... но что тогда? Палатка перекосилась, бок ее подмят чем-то тяжелым... Может быть, приехал самосвал и высыпал кучу песка? А вдруг он засыплет палатку совсем? В панике Петрович пополз к выходу, и лишь ударившись лбом о палку — тогда только проснулся окончательно.

Что случилось, что за кутерьма? Дядя Валя прыгал с хворостиной и орал, а на песке, привалившись боком к палатке, лежала огромная бурая корова и жевала полотенце. Корова только что прилегла и никак не хотела вставать; она лишь косила на дядю Валю глазом и взмахивала рогатой головой. Петрович еще ни разу в жизни не видел настоящей коровы. От страха он завизжал по-звериному и, схватив какую-то палку, словно обезьяна шимпанзе, швырнул ее в бедную буренку. Не выдержав двойного натиска, корова рывком поднялась на

задние ноги, потом на передние и, обидчиво оглядываясь, торопливо пошла в кусты, унося в зубах полотенце.

— Уф! — сказал дядя Валя. — Надо же... и полотенце сперла. А нагадила-то, смотри... Он вытер лоб и улыбнулся:

— А ты молодец... палкой ее!

Сражение с коровой разбудило и развеселило обоих рыбаков. К тому же на одну из донок попалась-таки здоровенная щука. Дядя Валя не стал вынимать из нее крючок, а отрезал его вместе с леской и бросил щуку в траву. Петровичу он велел ее не трогать, пока не уснет.

— Как это уснет? — не понял Петрович.

— Уснет — значит умрет, — пояснил дядя Валя.

Они искупались, позавтракали, поправили палатку. Проходя мимо щуки, Петрович всякий раз пытался понять, уснула она или нет. Первое время в траве еще слышались мощные удары ее хвоста, но потом рыба успокоилась. Прошло еще с полчаса, пока Петрович отважился подойти ближе. Темное крапчатое тело щуки, ее надменное рыло и открытый глаз — все было неподвижно. Уснула?.. Петрович осторожно протянул руку и дотронулся пальцем до холодной морды — щука не шевельнулась.

— Уснула! — крикнул он. — Дядя Валя, она уснула... Ай-я-а!!! — Внезапно голос Петровича сорвался на истощенный вопль.

Это было как удар тока: шелк! — и палец его был мертво зажат в зубастом капкане. В щучьих гаснущих глазах читалось удовлетворение... Но уже спешил на выручку дядя Валя. Ножом он разжал гадине челюсти и освободил товарища. Петрович подвывал и трясся, но, хотя палец его и кровил, ранка оказалась неопасной.

— Будешь знать! — Дядя Валя взял его палец в рот и облизал. — Ничего, до свадьбы заживет.

До какой такой свадьбы? От недоумения Петрович перестал подвывать.

Так начался второй день рыбалки, ознаменовавшийся уже с утра волнующими происшествиями.

К обеду они вытащили вторую щуку, а часов с трех стала меняться погода.

— Плохо дело, — сказал дядя Валя и показал рукой на север. — Смотри, что ползет.

И правда: Петрович увидел, что из-за далекой плотины ГЭС, похожей отсюда на губную гармошку, белой, на глазах вспухавшей пеной на них шел и разливался, охватывая горизонт, облачный фронт. Казалось, где-то в огромной кастрюле убежало молоко. Облака росли и приближались удивительно быстро при полном безветрии и наступившей в воздухе какой-то ватной тишине. Скоро они показали свое темное подбрюшье и перестали походить на пену; теперь они бутрились, играли туго и зловеще, как мышцы какого-то огромного безголового чудовища. Природа спешно готовилась к обороне: птицы покинули небо, насекомые попадали в траву, деревья будто крепче вцепились в землю корнями. Река потемнела водами, а песок на пляже, напротив, сделался серым и словно побледнел. Тучи перевалили плотину; они цеплялись лохматыми животами за краны-табуретки и оставляли на них клочья шерсти, а потом и во все скрыли ГЭС в серой пелене.

Воздух пришел в движение — чудовище ощупывало себе дорогу. Ветерки-разведчики взьерошили Волгу, прошли будто слепыми пальцами по древесным кронам, нашли костровище и дунули в золу...

— Слышишь, Георгий, давай собирать манатки! Сейчас начнется...

Но запоздалая дяди-Валина команда потонула в грохоте вдруг ударившего настоящего ветра. Землю встряхнуло, словно выбиваемый половик, и все, что было на ней улежавшегося, — все взлетело на воздух.

Песок и водяная пыль, древесный мусор, сорванные листья... Откуда-то взявшаяся газета чайкой пронеслась перед изумленным Петровичем, а вслед за ней проскакал по пляжу целый сухой куст. Дядя Валя не зря беспокоился о «манатках»: и одежда их, и одеяло, и скатерть-подстилка, как в сказке о Мойдодыре, — все сорвалось с мест и понеслось со стоянки прочь, вспархивая и перевертываясь. Задыхаясь от ветра, рыбаки заметались по берегу, ловя одичавшие вещи и кидая их в палатку, которая сама билась и хлопала, пытаясь освободиться от пут.

Песок скрипел на зубах, летел в глаза; босые ступни попадали на колючки. Но Петрович ничего не чувствовал: в лихорадочном, каком-то удалом возбуждении он бегом собирал пожитки, восполняя большой подвижностью свою бестолковость. Вдруг краем глаза он заметил какой-то большой предмет, резво плывущий вдоль берега. Это... это была их лодка! Кружась, будто вальсируя в припадке безумия, погоняемая ветром, она мчалась вниз по течению с неестественной скоростью.

— Лодка!! — закричал Петрович.

— Что? — не расслышал за ветром дядя Валя.

— Лодка отвязалась!

Не дожидаясь ответа, Петрович вдоль берега кинулся за беглянкой.

Дядя Валя понял наконец, что происходит, но утнаться ни за лодкой, ни за Петровичем ему было не под силу. Тяжело дыша и увязая в мокром песке, он ковылял позади, а ветер трепал его седины.

Но Петрович, мелькая пятками, неся в прибое с быстротой кулика, и он настиг беглянку. Лодку уже прилично отогнало от берега, но он, не раздумывая, бросился за ней в воду, упал, чуть не захлебнулся, но все же ухватился за скользкий резиновый борт. Не желая сдаваться, лодка извернулась, выскользнула из-под его руки и, отскочив, попыталась опять улизнуть. В послед-

нем броске, в котором он не имел права промахнуться, Петрович поймал конец швартовой веревки, волочившейся по воде. Теперь он держал лодку за хвост и готов был скорее утонуть, чем отпустить свою добычу.

— Держи ее!! — донеслось с берега. — Я иду...

Прямо в одежде, взрывая воду животом, дядя Валя подоспел вовремя. Место, где стоял Петрович, было слишком для него глубоко, и волны плескали ему в самое лицо.

Не успели они вытащить лодку на берег, как на землю обрушился водопад. Река вскипела, сделавшись вся разом седой под титаническим душем; все звуки поглотило могучее шипение ливня. Словно кто-то вспорол тучам брюхо: вода валилась из них, едва успевая в полете разделиться на капли. Они, капли, были такие крупные, что удары их по темени отдавались во всей голове. Рыбаки укрылись от бомбежки под перевернутой лодкой, потому что палатка была занята вещами. Дядя Валя раздел Петровича и завернул его в одеяло, коловшее и щекотавшее обгоревшую на солнце кожу.

Обустроив товарища, старик глотнул из своей фляжки, порылся в подмокших папиросах, закурил.

— А что, — сказал он, шурясь от дыма, — с тобой, Георгий, можно идти в разведку.

Ливень продолжался не больше получаса и прекратился внезапно, будто в небесах перекрыли вентиль. Несколько отставших капель вонзились в измокший побурелый песок, и в природе наступило какое-то ошалелое затишье.

Дядя Валя посмотрел на часы и присвистнул:

— Ого! Пора нам собираться.

— Даже не обсохнем? — удивился Петрович.

— Некогда, брат. Не вернемся вовремя — Терещенко начнет психовать; подумает, что-то случилось.

Укладывались второпях. Палатку дядя Валя не стал скатывать, а просто сложил — ее еще предстояло сушить. Только двух пойманных щук он аккуратно связал

мордами и, сунув в полиэтиленовый пакет, определил в лодке поверх остальных вещей.

Скрипнули весла в резиновых ушах-уключинах, звонко ударилась о борт волжская свеженапоенная волна, и осевшая под грузом лодка, словно стыдясь своего недавнего безумства, пошла, пошла вперед короткими смиренными шажками. На юге солнце прижигало хвосты отступающим тучам, впереди, на западе, туда-сюда пилили небо городские зубы. После всего, что случилось, Петрович чувствовал уже некоторое утомление. Дядя Валя греб молча, оглядывался часто; было заметно, что и ему хотелось поскорее на тот берег.

Вдруг внимание Петровича привлекло странное шишковатое бревно, шедшее почему-то против течения пересекающимся с ними курсом.

— Дядя Валя, смотри!

Старик обернулся, взгляделся... и стал выдергивать весло из уключины.

— Гони его! — крикнул он и ударил веслом по воде.

«Бревно» нырнуло, но тут же опять всплыло поблизости. Теперь оно шло прямо на Петровича, и он увидел усатую морду, ноздри и немигающие глаза.

— Кто это? — вскричал он в ужасе.

— Осетр!.. Гони его, не то он лодку пропорет!

Дядя Валя бил веслом, пытаясь дотянуться до чудища, но ему было не с руки. Эта рожа была не похожа на рыбу — она словно явилась из ночного кошмара. Однако Петрович сумел себя пересилить; он нашарил в лодке котелок и, изготовившись, двинул монстра что было сил — прямо по зеленой башке. Звук получился такой, словно удар и впрямь пришелся по бревну. Осетр, шарахнувшись, ушел под воду, но не глубоко, так что Петрович увидел, как проплывает под лодкой его огромное зазубренное тело.

Опасность миновала, но Петрович никак не мог опомниться.

— Вот так осетр... — пробормотал он с дрожью в голосе. — Но почему же он сверху плавает?

— Потому, — ответил дядя Валя, вставляя на место весло, — потому что солитер в нем сидит.

— Солитер?

— Ну да, — кивнул дядя Валя. — Червяк такой. Живет у него внутри и газом живот надувает.

И снова Петрович содрогнулся от омерзения: у этой твари еще и червяк в животе!

Сражение с осетром привело к тому, что их изрядно снесло течением. Как ни трудился дядя Валя, лодка промахнула предполагаемое место высадки. Издалека еще Петрович увидел красно-голубой «москвич», катившийся по набережной им наперехват. Наконец они с разбегу влетели на прибрежную отмель и остановились. Попрыгав в замусоренную воду, путешественники ухватили свое плавсредство за нос и дружно втащили на прибрежный песок, убитый недавним ливнем. На городском берегу повсюду, где на боку, где кверху брюхом, лежали настоящие деревянные длинноносые рыбачьи лодки. На фоне их резиновое измученное, сморщившееся за сутки путешествия суденышко выглядело маленьким и жалким.

Терещенко, ухмыляясь, наблюдал за их высадкой с высоты набережной. Едва дядя Валя оказался в пределах слышимости, одноногий помахал ему костылем и обругал за опоздание. В ответ дядя Валя показал пакет с щуками:

— Зато смотри, каких мы китов поймали!

При виде «китов» Терещенко смягчился; он искоса осмотрел щук и пробурчал:

— Всего-то пару вытащил, а хвалится...

Четверть часа спустя «москвич» уже дымил курсом к дому. Дядя Валя сидел, развалившись, на переднем сиденье, прихлебывал из своей фляжки и рассказывал Терещенко об урагане и подвигах Петровича. Тот слушал, поглядыв-

вая на Петровича в кабинное зеркальце. Когда дядя Валя замолчал, Терещенко переспросил строгим голосом:

— Значит, говоришь — герой?

— Орел-пацан, — подтвердил, улыбаясь, дядя Валя. — Наш человек.

— Угу, — прогудел Терещенко, и усы его слегка раздвинулись. — Его и видать.

Неожиданно огромная ручища протянулась на заднее сиденье, нашарила там Петровича и ласково потрепала по волосам:

— Стало быть, в Генриха пошел.

Того же дня вечером он сидел в домашней ванне и «отмокал», борясь с накатывающей дремотой. Волжские стихии все еще шумели в его голове. Пережитые события и увиденные картины набегали друг на друга, мешались и начинали подтаивать в теплых дуновениях приближавшегося сна. А вода в эмалевых берегах была желтоватой и привычно пахла хлоркой. Рядом на полке лежали игрушки, с которыми Петрович обычно купался: два пластмассовых кораблика и деревянная рыба с резиновым хвостом. Ему показалось странно, что сейчас его придут мыть и вытирать — как маленького. Его, которому сам Терещенко пожал на прощание руку... А впрочем, подумал он, пусть моют, если хотят; оно даже и приятно...

В эту ночь Петрович спал необычайно крепко и проснулся поздно. Утром он с похвальным аппетитом позавтракал и не мешкая отправился во двор. Сережку Мусорника он нашел за любимым его занятием: поджиганием в канавах тополиного пуха. Увидев Петровича, Сережка оживился:

— Здорово, паря! А ты чего на улку не выходишь? Болел, что ли?

— Ничего я не болел... — Петрович усмехнулся. — Я на рыбалке был. С ночевкой.

— Ух ты! Везет... — Сережка завистливо вздохнул. И добавил: — Хорошо, когда батя есть, не то что у меня...

ШТАБ

Дом, где располагалась парикмахерская, был самым заметным в районе. Причина проста: выстроенный буквой Г, он имел в углу своем высокую башню с прилепленными к ней украшениями-колонками. Зачем нужны были эти колонки, сказать трудно, башня же предназначалась для высматривания в небе вражеских бомбардировщиков — ведь дом был построен сразу после войны. Бомбардировщики, к счастью, так и не прилетели, а башня получила прозвище «бабкин зуб» и осталась торчать если не памятником, то приметой своей эпохи. Была от нее, впрочем, и практическая польза: башню венчала большая антенна с двумя красными фонариками, так что даже если один из них перегорал, другой все равно помогал горожанам в их вечерней и ночной навигации.

Однако главным достоинством башни был, конечно, лифт. Катанием в лифте — только этим обязательным аттракционом Генрих мог заманить Петровича в парикмахерскую. Нехитрое чудо вознесения казалось Петровичу упоительным. Башенные этажи один за другим плавно проваливались, пока подрагивающая кабина не доставляла их на самый верх. Выйдя на застекленную площадку, Генрих с Петровичем подходили к окну. Почему-то всякий раз они заставляли на площадке задумчиво курящего мужчину. И всякий раз Генрих считал нужным пояснить ему, будто извиняясь: «Вот, приехали посмотреть...» И мужчина понимающе кивал. Вид из башенного окна захватывал дух и не переставал изумлять. Генрих показывал: «Вон наш дом... Вон твоя школа... А там — видишь? — парк, где ты гуляешь...» Оказывалось, что все дома, все знакомые Петровичу места теснились на маленьком пятачке пространства, а дальше... дальше другие дома паслись бесчисленными стадами, и заводские трубы завешивали дымом совсем уже немислимые дали. Мас-

штабы города особенно впечатляли вечером, когда его обметывало словно мельчайшей фосфорной пылью. Светящихся точек было гораздо больше, чем звезд на небе, причем не надо было задаваться вопросом, есть ли жизнь в этом космосе. Петрович знал: разумная жизнь теплилась за каждым, даже едва различимым окошком.

Однажды Генрих, ткнув пальцем туда, где курящиеся трубы росли целыми пучками, сообщил: там находится КБ, в котором работает Катя. Затем они перешли к другому окну, и Генрих показал примерно, в каком районе живут дядя Валя с тетей Клавой (там же где-то проживал и Терещенко с «москвичом»). И тогда Петрович спросил его:

— Генрих, а где сейчас живет Петя, ты можешь показать?

Лицо Генриха омрачилось.

— Нет, — ответил он, — отсюда не видно.

Что ж, даже у башни имелись непросматриваемые зоны. Например, было сложно заглянуть отвесно вниз, чтобы увидеть, что делается у самого ее подножия. Впрочем, башня, устремленная ввысь и вдаль, наверное, не слишком интересовалась происходящим прямо под ней. Каменная пята ее не чувствовала щекотки от людского копошения — и слава богу. Длинный сквозной подъезд ее был словно нора, прорытая под корнями большого дерева. В подъезде этом пахло одеколонами и плавленным сургучом, потому что в нем располагались парикмахерская и почтовое отделение. Двери хлопали непрерывно, лифт гудел и лязгал. Всякого входящего сюда Петрович определял без труда. Если у человека было испуганное лицо, а над ушами щеткой торчали волосы — значит, ему была дорога в парикмахерскую. Гражданин, озабоченно шаривший по карманам в поисках квитанций, сворачивал, конечно, на почту. Попадались и такие, кто просто пользовался проходным подъездом для сокращения пути, но эти

старались прошмыгнуть побыстрее — как будто опасались, что их здесь поймают и постригут либо, опечатав сургучом, куда-нибудь отправят. Остриженные граждане выходили похожие друг на друга, как близнецы; они ворочали шеями и еще некоторое время восстанавливали ориентацию. Почтовые клиенты, напротив, в дверях отделения не мешкали, а сразу торопились к выходу, прижимая к себе полученные пакеты и посылки.

Во дворе дома с башней всегда было оживленно. На широкую асфальтированную площадку часто заезжали фургоны синего цвета. Тогда в полуподвальном окне почты раскрывались железные ставни; оттуда высовывался длинный язык транспортера и сплевывал в фурунны очередные порции посылочных ящичков. В шумном, беспокойном дворе не встретить было старых с малыми, зато здесь регулярно собирались мальчишки из соседних дворов и даже кварталов. По неписаному установлению двор этот считался ничьим, как бы нейтральной территорией, где все могли играть и общаться, не вступая в пограничные конфликты. Однако нельзя сказать, что здесь царил вечное «водяное перемирие»; нет — именно тут составлялись заговоры и партии, именно тут планировались боевые действия, без которых невозможна жизнь городского мальчишеского сообщества-совражества.

Сообщество это с год уже как пополнило свои ряды Петровичем, однако он был еще слишком мал и небоек, чтобы играть в нем заметную роль. Вместе с другими «щеглами» он лишь принимал подсобное участие в затеях дворовых предводителей. Хотя Петрович в то лето и закалился телом, но кулаки его были пока недостаточно тверды, а ноги недостаточно быстры — поэтому синяки и разнообразные царапины сделались его постоянным украшением.

И все-таки не в одних сражениях коротали мальчишки свой бесконечный досуг. Часто, оставив в стороне

вооруженную политику, предавались они вполне мирным состязаниям, из которых многие, однако, напоминали воинские учения. Такой была известная игра в казаки-разбойники, длившаяся по целому дню, а иногда и по нескольким дням кряду. Команда казаков ловила разбойников в подвалах домов и на чердаках, в подъездах и на улицах; она устраивала засады и облавы — словом, изощрялась в полицейском искусстве. Разбойники спасались бегством или прятались как могли, чтобы остаться в игре, — ибо она кончалась с последним пойманным разбойником. Петровичу в этой игре (как и в любой другой) нравилось то, что здесь все было понарошку, потому что враждовать взаправду он не любил.

Глядя на квартал с высоты «бабкиного зуба», нельзя было не отметить правильной регулярности в расстановке домов, в разбивке тополиных насаждений и прокладке пешеходных тротуаров. Очевидно, отцы-архитекторы так и смотрели на будущий район — с высоты полета птицы (или бомбардировщика). Но стоило Петровичу спуститься вниз, как регулярность рассыпалась. Квартал превращался в сложный лабиринт едва заметных дорожек, лазов, потайных укрытий и, как говорили мальчишки, «шхер». Асфальтовые тротуары проложены были для взрослых, которые ходили по ним, что называется, «фарами вперед», ничего не примечая вокруг. Им, взрослым, ни к чему было примечать ни подвальные окна, открытые по дворничьему недосмотру, ни прорехи в строительных заборах. Только пацаны и местные кошки умели проникать в тайный мир квартала, не предусмотренный никакими архитекторами, — мир немного опасный и часто неблагоприятный, но суливший всевозможные приключения.

И в этом-то скрытом мирке время от времени происходили скрытые невсамделишные мировые войны под названием казаки-разбойники. Напрасно матери выкликали своих питомцев к обеду и ужину — сыны их,

будь то охотники или жертвы, крались или сидели, затаившись в подвалах, испачканные в известке, задыхающиеся в кошачьих и канализационных миазмах. И кто же выдаст себя и товарищей, откликнувшись на мамин зов! Кто окажется таким подлецом, что соблазнится тарелкой супа... Их и не было, подлецов.

Каждый подвал каждого дома, задуманный некогда как бомбоубежище, был велик, словно город. Чердаки, набитые голубями, тоже были обширны, но имели мало выходов и могли стать западней. Строящееся здание Дворца культуры — это была целая малоизведанная планета; там можно было так спрятаться, что сам себя потом не найдешь. Правда, планету эту населяли опасные существа — сердитые строительные рабочие; они без разбору ловили и разбойников, и казаков; пальцы у рабочих были очень жесткие, а уши не казенные ни у кого.

Или в силу своей природной неагрессивности, или из любви к острым ощущениям, но Петрович предпочитал в этой игре роль разбойника. И, к чести его сказать, он здорово преуспел в умении прятаться или уходить от погони. Команды обычно подбирались случайным образом, но Петрович всегда действовал в паре с Сережкой Мусорником: его смекалка удачно сочеталась с Сережкиным знанием местности. Прочих разбойников вылавливали довольно быстро, но не эту пару. Бывали даже случаи, когда преследователи выдыхались и, махнув рукой, прекращали игру, а Петрович с Сережкой, не зная об этом, скрывались еще несколько дней. Напарники извели квартал, как никто другой; все было взято ими на заметку: и дома коридорного типа, и служебные выходы магазинов, и даже тоннель городской канализации, кишевший крысами. И конечно, проходной подъезд «бабкиного зуба», хотя в нем-то они однажды чуть было не попались.

— Вечная наша показуха! — так говорил Генрих... Кто бы мог предположить, что дом с башней вздума-

ют красить с внешней стороны и что по такому случаю выход из него на улицу заколотят? Трое разбойников — Петрович, Сережка и еще один мальчишка из их дома, Вовка Ирокез, забежав в подъезд, сделавшийся непроходным, оказались в ловушке. Преследователи шли по пятам, а бежать было некуда: ни парикмахерская, ни почта служебных выходов не имели. Подняться на башню? Но дошлые казаки непременно бы ее проверили. Разбойники заметались. У Петровича даже мелькнула отчаянная мысль: не рвануть ли им всем троим стричься — авось враги не взглянут в зал; но ни у кого из троих, конечно же, не было денег.

И тогда они решили кинуть жребий: кому-то надо было пожертвовать собой, выбежав из подъезда и уведя погоню за собой. Сережка уже достал спички... как вдруг Петрович воскликнул:

— Смотрите!

— Что?.. Где?..

Две головы повернулись туда, куда указывал его палец. Там, на лестничном марше, ведущем наверх, сидел толстый заспанный серый кот. Кот этот только что на глазах у Петровича выбрался из широкой щели между шахтой лифта и лестницей. Разбойники поняли: это мог быть путь к спасению.

— Ныряем! — крикнул Петрович и первым бросился к шахте.

— А пролезем? — засомневался Ирокез.

Сережка Мусорник обругал его за трусость. Подавая пример, он перевалился худым телом через перила и ловко скользнул вниз.

— Робя, айда сюда! — послышался его голос из-под лестницы.

На их счастье среди взрослых в подъезде не оказалось никого, кто был бы «при исполнении». Благополучно спустившись, троица оказалась в темном, но

сухом помещении — слишком сухом и слишком чистом для обыкновенного подвала.

— Ништяк зашхерились... — Сережка огляделся. — А я и не знал про это место.

Переведя дух, приятели поняли, что совершили географическое открытие. Когда глаза их привыкли к потемкам, они занялись подробными исследованиями. Неглубокое подземелье, в которое они попали, было отстойником для лифта, где он мог прилечь и отдохнуть от своей висячей жизни. Отсюда вели две железные двери: одна, запертая, наверх в подъезд, а вторая... куда вела вторая дверь, было непонятно, покуда мальчики ее не отворили. А когда отворили, глазам их предстало помещение, сумрачно освещенное через подвальное оконце. Оно было оштукатурено и выглядело пугающе обжитым: посередине его стоял конторский стол со стулом, а у стены располагался драный диван. Петрович вспомнил сказку про девочку, забравшуюся в медвежий дом; ему представилось, что сейчас сюда войдут хозяева и непрошеным гостям достанется на орехи. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что в помещении уже давным-давно никто не бывал; все — и стол, и диван, и оконце — покрывал толстый слой пыли.

Это был тот редкий случай, когда восторжествовала книжная истина: судьба награждает тех, кто не сдается в трудную минуту и борется до последнего. И первое, что решили награжденные, — ни с кем своей наградой не делиться.

— Пусть это место будет наш штаб, — предложил Петрович.

Приятели согласились. Только Сережка, больше любивший улицу и простор, поинтересовался: что, мол, они будут делать в этом своем штабе.

С ответом Петрович нашелся не сразу.

— Что, что?.. — Он посмотрел на стол: — Например, мы можем тут есть.

Сережка крутнул головой:

— Скажешь тоже! Тут еще хуже, чем дома.

— Ну, тогда... — Петрович задумался.

— Тогда здесь можно курить! — неожиданно выпалил Вовка Ирокез.

— Курить?.. — боязливо поежился Петрович.

— А! — Мусорник презрительно махнул рукой. — Курить я могу, где захочу.

— То ты, а нас, если увидят... — Ирокез повернулся к Петровичу и заговорил проникновенно: — Здесь у нас будет совет племен, и мы будем курить трубку мира... понимаешь?

Петрович смутился. Вовка был старше его на год, к тому же многие во дворе считали, что у него «не все дома». Он был единственным из знакомых Петровича, кто умудрился в первом же классе остаться на второй год. Из всех занятий Вовка признавал только чтение, а из всех книг — только книги про индейцев. Отсюда взялось и его прозвище, на которое он, однако, обижался: «Не зовите меня Ирокезом, — требовал Вовка, — я Магуа Хитрая Лисица!» Как будто гурон Магуа не был ирокезом.

— Разве мы не индейцы? — толковал Вовка, сидя на пыльном диване. — А если индейцы, то должны курить трубку мира.

Петрович вспомнил про Генрихову подарочную трубку, которая хранилась в известном ему ящике комода, — но промолчал. Белый вождь Генрих обладал твердой рукой, да и сам Петрович был не свободен еще от предрассудка в отношении курева.

Дождавшись сумерек, компания выбралась из подвала, вернулась к своему дому и благополучно разошлась по квартирам. Несмотря на первоначальный энтузиазм, впоследствии вышло так, что ни Сережка, ни Вовка больше не спускались в заветную комнату. Вольнолюбивый Мусорник охотнее бегал на воздухе, а Ирокез

предпочитал строить себе вигвам прямо на дому — из стульев и одеял. Где он курил свою трубку и курил ли вообще — неизвестно.

Таким образом комната, названная Петровичем штабом, перешла в его единоличное распоряжение. Наведывался он туда почти ежедневно. Дождавшись, когда в башенном подъезде наступит затишье, Петрович нырял в подвал, закрывался железной дверью и... блаженствовал. Делать ему там, в сущности, было совершенно нечего, но он ничего и не делал; просто ложился на отсырелый диван и слушал. Слушал, словно далекую музыку, отзвуки жизни, обтекавшей его тайное убежище: содрогания лифта, голоса в гулком подъезде, шум улицы. Петровичу становилось грустно и сладостно от сознания, что он лежит один-одинешенек и никто не знает, что он здесь. Иногда он подставлял стул к высокому оконцу и смотрел на улицу через замызганное стекло. Улица была оживленная: с машинами, с магазинами; множество разнообразно обутых людей проходило мимо оконца. При взгляде снизу прохожие казались монументальными, словно башни или ожившие памятники, и так же, как памятники, они смотрели поверх Петровича. Иногда ему чудилось, что он сидит в первом ряду театра, а перед ним высокая сцена, где играется пьеса, состоящая из множества мельчайших мимолетных эпизодов, пьеса, смысла которой он не понимает по малолетству. Но он и не доискивался смысла — его занимали актеры, занятые, в свою очередь, только самими собой. Здесь Петрович даже чувствовал себя свободным от приличий. Когда некоторые женщины проходили близко над ним, он с интересом заглядывал им под куполы подолов. Этот безотчетный интерес возник у Петровича недавно. Что-то такое было у них под платтями, что волновало его, какая-то тайна, словно у каждой женщины имелся свой собственный передвижной «штаб».

Но всякая тайна тогда только и хороша, когда можно ею поделиться. Или если не поделиться, то хотя бы показать ее краешек... Но близких друзей, кроме Сережки и Вовки Ирокеза, у Петровича на ту пору не было. Не раз его подмывало поведать о секретном убежище Ирине, но рассудок его удерживал: кроме лишнего беспокойства, рассказ этот ничего бы ей не доставил. В результате неожиданно для себя Петрович проболтался тому, кому уж точно нельзя было доверить никакой тайны, а именно — Веронике.

Случилось это в парке. Петрович, который сделался в то лето весьма самостоятельным человеком, проматывал здесь имевшийся у него рубль карманных денег. Он уже посмотрел два мультсборника — их давали в салоне списанного троллейбуса, зашитого железными, ярко раскрашенными щитами. Теперь он сидел с независимым видом на скамейке и ждал своей очереди к качелям. В одной руке его был стаканчик пломбира, а другой он машинально колупал засохшую ссадину на локте первой. Людей по случаю воскресного дня в парке было много; те из них, кто по возрасту соответствовал Петровичу, пришли сюда со взрослыми. Раньше и он ходил сюда с Петей, но это было давно, в прошлом году... Погруженный в размышления, Петрович медленно ел мороженое и не обращал внимания на окружающих. Вдруг знакомый голос вывел его из задумчивости:

— Дай откусить!

Он поднял голову.

Это была Вероника — вспотевшая, с бадминтонной ракеткой под мышкой.

— Сорок восемь — половинку просим!

Бант на ее голове едва держался, один гольф съехал.

— Привет, — буркнул Петрович.

Вероника уселась рядом с ним и стала приводить себя в порядок.

— А я сегодня без мамы, — сообщила она с гордостью.

— Подумаешь. — Петрович покосился.

С некоторых пор Вероника явным образом искала с ним общения. При каждом удобном, а чаще неудобном случае (например, в присутствии других мальчишек) она норовила завести с Петровичем разговор. Но о чем было с ней говорить? Верка строила глазки и несла всякую девчачью чушь — и с моря, и с Дона, как сказала бы Ирина. Петрович не поспевал за ее мыслью; он не умел беседовать в таком темпе и потому чувствовал себя во время таких разговоров довольно глупо.

Вероника остудила себя мороженым и сунула руку в карман платья.

— Хочешь? — Она протянула ему раскисшую ириску.

В продолжение следующих нескольких минут Вероника выдала ему много интересной информации. Петрович узнал, что она играла в бадминтон с девочками и что девочки эти — дуры; что она со своей матерью недавно отдыхала в Крыму; что Сашка из ее дома грозился за что-то отомстить Петровичу; и что у него, Петровича, сзади грязная шея. Наконец, связав себе рот конфетой, Вероника замолчала, а он сидел, не умея поддержать разговор, и оттого сам себе казался тупым буквой.

И вот тут-то он сглупил. Такое с ним часто случалось, — самые памятные свои глупости он совершал именно из нежелания показаться дураком.

— А я, между прочим... — произнес он вдруг важно и сделал многозначительную паузу.

— Шево — мефду прошим? — спросила Вероника, борясь с ириской.

— Я, между прочим, пойду сегодня в штаб.

— Куда-а?

Слово вылетело; отступать было некуда.

— В штаб! — твердо повторил Петрович.

Вероника хмыкнула:

— В какой еще штаб? Штаб только в армии бывает.

— Ну и что, — нахмурился Петрович. — Может, у нас тоже армия...

Она хихикнула:

— А ты что же — командир?

— Может, и командир, — поморщился он.

— Ну и где же твой штаб?

Петрович уже досадовал на себя за болтливость.

— Вот и не скажу... Это секрет.

Вероника помолчала.

— Не скажешь?

— Нет.

— Значит, нету никакого штаба.

В душе у Петровича происходила борьба.

— А ты не протрепешься? — Он с сомнением заглянул ей в лицо.

Синие глаза похлопали по-кукольному.

— Что я — дура?

— Ладно. — Петрович поднялся со скамейки. — Тогда пошли.

Вероника занималась в гимнастической секции и еще, кажется, посещала в Доме пионеров танцевальный кружок. Тело у нее было легкое и гибкое; поэтому, в отличие от индейца Ирокеза, узкий лаз между лифтом и лестницей ее не смутил.

— Подержи ракетку, — сказала она Петровичу и первая скользнула в подвал.

— Не соврал... — Она удивленно осматривалась в Петровичевом логове. После улицы здесь казалось прохладно и сыро.

Обойдя вокруг стола, Вероника плюхнулась на диван.

— Ну и что вы тут делаете?.. Где твоя армия?

Петрович не ответил. Ему хотелось, чтобы она вела себя посерьезнее. С минуту они провели в молчании, глядя, как потревоженные пылинки, словно мошки, мечутся в луче света, свисающем из оконца.

— Между прочим, оттуда улицу видно. — Петрович кивнул на окно.

Вероника оживилась:

— Хочу поглядеть.

Она придвинула стул, взобралась на него и, став на цыпочки, вся потянулась к оконцу. Платье ее, подавшись порыву тела, тоже потянулось кверху... Ничего не было странного в Вероникиной позе, однако у Петровича почему-то екнуло сердце. Он почувствовал вдруг присутствие того самого — тайного, которое угадывал, подсматривая за взрослыми женщинами. Только сейчас это тайное находилось близко, совсем рядом, а у Петровича не было укрытия...

— У тебя трусы видно, — пробормотал он.

— Что? — Вероника вздрогнула, как от укуса.

Спрыгнув со стула, она одернула подол и уставилась на Петровича долгим внимательным взглядом.

— Все маме скажу.

— Что скажешь? — Он покраснел.

— Как ты меня в подвал заманил.

— Я тебя не заманивал... дура!

Вероника, поискав глазами, взяла со стола свою ракетку.

— Все... Я пошла отсюда.

— Обещала не трепаться, — буркнул Петрович ей вслед, но ответа уже не получил.

Настроение было испорчено напрочь. Впервые Петрович не в состоянии был предаваться привычным умиротворенным мечтаниям, лежа на «штабном» диване. Его мучила досада — на Веронику и еще больше на самого себя.

Но прошло несколько дней, и это неприятное происшествие постепенно завалило новыми событиями и впечатлениями. Разве что изредка покалывало воспоминание — словно кончик пера, торчащий из подушки. Ну да мало ли что еще покалывало его самолюбие, —

Петрович знал уже, что жизнь без этих перышек не бывает.

И все-таки он вздрогнул, когда однажды, выйдя из своего подъезда, снова нос к носу столкнулся с Вероникой.

— Привет! — пропела она как ни в чем не бывало.

— Приве-ет... — Петрович насторожился.

— Как твой штаб? — Вероника помахала на него ресницами.

— А тебе-то что?

— Да так... — Она сделала паузу и вдруг заглянула ему в лицо: — Пошли опять?

Петровичу представился удобный случай, чтобы отомстить ей за прошлый свой конфуз. Ему следовало, скроив презрительную мину, послать Веронику куда подальше, но он... неожиданно для себя согласился:

— Пошли, если хочешь.

На этот раз Вероника держалась в штабе по-хозяйски, будто не она, а Петрович пришел к ней в гости. Усевшись на диване, она, вопреки своему обыкновению, не болтала, а только молча покачивалась на пружинах и загадочно улыбалась. Петрович тоже молчал, но он молчал от растерянности. Какое-то время они безмолвствовали оба, пока Петрович (все-таки Петрович!) не выдержал.

— Ну, — поинтересовался он, — и что же мы будем делать?

— Не знаю... — Вероника отозвалась не сразу. И вдруг, встрепенувшись, прыгнула с дивана: — Я буду на улицу смотреть.

Она опять влезла на стул и снова, еще сильнее, чем в прошлый раз, потянулась наверх — совсем вытянулась в струнку, так что подол ее платья поднялся чуть не до пояса. И оба они замерли, затаив дыхание, — Вероника рассматривала что-то необыкновенно занятное на улице, а Петрович изучал ее трусики, отороченные симпа-

тичными рюшами. Теперь он помалкивал, наученный опытом, и Вероника словно забыла о его присутствии... Наконец она выдохнула и, обернувшись, метнула в Петровича синий испытующий взгляд. Затем она спрыгнула со стула, поправила платье и, стараясь не встречаться с Петровичем глазами, объявила, что ей пора домой.

— Иди... — только и смог он пробормотать.

И Петрович остался один в своем штабе. В воздухе еще витал цветочный волнующий запах, но необыкновенное представление уже казалось ему привидевшимся во сне. Петровичу еще предстояло осмыслить то, что произошло, однако о главном он уже догадывался: жизнь его, доселе простая и мужественная, начинала усложняться.

Проведя некоторое время в раздумьях, Петрович — что ему оставалось — тоже выбрался из подвала. Очтившись в подъезде, он увидел у лифта мужчину — того самого, который всегда курил на башне.

— Дядя, — попросил Петрович, — отвезите меня наверх.

Мужчина, похоже, тоже его узнал.

— Поехали, — кивнул он серьезно.

Окна на башенной площадке были открыты настежь; в них ровно и мощно дуло ветром — не тем судорожным ветром, что метет мусор по земле, а тем, который движет облаками. Здесь начиналось небо — иначе откуда бы взялось это ощущение полета...

Петрович покосился на соседа: мужчина портил спички, пытаясь прикурить, а над его лысиной танцевали волосы. Наконец из сомкнутых горстей вырвался клуб дыма и, бешено закрутившись, умчался по коридору. Мужчина, тоже покосившись, встретился глазами с Петровичем и вдруг спросил:

— Ты зачем в подвал лазишь? Партизанишь?

Петрович вздрогнул:

— А вы откуда знаете?

— Я тут главный — все знаю.

Инстинкт подсказывал, что дядька этот хоть и главный, но неопасный, однако Петрович напрягся.

— Ты не бойся, — успокоил его мужчина. — Это я к тому, что в подвале воздух плохой. Здесь, поди, лучше дышится...

Он сделал сильный демонстративный вдох и тут же закашлялся в папиросном дыму.

Неожиданно откуда-то снизу налетел голубь и, увидев людей, шарахнулся обратно. Хлопая крыльями, голубь завис перед окном, но потом поборол свои опасения и сел на карниз — чем-то это место ему приглянулось.

ДЕЛО СЛУЧАЯ

«Что делать?», «Куда идти?» — взрослые избавлены от этих ежедневных вопросов. Они-то хорошо знают, чем станут заниматься — и сегодня, и завтра, и в обозримом будущем. Работать! — вот что им предстоит, и вот куда спешат они каждый день поутру. И когда в ранний час взрослые выходят из подъездов, они не чешут в затылках, не озираются в поисках приятелей, а устремляются сразу на работу. Только в этот утренний час можно увидеть, как много их ночевало в домах: взрослые текут по тротуарам, ручьями выливаются на большие улицы и образуют реки — целые реки взрослых... Но вот схлынули воды; все, кто способен работать, покинули свои места проживания и вернутся на них только вечером. Однако это не значит, что с ними вместе кварталы покинула жизнь; напротив — именно теперь в кварталах поднимает голову нетрудовой элемент: кошки обоих полов, птицы, скамеечные старушки и тот низкорослый неприкаянный остаток, что именуется детьми. Дети — вот перед кем два вышеназванных вопроса встают со всей остротой: «Что делать?», «Куда

идти?»... Похилившиеся ржавые карусели с визгом описывают медленные круги; в песочницах воздвигаются замысловатые сооружения, чтобы быть без жалости растоптанными... но все это лишь имитация действия. Лошадь, которая развозит по дворам молоко, и та счастливее детей, потому что она при фургоне и знает свой маршрут...

Лето подходило к концу. Тополя и кусты в палисадниках пожухли от долгой жары; на дворовых кошках поизносились шерсть, и в глазах их почти угас желтый хищный огонь. К концу каникул Петрович в собственном квартале заскучал. И не он один: похоже было, что всем уличным знакомцам за лето взаимно надоели их физиономии. Игры и ссоры затевались без былого энтузиазма и прекращались зачастую на полдороге сами собой. Во двор мальчишки выходили словно по обязанности: все-таки счет их свободе шел уже на дни.

Так-то вот, словно по обязанности, Петрович вышел во двор тем утром. Надежды на интересное времяпровождение особенной не было. Как обычно, утренние голоса квартала своей бессвязностью напоминали звуки строящегося оркестра – оркестра, который будет пиликать весь день, да так и не сыграет ничего путного... И уже вставали перед Петровичем те самые два проклятых вопроса, как вдруг сквозь привычную городскую какофонию он расслышал нечто... нечто, заставившее его встрепенуться. Это был призыв – волнующий, как пение труб, бодрящий, как барабанный бой. И призыв этот доносился со стороны Дворца культуры.

Дворец культуры начали строить за много лет до рождения Петровича. Грандиозное здание его было очень похоже на древнегреческий храм, так что не исключено, что проектировался он в эпоху Античности. Однако к тому времени, когда ровесники его, древние храмы, пришли уже в упадок, Дворец культуры еще только продолжали воздвигать. Много минуло архитек-

турных эпох; каждый следующий этаж дворца выкладывало новое поколение строителей, и чертежи, по которым они работали, давно пожелтели, словно старые манускрипты. Поколение за поколением трудились строители, но трудились с ленцой, понимая, что строят не для себя, а на радость будущим поколениям. Вообще строительство было, так сказать, вулканического типа, то есть, подобно вулкану, большую часть времени находилось в спячке. В некоторые годы число кирпичей, уложенных в дворцовые стены, не превышало количества выпавших или украденных. В эти летаргические годы стройплощадка порастала густым бурьяном, а все огромное здание — с гулками пустыми залами, с бесконечными коридорами и многочисленными таинственными «шхерами» переходило, по убеждению многих, под власть темных сил. Здесь были такие закоулки, куда даже сторожа с берданками не хаживали в одиночку. Мальчишки наведывались во дворец в поисках острых ощущений и часто их находили на свою голову. Выбор имелся богатый: свалиться откуда-нибудь, больно ободравшись, или, став жертвой облавы, быть препровожденным за ухо домой, или, наступив в темноте на спящего бомжа, обделаться с перепуга. Но страшнее всего было, совсем заблудившись в дворцовых лабиринтах, угодить в какую-нибудь темную бетонную западню. Случись такое, мальчишке ничего не останется, кроме как, срывая голос, безнадежно звать на помощь, царапать ногтями бетон... и в итоге умереть от истощения. А годы спустя кто-то найдет его иссохшие останки и принесет родителям... Но все эти возможности предоставлялись мальчишкам в летаргические годы, когда стройка спала. Сегодня же у Дворца культуры снова зазвучали мужественные голоса дизельных двигателей, гром железа и звонкий человеческий мат.

Для Петровича это была несомненная удача. Ноги сами понесли его на шум строительства, так что ему

приходилось даже сдерживать себя, чтобы не перейти на неприличный поскок.

Чтобы хоть как-то отграничить мир, уже сотворенный, от хаоса созидания и пресечь воровство, стройплощадка обнесена была высоким забором из досок. Сейчас ворота в нем были раскрыты, но войти в них или выйти имел право далеко не всякий. Пыхтя и мучаясь от тесноты, через ворота протискивались в обе стороны огромные самосвалы; между ними ловко прошмыгивали люди в изгвазданных спецовках — новое поколение строителей уже проторило маршрут до ближайшего гастронома. Петрович понимал: сунувшись в ворота, он будет немедленно изобличен как посторонний и выдворен без церемоний. Но он и не собирался идти через ворота, — по правую руку от них, не далее тридцати метров, в заборе имелся лаз, слишком узкий для самосвала, но вполне пригодный для худого мальчишеского тела.

Наверное, не бывает на свете такого дощатого забора, чтобы хоть одна доска в нем не отставала. Прореха в заборе — это путь нелегала: в одну сторону это путь в неизведанный мир, в обратную — путь к спасению. Помня об этом, Петрович, просочившись на стройплощадку, счел за благо не удаляться от своего лаза, пока хорошенько не осмотрится.

А картина, открывшаяся глазу, впечатляла. В пыли и выхлопном чаду ворочались, кряхтели и взвизгивали машины. Там бульдозер клацал гусеницами, словно танк, — то задирая нос, то кланяясь, он ползал, срезая верхний мозолисто-черствый слой почвы. А там экскаватор, обливаясь черным масляным потом, рылся у земли в животе, — он доставал ковшом и складывал в кучу ее бурые влажные потроха. Экскаватор был так увлечен, что, казалось, рисковал свалиться в собственную яму. К нему опасно подползали задом неуклюжие, громоздкие самосвалы КраЗы. Экскаватор щедро накладывал

вал землю в подставленные кузова; КраЗы вздрагивали и приседали, принимая свои многотонные порции, а потом, рыча и тужась, в клубах кто черного, кто голубого выхлопа отчаливали, освобождая место следующим. Переваливаясь на просевших рессорах, просыпая через борта излишки земли и выворачивая дыбом подстеленные бетонные плиты, КраЗы с великим трудом выбирались со стройплощадки. И уже с улицы слышно было, как они, став на прочный асфальт, победно ревели и, будто сглатывая, раз за разом переключали скорости.

Но вот один из самосвалов, уже груженный, вместо того чтобы выехать за ворота, вдруг остановился — прямо напротив Петровича. Водитель, ударив плечом свою дверцу, открыл ее, спустил ноги на подножку и, недолго думая, спрыгнул с машины. Ступив на землю, он потянулся, огляделся... и обнаружил Петровича, прижавшегося к забору. Петрович приготовился дать деру, но водитель, повернувшись, шагнул к переднему колесу КраЗа и с видимым удовольствием стал справлять на него малую нужду. Сделав дело, он передернул плечами и, даже не взглянув на Петровича, подался куда-то в сторону рабочих бытовок.

Так Петрович остался с машиной один на один. Незаглушенный, КраЗ, подрагивая, бормотал что-то про себя и время от времени громко фыркал. Он был живой, и Петровича неодолимо влекло к нему — как живого к живому. Просто нельзя было удержаться от желания подобраться поближе к этому огромному существу, чтобы ощутить в его теле могучую пульсацию дизельной жизни. Между топливным баком КраЗа и первым рядом задних колес, вздувшихся от непомерного груза, чернело широкое дыхало выхлопной трубы, — Петрович приставил к трубе ладошку и ощутил упругие толчки выхлопных газов. Рука быстро покрылась черными крапинами копоты; Петрович отнял ее и понюхал: запах был кисловатый, острый, возбуждающе-приятный.

Водитель появился неожиданно. Он увидел Петровича, и во рту его задвигалась папироса — эту папиросу он держал одними вытянутыми губами, что придавало его лицу пугающее шучье выражение.

— Стой! — Водитель крикнул, потому что Петрович мгновенно порхнул к спасительному лазу. — Стой, дурила, чего испугался?

Петрович оглянулся. Водитель не собирался его преследовать, — он стоял подле самосвала и махал рукой:

— Иди сюда, не бойся!

Испуг сменился недоумением, недоумение обернулось надеждой, от которой у Петровича закружилась голова...

Водитель улыбался:

— Давай полезай в кабину.

Словно по шучьему велению... Сердце Петровича чуть не выпрыгнуло из груди. Забыв осторожность, он бросился к машине, но от волнения сорвался с подножки и чуть не ударился об нее носом.

— погоди, дай подсажу.

Водитель, ухватив под мышки, легко вознес Петровича на подножку, и тот проворно взобрался на водительское место. Водитель засмеялся:

— Что, сам рулить собрался? А права у тебя имеются?

Петрович поглупел на радостях, — вцепившись в руль, он непонимающе смотрел на водителя.

— Ну же, потеснись, дай дядьке сесть.

— Ага! — Петрович наконец догадался подвинуться.

Убранство кабины было под стать внешнему виду КраЗа, и окраска здесь была такая же, как снаружи, — зеленовато-бурая. Петя объяснял, что поезда и машины красят таким цветом, чтобы они были незаметны с воздуха, — тоже на случай прилета вражеских бомбардировщиков.

Поместившись за рулем, водитель захлопнул дверь (она оказалась внутри деревянная) и выплюнул в окно папиросу.

— Едем? — спросил он. Петрович радостно кивнул.

— Добро... — Водитель перестал улыбаться и разом посерьезнел, принимаясь за работу. Он с усилием выжал педаль сцепления и дослал скорость; правая нога его решительно наступила на акселератор... и меньше чем через секунду мотор отреагировал низким клокочущим ревом. Гул, нарастая, заполнил кабину, и тело КраЗа повело медленной судорогой. Мир качнулся в лобовом окне; чуть покосился горизонт большого, как степь, капота. Случайный булыжник яблочной косточкой стрельнул из-под колеса — поехали! Петровича кинуло на дверь, потом подбросило...

— Держись! — Водитель, налегая всем телом, энергично вращал баранку. — Сейчас на дорогу выйдем.

Миновав ворота стройки, КраЗ преодолел еще метров пятнадцать колдобин и с клевком затормозил. Громко пискнули отпущенные пневмоклапаны. Впереди, под обрывом капота, текла проезжая улица, — жирные троллейбусы, разноцветные легковушки и всякая развозная городская мелочь двигались сплошным потоком слева направо, словно лед и шуга по вскрывшейся реке. Никто даже не думал притормозить, посторониться хотя бы из уважения, чтобы выпустить на дорогу груженный КраЗ. Петрович крутил головой и ерзал, теряя терпение; водитель же напротив — спокойно закурил новую папиросу и опять стал похожим на шуку. Но вот светофор перегородил улицу невидимой плотиной, и КраЗ под собственный восьмицилиндровый оркестр ступил наконец на асфальт. Дизель, уже не сдерживаясь, взял сокрушительное крещендо, и шоссе поползло навстречу машине. Но какой узкой показалась Петровичу проезжая часть! Дорога, набегая, словно падала сверху вниз в какую-то яму, скрытую за обрывом капота.

Не сбавляя тяги, КраЗ катился все быстрее. Время от времени водитель, предварительно помешав рычагом в коробке передач, «втыкал» следующую скорость.

Но Петрович отвлекся от действий водителя, — высушившись в окно, он подставил лицо теплему ветру, все сильнее трепавшему его волосы. Он испытывал в эти минуты необыкновенный подъем чувств, а попросту говоря, был счастлив, насколько может быть счастлив человек. И никаких других желаний у него не было, кроме одного: ехать так как можно дольше.

«Ехать бы так всю свою жизнь!» — подумал Петрович и тут же дал себе клятву стать, когда вырастет, шофером. Приняв судьбоносное решение, он опять, но уже как прилежный ученик стал наблюдать за работой водителя. О, тот был мастер своего дела! Все члены водительского тела действовали автономно и в то же время согласованно: губы сосали папиросу, ноги, обутые в складчатые кирзачи, жали педали, толстопалые руки, двигаясь быстро и точно, управлялись одновременно с большим эбонитовым штурвалом и пляшущим в полу рычагом коробки передач. И огромный КраЗ слушался водителя, как боевой слон своего погонщика.

Петрович понятия не имел, куда они едут, но водитель был взрослый человек, и к тому же на работе, — разумеется, он хорошо знал свой маршрут. С ревом и чадом пробежавшись по 2-й Продольной, КраЗ притормозил и свернул на улицу поменьше; с улицы поменьше он уже с трудом поворотил в тесный переулок и стал пробираться между домами, окуривая палисадники сизым выхлопом. Близкие стены возвращали ушам сдержанное бормотание мотора, лязг кузовных опор и рессорный скрип, так что Петровичу казалось, что рядом с их машиной идет еще одна. Но вот переулок кончился, и с ним вместе кончились пятиэтажки; дальше начинался частный сектор. Снова КраЗ стал переваливаться с боку на бок, и снова водителю пришлось попотеть, орудуя рулем по и против часовой стрелки. При этом он что-то высматривал, считая вслух разномастные избушки, прятавшиеся в садиках за деревьями. Наконец он воскликнул:

— Ага! — И, осадив КраЗ, трижды оглушительно просигналил.

С разных сторон к машине бросились разноцветные собачонки, но их тут же накрыло тучей пыли, догнавшей самосвал. Когда пыль немного осела, Петрович увидел перед машиной дядьку в майке и таких же кирзачах, как у водителя. Окруженный лающей сворой, дядька, размахивая руками, показывал в направлении участка с разобранным штакетником.

— Сам вижу, — насмешливо пробормотал водитель. — Регулировщик нашелся.

КраЗ выдохнул толстое облако дыма и принялся под аккомпанемент собачьего лая маневрировать. Смяв пару заведомо обреченных кустов, он задом въехал на участок и, утопая скатами в рыхлой почве, продолжал пятиться. Петрович вертелся на своем сиденье — он тревожился оттого, что водитель, как ему казалось, совсем не глядел, куда едет. Но Петрович ошибался; водитель, контролируя движение с помощью бокового зеркала, остановил машину точно на краю небольшого оврага, ограничивавшего участок с тыла. Затем он с треском покачал рычагом стояночного тормоза и только после этого, выбив плечом свою дверцу, выбрался на подножку.

— Ну как, нормально? — спросил он у дядьки в майке.

— Нормально, давай! — прокричал тот в ответ и замахал руками в сторону оврага.

— Сейчас дадим. — Водитель подмигнул Петровичу и дернул рычаг гидропривода.

Стоя на месте, КраЗ взревел, поднатужился; тело его содрогнулось. Сзади что-то громко заскрипело, и нос машины приподнялся. Петрович взобрался коленями на сиденье и стал смотреть в небольшое запыленное оконце, устроенное в затылке кабины. На глазах его к небу вздымался огромный ковш, подпираемый блестящим и гладким металлическим штоком. Сила в этом

штоке была необыкновенная: он один поднимал двенадцатитонный кузов. Когда угол наклона достиг критического значения и передний мост самосвала чуть не завис в воздухе, в кузове раздалось шуршание, перешедшее в грохот, и облегченный КраЗ плюхнулся передком обратно наземь, загремев всем, что только могло в нем загреметь. Часть, взятая у земли в одном месте, воссоединилась с ней в другом и при этом едва не погребла дядьку в майке.

Снова дернув рычаг, водитель дал кузову обратный ход, а сам, прыгнув с подножки, направился к хозяину. Между ними произошел разговор, понятный даже Петровичу.

— Пять, — сказал водитель и для ясности показал дядьке растопыренную пятерню. Тот, загородясь руками, помотал головой:

— Три! — И тоже, будто глухому, выставил три пальца.

Водитель выплюнул папиросу и выругался так крепко, что Петровича проняла гордость: знай наших! Крыть дядьке в майке, похоже, было нечем, и в итоге недолгого препирательства синяя бумажка отправилась в карман промасленных шоферских штанов.

— Еще на три ездки сладились, — сообщил водитель, залезая в кабину. Он обращался к Петровичу уже как к своему.

Петрович тоже перестал робеть и всю обратную дорогу расспрашивал, для чего предназначены те или иные выключатели и лампочки на приборной доске. Интерес у него был не праздный — Петрович сообщил водителю, что сам со временем непременно станет шофером.

— Ага, — согласился тот, — дело хорошее. Смотри-ка: четыре ходки — и два червонца. Детишкам на молочишко...

Так они вернулись к Дворцу культуры. В воротах стройки водитель остановил машину.

— Ну, брат, вылезай, — сказал он.

Для Петровича эти слова прозвучали как удар грома.

— Ты чего? — удивился водитель.

Петрович забился в угол кабины; в глазах у него выступили слезы.

Водитель засмеялся:

— Эх надулся! Думаешь, прогоняю? Не бойся — ежели обождешь, опять поедем. А под погрузку тебе нельзя.

И все-таки ужасно не хотелось вылезать из машины. Петрович словно позабыл, каково это быть пешеходом, — сойдя на землю, он вдруг почувствовал себя маленьким и незащищенным. Скорее бы КраЗ возвращался!

Минуты потянулись в мучительном ожидании... Вот из ворот показалась зеленая взрыкивающая морда — похожая... но чужая, Петрович отличил по голосу. И водитель в самосвале сидел чужой, — он равнодушно покосился на Петровича и гуднул, чтобы тот не лез под колеса.

Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Петрович, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Это был его одноклассник Сашка Калашников.

— Здорово!

— Привет...

— Пошли на стройку позырим. Я тут один ход знаю.

Петрович покачал головой:

— Не хочу.

— Ну и дурак, — усмеялся Сашка. — Торчи тут столбиком.

И Калашников ушел один искать свой ход.

А минуту спустя из ворот наконец выкатился родимый КраЗ.

— Полезай!

Петрович птицей взлетел на подножку и шмыгнул в кабину.

Да, это был определенно счастливый день для Петровича. Вместе с дядей Толей (так звали водителя) они

сделали еще три ездки на частный сектор. Дядька в майке больше не спорил об оплате, а, наоборот, еще в придачу подарил им дыню, которую экипаж съел прямо в кабине. Дыня была вкусная, но дядя Толя заявил, что это все-таки не еда, а надо пообедать по-настоящему. Что он имел в виду, выяснилось уже скоро, когда КраЗ зарулил на стоянку перед шоферской столовой. То есть столовая-то была обычная городская, а шоферской она стала благодаря просторной площадке неподалеку, удобной для больших машин. Когда КраЗ въехал на эту площадку, там уже было много грузовиков разных пород, — словно лошади у коновязи, они смиренно дожидались своих хозяев. Поставив КраЗ на свободное место, дядя Толя заглушил мотор, и они с Петровичем спешили, с удовольствием разминая затекшие ноги.

— Пойдем, брат, пошамаем. — Дяди-Толина рука легла Петровичу на загривок. — Мы с тобой заработали.

Войдя в столовую, Петрович поначалу растерялся: за столиками сидели одни мужчины. Лысые и лохматые, пожилые и молодые — все они были разные, но чем-то неуловимо похожие друг на друга и на дядю Толю. К тому же все они были между собой знакомы. Мужчины лопали прямо с подносов, успевая при этом громко разговаривать и хохотать.

— Здорово, Толян!.. Привет самосвалам! — послышалось с разных сторон, едва они вошли. — Пацан-то твой, что ли? Сажай его к нам, пусть место займет.

Дядя Толя усадил Петровича к столу, который вот-вот должен был освободиться, а сам отправился на раздачу. Мужчины за столом уже дохлебывали чай, попутно полоща им рты, поковыривали спичками в зубах и с любопытством посматривали на Петровича.

— Как звать тебя, парень?

— Гоша, — смущаясь, ответил он.

— Стало быть, Георгий... Ну бывай, Георгий Анатольевич.

И компания, с шумом поднявшись из-за стола, пода-лась к выходу.

— Петрович я, — пробормотал Петрович, но они уже не расслышали.

А вскоре объявился дядя Толя: за две ходки он доставил на двух подносах обед — себе и напарнику. Взглянув на подносы, Петрович обрадовался:

— Котлеты!

Действительно, на второе им полагались котлеты с «рожками», политые жидким желтоватым соусом. Петрович знал, как вкусны столовские котлеты, — знал потому, что когда-то они с Петей угощались этим деликатесом во время своих долгих прогулок-путешествий по городу.

— Но сперва борщ, — предупредил дядя Толя.

Что ж, борщ так борщ. Петрович запустил алюминиевую ложку в свекольную воду и подцепил приличных размеров капустный лист. Борщ оказался тоже отменно вкусным. Пусть от подноса припахивало мокрой тряпкой, пусть дядя Толя жевал, не закрывая рта, и хлопал, и даже громко по-извозчицьи чмокал — пусть. Ничто не портило Петровичу аппетита, и, несмотря ни на что, обед был замечательный — один из лучших в его жизни.

За трапезой напарники порядком вспотели, поэтому по окончании ее, когда они убрали за собой посуду и вышли из столовой, им было особенно приятно подставить лица летнему городскому сквознячку.

— Давай покурим, пока в животе не уляжется, — предложил дядя Толя.

Они уселись на бетонном блоке, валявшемся у края автомобильной площадки. Грузовики отъезжали; на смену им подкатывали другие. Шоферы выпрыгивали из кабин, махали приветственно дяде Толе и шли обедать. Светило солнце.

— Хорошо! — с чувством констатировал дядя Толя и выпустил длинную струю дыма.

Петрович кивнул, погруженный в какие-то размышления.

— Дядя Толя, — неожиданно спросил он, — вы не видели такой фильм... там один шофер сажает в машину одного мальчика?

— Может, видел, и чего?

— Ну, шофер и говорит ему: «Я твой папка». Этот мальчик был сирота.

Дядя Толя покосился на Петровича:

— И чего?

— Ничего, просто я вспомнил.

Дядя Толя усмехнулся:

— В кино, брат, всякое случается... — Он бросил окурок на землю и наступил на него сапогом. — Однако хорош нам с тобой прохладиться — как думаешь? Пора заводиться.

И снова КраЗ выкатился на проезжую улицу, хотя правильнее было бы сказать — втиснулся в нее. Эта улица, по которой самосвал совершал свои ходки, называлась 2-я Продольная, то есть по сути названия не имела. Назначение ее в городе было хозяйственное, и в разгар трудового дня из-за обилия движущихся по ней машин она действительно напоминала реку, только берега ее утопали не в зелени, а в пыли и выхлопных газах. По краям проезжей части течение улицы становилось медленнее — здесь тянулись тихоходные толстобрюхие троллейбусы и автобусы. Именно сюда, в крайний правый ряд, угодил, выбравшись со стоянки, КраЗ и уже долгое время плелся в хвосте одного и того же автобуса, не имея возможности его обогнать. С виду весьма пожилой, автобус этот был львовского производства — с задним расположением мотора и широким воздухозаборником, словно зачесанным снизу на затылок; тащился он явно из последних сил, отчаянно хватая воздух вентилятором, кашляя и горько чадя. Когда автобус делал остановку, вставал и КраЗ, с тяжким пневматиче-

ским вздохом утыкаясь ему в спину. Дядя Толя, обратившись в щуку, невозмутимо покуривал — он выжидал удобного момента для рывка. Петрович, подавляя приступы нетерпения, от нечего делать наблюдал за посадкой и высадкой пассажиров. Эти пассажиры — дневные — отличались от утренних и вечерних как возрастом, так и габаритами. Здесь были женщины такие толстые, что если они входили в автобус через задние двери, то из передних кто-нибудь выпадал; здесь были ручные младенцы, похожие на тряпичных кукол, и были старички, бравшие когда-то города, а теперь неспособные самостоятельно одолеть ступеньку. Только крепких, сильных мужчин и женщин мало было среди этой публики. Оно и понятно: крепкие и сильные днем работали, а если бы они не работали, то не бежали бы машины по городским улицам, не строились бы дома и не дымили бы заводы.

Старый ЛАЗ задышался, но полз, вычерпывая раз за разом свой нестроевой контингент. Люди воодушевлялись с его прибытием, скупчивались, облепляли узкие двери, — всем не терпелось поскорее стать пассажирами. Но были и исключения; например, тот мужчина на лавочке под расписанием, который не принял участия в штурме, а так и остался сидеть, равнодушно покуривая. На мужчине были солнечные очки и такая же рубашка с пальмами, какую, помнилось, носил Петя... и курил он как-то похоже... Автобус уже отвалил от остановки, уже КраЗ тронулся вслед за ним, когда Петровича пронзила запоздалая догадка.

— Стойте! — восторженно вскрикнул он. — Дядя Толя, остановите! КраЗ вильнул.

— Что случилось, малый? До ветру захотел?

— Нет, но мне надо! Остановите, пожалуйста... — В голосе Петровича звучала такая мольба, что дядя Толя послушно затормозил.

— Эй, ты что в самом деле? Какая тебя муха...

Петрович забормотал горячо и сбивчиво, что ему надо выйти... очень-очень надо, и что дяде Толе не о чем беспокоиться, потому что Петрович отлично знает, как отсюда добраться до дому.

— Да как же я тебя в город высажу... — покачал головой дядя Толя, но, увидев, что Петрович вот-вот заплачет, сам отпер ему дверцу.

— Ну дела... — Он усмехнулся. — А я-то хотел тебя усыновить... Постой... — Дядя Толя сунул руку в карман и вытащил мятый рубль: — Возьми-ка, брат, на дорожку.

Спрыгнув на землю, Петрович припустил было назад, в сторону автобусной остановки, но, услышав, как взревел за его спиной дизель, обернулся. Он помахал рукой отъезжающему КраЗу, и тот гуднул ему в ответ.

Мужчина в черных очках по-прежнему курил на лавочке. Сомнение шевельнулось в Петровиче при виде этих очков, но тут же растаяло: ошибки быть не могло.

— Здравствуй. — Голос Петровича внезапно сел.

Мужчина вздрогнул, посмотрел направо, налево и только потом прямо перед собой.

— Приве-ет... — пробормотал он, и очки не скрыли его изумления. — Ты что здесь делаешь?

— Я?.. Я гуляю... А ты?

Петя ответил не сразу:

— Я тоже.

Он снял свои очки и повесил на груди, но Петрович от чего-то засмутился его глаз и сел рядом с ним на лавочку.

Пришел очередной автобус — на этот раз ликинский — и забрал очередную порцию пассажиров.

— Что будем делать? — спросил Петя.

Петрович пожал плечами:

— Не знаю... Давай куда-нибудь пойдём.

— И куда же ты предлагаешь? — Петя грустно усмехнулся.

— Я предлагаю... — Петрович наконец отважился дотронуться до его руки, — я предлагаю — домой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЕНРИХ

Слово «Персия» представление связывало с негой, коврами, восточными сказками и вязнущими в зубах сладостями. Как странно было видеть на фото нечто совершенно иное: пыль, лысую землю, усеянную каменным крошевом, слепые глинобитные строения, не имевшие прямых углов и будто нарисованные ребенком. Кажется, эту местность тщательно палили, как палят курицу, а потом долго отбивали молотком: даже невысокие горы, что вместо горизонта тянулись от края до края снимка, напоминали линию изломанного позвоночника. Туда, в сторону гор, через пустыню что-то, очевидно, протащили волоком — единственно с целью обозначить дорогу. Но зачем дорога в таком ландшафте, где земля сама по себе суха и убита? Вздумай какой-нибудь чудакомеланхолик здесь путешествовать, он мог бы и без дороги беспрепятственно пропасть в любом направлении. Однако дорога была нужна: нужна для того, чтобы утыкать ее обочины двумя неровными рядами высоких шестов, смыкавшихся в далекой перспективе. На концах

этих шестов, непонятно откуда взятых при отсутствии леса, на каждом нанизаны были человеческие бородастые головы. Ближние лица фотография даже позволяла рассмотреть: мины их были бессмысленны, как у пьяных или крепко спящих людей. Другое фото свидетельствовало, что некоторое время назад рожи эти имели хотя и такое же бессмысленное, но не столь сонное выражение — когда головы еще принадлежали телам пойманных мятежников, связанных, как куры на восточном базаре, и валявшихся в ожидании своей участи на жесткой, без единой травинки земле. В ту пору Персии было не до сказок: восстания чередой сотрясали шахское государство, особенно его северо-восток, так что пыль на границе с Россией не успевала улечься. Наше туркестанское подбрюшье зудело: бородастых ловили по обе стороны весьма условной границы, они отчаянно кусались и успокаивались только по отделении голов от туловищ. В таком историческом контексте становилось понятно, что прадед Петровича вовсе не искал мрачной экзотики, запечатлевая ужасные фрагменты азиатской действительности — просто такой была сама эта действительность. Во всем альбоме, на десятках фотографий нельзя было найти ни одного улыбающегося лица — не только у трупов, но и у живых людей. Месхедские чиновники, дехкане, русские солдатики, вдова профессора Пржевальского, офицеры, жены офицеров, собаки, кошки, ослы, лошади, лошаки и мулы — все смотрели в объектив «моментального» «кодака» строго и устало. Если дерево, то безлистое; если мечеть, то в руинах; если фреска в мечети, то уцелевшая чудом; а ежели местный праздник, то парад свирепого воинства либо кровавая процессия «шахсей-вахсей». Лишь два персонажа, встречавшиеся чаще других, выделялись на общем мрачном фоне: некий молодой офицер, стройный, подтянутый даже в самые жаркие погоды, и под стать ему дама, еще более молодая, являвшаяся перед

камерой, смотря по сезону, то в белых платьях, то в черных, равно шедших ей, ибо она была миловидная брюнетка. Платья шли даме, но никак не гармонировали с обстановкой: ишаками, арбами и потрескавшимися саклями. Офицер (особенно когда запахивался в светлую бурку) казался более уместным в этом пейзаже; впрочем, на то и офицер, чтобы везде оставаться уместным. Он глядел в объектив всегда в упор — глазами льдыстыми, светлыми, как от гнева, словно хотел распечь за что-то фотографа. Однако Петровичу было хорошо известно, что фотографом, то есть хозяином «кодака», сам же решительный офицер и являлся, и сам себя снимал при помощи автоматического спуска. Петрович знал даже, как звали военного — Андреем Александровичем, — знал, потому что приходился ему правнуком. Распекать прадедусшке было некого, а если размыслить, то и не за что: сапоги на нем всегда были замечательно вычищены, у ног его обычно терпеливо и живописно лежал большой бойцовый кобель-«азиат», и дама, то есть Мария Григорьевна, юная супруга его, так нежно клала руку ему на погон, что Андрею Александровичу вообще было грех на что-либо гневаться. «Кодак», прожужжав положенное, вкусно щелкал и запечатлевал красивую пару — запечатлевал для истории и пока что не существовавших потомков. В ту минуту, когда Мария Григорьевна смотрела на своего героя, — в ту минуту она-то и была тем единственным человеком в Персии и Туркестане, кто улыбался.

А потомку странно было видеть улыбку на лице молодой женщины в дикой азиатской глуши, в тысячах верст к югу от цивилизации и во многих десятках лет от него, Петровича. Правда, если не знать, что через одиннадцать лет Мария Григорьевна застрелится (а она этого не знала), что в эти одиннадцать лет случится война с Германией, а следом и кое-что похуже, — если бы ничего этого не знать, а знать то только, что знала она,

тогда, пожалуй, можно и простить ей эту улыбку. Там, в Азии, даже при отсутствии театров и водопровода перспектива жизни отнюдь не казалась Марии Григорьевне беспросветной: неудобства быта представлялись делом временным, стоило только потерпеть. Оба они ждали в тот год прибавления: Мария Григорьевна ходила на сносях, а Андрею Александровичу обещано было служебное повышение — место военного атташе в Месехе и с ним вместе полковничьи погоны (карьера в тех краях делалась быстро). И они терпели; ее выручали молодость и неунывающая натура, его — твердость духа, питаемая присягой и здоровым честолюбием. И надо сказать, ожидания их разрешились благополучно и в срок — а именно в тысяча девятьсот десятом году. С этой поры в «персидском» альбоме начинались их отдельные снимки: Андрей Александрович под балдахином с шахским наместником либо при ином «исполнении», Мария же Григорьевна все больше в окружении других дам с запеленутым Генрихом в центре композиции. Появилась на фото и кое-какая растительность: цветники и виноградные беседки, что свидетельствовало о перемене квартиры. Последние несколько снимков были похожи друг на друга и отображали какие-то приемы и местный довольно разношерстный евро-азиатский бомонд. Мария Григорьевна в белых платьях и блузках выглядела слегка пополневшей, а Андрей Александрович хотя и фигурировал в полковничьем парадном мундире, но смотрелся по-прежнему молодцеватым и пугал собственный фотоаппарат строгим офицерским взором. На этой, можно сказать, светской волне альбом кончался, и кончались персидские фотохроники; далее в семейном архиве шли уже российские виды.

Генрих делал пояснения бесстрастным закадровым голосом, каким только и надо комментировать историю. Фото отделялись от слепого альбомного картона

и, перелетая, садились на страницы толстой книги семейных преданий — затверженных и не подлежащих уже существенным изменениям. В отличие от современности, которую Петрович имел честь проживать лично и где все было зыбко, где, чтобы удержаться на плаву, требовались постоянные усилия, в преданиях этих все казалось прочно: все судьбы состоялись, все трагедии сыграны. Там, в прошедшем, Петрович чувствовал себя уютно. Беда только, что Генрих уже через час начинал путаться, зевать, ронять очки и в конце концов предлагал перенести просмотр на следующий раз. Однако следующего раза ждать приходилось порой довольно долго: альбомы и коробки с фотографиями доставались из стенного (запретного) шкафа только по особым случаям, выпадавшим, увы, нечасто. Если в семье были гости и рано разошлись, если Генрих получил нагоняй из главка и немного «принял», чтобы успокоиться, если Петрович заболел, и всяк, включая деда, по очереди его развлекал, если, наконец, старик лез в шкаф по случайной надобности и альбомы с коробками сами валились ему на голову, — тогда-то и бывало, что они двое, стар и млад, закрывались в комнате и садились рядом, как два живых листочка на генеалогическом древе.

Умозрительное это древо в представлении Петровича имело короткий ствол — то именно счастливое (по преданию), хотя и не вполне благоустроенное десятилетие, что прожили вместе Андрей Александрович и Мария Григорьевна. Выше по дереву безжалостной пилой прошла российская «заварушка», и оно, как всякое покалеченное дерево, принялось беспорядочно ветвиться, а ниже — ниже оно уходило во временную толщу сложно перепутанными корнями. Отчего этот образ (безусловно, искусственный) сложился в голове у Петровича? Только благодаря быстрдействию и плодовитости «кодака». Более ранние разрозненные открытки, долетевшие из века предшествовавшего, име-

ли, казалось, одно назначение: свидетельствовать о фактическом существовании истории. Господа в мундирах, дети в чулках, дамы в развесистых шляпах, любившие на что-нибудь опереться, даже усадьба с полагавшимися клумбами и парком, — все они смотрели пристально на Петровича, как бы доказывая ему: «Вот они мы, нас нет уже, но мы были; мы не фантазия какого-нибудь литератора и не Генриховы выдумки». И он верил им молодой душой, и верил, что Генрих не все сочиняет, и жалел о том лишь, что не может послать им ответную открытку.

Хотя не исключено, что Генрих все-таки приложился творчески к семейным легендам, — рано осиротевшим людям такое свойственно. Дело в том, что родители недолго сопутствовали ему на жизненной дороге, а Андрей Александрович даже и вовсе почти не сопутствовал: война и революция разлучили отца с сыном более вероломно, чем это делает смерть, то есть не заплативши вперед утешением близости. По отношению к Андрею Александровичу и Генрих, и Петрович — оба оказались в одинаковом положении: обоим оставалось, вглядываясь в его фотографии, искать и выдумывать в ушных изгибах и форме его носа родственные черты. Но, конечно же, больше всего сходства на всех своих портретах Андрей Александрович являл с самим собой. Вот он курсант гвардейского училища в мундире; вот он кадет, в мундире же; а вот карапуз, стоящий подле отца-генерала, — и на карапузе опять какой-то мундирчик и начищенные сапожки. И взгляд у карапуза светлый, жесткий: таким малышом Андрюша был уже законченный белогвардеец. Шаг его карьеры должен был стать таким же четким, как ритм мундирных пуговиц, счастливая будущность светила потомственному офицеру, как орден на кителе палы. Встречаясь глазами с кадетом на фотографии — своим ровесником, — Петрович думал: смогли бы они подружиться, наши бы о чем поболтать? Анд-

рюша смотрел серьезно и нелюбезно: очевидно, он не был расположен к общению с незнакомцами. А со следующим Андреем Петрович и сам бы не решился запросто заговорить: курсант прямо-таки олицетворял высокомерие, хотя и, без спору, был хорош. Стрижен он здесь был, очевидно, по тогдашней офицерской моде, коротким квадратным ежиком, а причина гордости сидела у него на лице под носом в виде усов, хорошо заметных благодаря темному волосу. К такому молодцу никакой штатский не подойди. Но и тут Петровичу любопытно было представить себе, что делалось на уме у геройского юноши. Не сейчас, когда позировал в ателье, ибо в ателье (у Отто Ренара на Тверской) он рисовался, и ничего больше; но когда он становился опять самим собой: у себя в училище, в казарме, на улице или, скажем, в гостях у матери своей, Елизаветы Карловны. А ведь точно — что-то скрывалось в холодных глазах... и даже не что-то, а страстная натура таилась за неприступной внешностью, и когда прорвалась она, тогда и отлетела первая пуговица с карьерного мундира Андрея Александровича.

На этом месте Генрих-повествователь слегка изменял эпическому жанру; описание событий приобретало у него романтический оттенок, что как раз и могло означать некоторое художественное своеволие. Факт состоял в том, собственно, что даже не пуговицы лишился Андрей Александрович, а весь мундир вынужден был переменить, ибо не был выпущен по окончании училища в гвардию, а направлен, по выражению Генриха, «шпионом» в вышеописанные жаркие края. Причиной этому послужило некое грубое нарушение Андреем гвардейского устава. В чем состояло нарушение, — тут предлагалось каждому, чью душу не разъел гнилой скепсис, принять на веру семейное предание. Вышло все из-за того, что юный Андрей Александрович, едва усы его достаточно загустились, имел дерзость тайно обвен-

чаться. Но причина заключалась, конечно, не в усах, хотя усы тоже были очень важны, — им он, между прочим, как и воинской присяге, никогда не изменял впоследствии. Нет, хотя, не отрастив усов, он эту глупость не устроил бы, дело было, разумеется, в самом венчании. Хоть и считается, что браки совершаются на небесах, но, согласно тогдашним гвардейским порядкам, Андрею Александровичу полагалось предварительно получить разрешение начальства. И хотя новобрачные чудесно подошли друг другу, хотя, несмотря на дела сердечные, Андрей с отличием закончил курс, в гвардию его тем не менее не приняли, а направили служить в туркестанскую крепость Кушку.

Таким образом, службу свою Андрей Александрович начал простым офицером, пусть и в довольно непростых условиях. Правда, и училище, которое он закончил, тоже было непростое, судя уже по тому, что, выйдя из него, Андрей знал в совершенстве шесть восточных языков. У Генриха в некоторых редакциях число этих языков доходило иногда до девяти, но он, быть может, имел в виду диалекты. По разведчицкой легенде (а возможно, семейной) служивому полиглоту даже приходилось в первое время приклеивать себе бороду и, изображая дехканина, верхом на ишаке добывать нужные Отечеству секретные сведения.

Но ни прелесть невестки Маши, ни высокие баллы, полученные сыном при выпуске из училища, не могли смягчить разочарования Елизаветы Карловны — словно это она вместе с Андреем вылетела из гвардии. Объявив сына «дураком по всей форме», суровая мать подвергла его наказанию: во все время туркестанской командировки она не прислала ему ни одного письма. Следует заметить, что Елизавете Карловне не впервой было жаловать ближнего званием дурака. Несколькими годами ранее она представила к сему чину того самого генерала-орденоносца, с которым Андрюша заснят был в детском сво-

ем мундирчике. Как и сын его, генерал проштрафился, устроив себе втайне от Елизаветы Карловны некое сочетание, незаконное, даже если не входить в гвардейские тонкости. Домашний суд чести совершился в одночасье, и оскорбленная супруга покинула генеральский майорат, забрав с собой лишь то, чем владела, как ей думалось, нераздельно: родимое дитя. Однако вернувшись в Москву под фамильный кров, зрелая, полная сил женщина, так уж получилось, вступила в управление еще одной собственностью — наследственной. Речь идет о типографии, принадлежавшей ее родителям. Московское печатное дело приобрело то, что потеряло провинциальное усадебное хозяйство: волевое, энергическое и в высшей степени разумное руководство. Старички-родители будто только этого и ждали: убедившись, что семейное предприятие попало в надежные руки, они, счастливые, вскоре умерли один за другим. Елизавета Карловна взошла на оба престола, типографский и домашний, и правила многие годы вполне успешно, покуда ее не низложила советская власть. Существование ее омрачала та же проблема, которая портит жизнь всем мудрым правителям, а именно — дураки-подданные. Кстати, и Генрих, родившийся в Кушке, впоследствии тоже успел огорчить бабушку, — будучи студентом-второкурсником, он женился на Ирине без ее благословения. Генрих расписался тайком, по семейной традиции, а когда открылся Елизавете Карловне, то ничего неожиданного о себе не узнал: дурак и сын дурака. Петрович усмехался, представляя себе, кровь скольких дураков течет в его жилах. Он и сам порой, совершив очередную глупость, будто слышал в свой адрес эту суровую аттестацию, сделанную голосом, которого он, конечно, в действительности слышать не мог.

Елизавета Карловна, несомненно, обладала сильным характером и была строгой матерью. Однако ни строгим матерям, ни гвардейскому начальству, ниже

человекам вообще не дано предотвратить промысл судьбы — чему назначено, то свершится. В этом безнадежном борении Петрович эгоистически принимал сторону победителя, считая свое собственное рождение тоже частью неведомого сверхчеловеческого сценария. Тем же сценарием Генриху полагалось произойти на свет в крепости Кушке, в краю верблюдов, саксаула и жестоких обычаев — и Генрих произошел. И никогда потом он не боялся ни жары, ни трудностей, а повстречай он снова верблюда, не испугался бы и его. Генрих, по собственному его признанию, страшился в жизни только двух существенных опасностей: быть расстрелянным в НКВД и, как ни странно... впасть в старческий маразм. Из этих угроз (между прочим, взаимоисключающих) первой он счастливо избежал: его боевые заслуги во Второй мировой войне позволили ему вступить в члены ВКП(б), а послесталинская либерализация и ослабление классовой борьбы сделали уже неактуальным его белогвардейское происхождение. Со второй же угрозой Генрих боролся, сколько Петрович его помнил, при помощи утренних лежачих гимнастик, чтения газет, игры по переписке в шахматы и, конечно, активной трудовой деятельности. Работа была для Генриха основным залогом гражданской и личностной полноценности. По вечерам он пересаживал в «Союзпроммеханизации» всех своих подчиненных, покидая кабинет лишь с приходом уборщицы. Не реже раза в неделю, всегда почему-то на ночь глядя, Генрих упоенно перекрикивался по телефону с московским таинственным главком — то суровым, то милостивым, как сама судьба. В эти минуты священного телефонного астрала все домашние боялись дышать: горе было чихнувшему либо уронившему что-то нечаянно. Работа, притом ответственная, позволяла Генриху свысока поглядывать на своих друзей-пенсионеров — Терещенко и дядю Валу. Эти двое, хлебавшие с ним когда-то из одного фронто-

вого котелка, конечно, посмеивались над его начальственными замашками, но питали к нему искреннее уважение. Наставляя Петровича после первой-второй рюмки, принятой ими за праздничным столом, однополчане сводили свои пожелания к одному, но вполне несбыточному: «Проживи жизнь как Генрих, — говорили они, — и нам за тебя не стыдно будет на том свете». Но как это можно: не умереть в Гражданскую войну от холеры, не быть расстрелянным в подвалах НКВД, уцелеть в Сталинградской битве, возглавить «Союзпроммеханизацию» и не впасть на склоне лет в маразм? Доведись Генриху самому проделать заново собственный жизненный путь, едва ли ему удалось бы пройти по собственному следу. Но это, конечно, чистое умозрение, ибо что случилось — то случилось и больше не повторится. К тому времени, когда Петрович родился, когда он научился фокусировать свой младенческий взгляд, Генрих уже был Генрихом в его, так сказать, зрелой стадии. Не только Петровичу, но и всем домашним он представлялся этакой незыблемой скалой, несколько суровой и важной, но увитой заслуженным почетом. Да, старик и в самом деле был скалой, с тем лишь уточнением, что «незыблемыми» скалы бывают только в поэтической литературе да на фотографиях, если те бережно хранить. В жизни же скалы и трескаются, и колеблются, и рушатся то в море, то в пропасти. Одним словом, в жизни и со скалами случаются неприятности.

Являясь директором городского филиала «Союзпроммеханизации», Генрих обо всех своих неприятностях узнавал по телефону из Москвы. Именно так — по телефону — одним ужасным вечером узнал он о скором расформировании своего детища. О, это был удар! — таким ударом выбивают табуретку из-под ног осужденного на повешение. Если бы на шее Генриха была в ту минуту петля, он повис бы в ней и скончался от удушья,

но петли не было; если бы он просто стоял на табуретке, то рухнул бы на пол, но не было и табуретки. Нет, Генрих не умер и даже не ушибся, но, кажется, ему от этого было не легче. Роковое известие означало, кроме всего прочего, что Генрих оказывался не у дел, и ему, в силу его запенсионного возраста, ничего не оставалось, как идти знакомиться с собесом. Все домашние, слышавшие, понятно, только Генрихову трагическую партию, без труда восполнили содержание телефонной пьесы и к финалу все уже стояли вокруг Генриха. Он сидел, не слушая уже, что говорит главк; из трубки все еще доносился противный шепоток и какое-то почесывание, но Генрихова рука, державшая ее, бессильно упала; на лице его прорезались глубокие старческие морщины. Потом шепоток стих, сменившись монотонным пунктиром коротких гудков. Ирина взяла у Генриха трубку и положила ее на телефон. Все молчали. Генрих снял очки, протер их рубашкой и, снова надев, обвел собрание растерянными глазами. Взгляд его остановился на Петровиче.

— Как тебе новость? — спросил он, сияясь усмехнуться. И, не получив ответа, добавил, словно в утешение: — Вот, брат... когда-нибудь и ты доживешь до такого.

Встав с кресла, Генрих хлопнул в ладоши и пожелал сей же час обмыть «это дело». Домочадцы переглянулись и в унылом молчании поплелись за ним на кухню. На стол были выставлены известный графин с мандаринными корками на дне и коробка конфет, о существовании которой Петрович до этой минуты не знал.

— Что ж, друзья! — провозгласил Генрих. — Подведем итоги?

Петя поморщился и возразил, укоризненно глядя в рюмку:

— Рано тебе подводить итоги. Что вообще... панихида устраивать!

— Точно, — сказал Генрих и залпом выпил.

Петрович дотронулся до его руки:

— Зато, Генрих, мы с тобой сможем на рыбалку ездить.

Генрих покривился от водки:

— Точно — на рыбалку... Все на рыбалку!

И он снова налил себе и выпил, ни с кем не чокаясь.

Петровичу еще не приходилось видеть Генриха в таких смятенных чувствах. Никогда раньше тот не обсуждал дома служебные дела, а сейчас вдруг принялся возбужденно рассказывать о происках какого-то Сукачева. Этот мерзавец с говорящей фамилией, который, оказывается, многие годы «копал» под Генриха, мог теперь торжествовать. Катя украдкой вытерла на его щеке шоколадный след от конфеты, Ирина пыталась потихоньку убрать из его поля зрения графин, но Генрих не только не унимался, а даже начинал пристукивать по столу кулаком.

— Они меня к ордену представили, представляешь? Цацкой хотят утешить! — Он лил из графина в Петину рюмку, плеща на скатерть. — Так сказать, посмертно... Черта с два, у меня боевых наград полный ящик... Я эту их бирюльку на жопу повешу!

— Генрих, что за выражения! — качала головой Ирина. — При ребенке...

— И пусть слушает, он уже не маленький! На... — Он протянул Петровичу конфету. — Пусть узнает, как меня с дерьмом смешали!

Наконец Иренино терпение кончилось.

— Все, — сказала она, — довольно. Придет твой Терещенко, с ним и будешь говорить в таком тоне... и хватит водкой стол поливать.

Не слушая возражений, она убрала графин в холодильник. Обиженный Генрих демонстративно покинул собрание. Хлопнув дверью, он закрылся у себя в комнате. В подавленном настроении остальные тоже разбрелись из кухни. Петрович, немного послонявшись, бросил якорь в «библиотеке», — читать ему не хотелось, за-

то здесь можно было успокоиться и поразмышлять, сидя в кресле. Из комнаты Генриха, выходящей в «библиотеку» зашторенными стеклянными дверьми, доносилось суровое покашливание. Потом вдруг там взвизгнуло и горячо, словно спросонок, забормотало радио, но тут же умолкло. Внезапно двери распахнулись, и Генрих появился на пороге. Он блеснул на Петровича очками, шагнул к комоду и, выдвинув верхний ящик, достал оттуда свою трубку, которой не пользовался уже много лет. Петрович похолодел... Генрих стал рыться в поисках табака, но Петрович прекрасно знал, что табака в ящике давно уже не было. Генрих повертел трубку в руках, потом поднес ее к носу... и обернулся к нему. «Конец!» — подумал Петрович: он понял, что разоблачен, и приготовился к худшему. Однако Генрих молча положил трубку обратно и задвинул ящик.

— Если Ирина узнает, с ней приключится инфаркт, — сказал он после паузы. — Например, моей бабушке сделалось плохо, когда она узнала, что я курю.

— И она назвала тебя дураком?

— Не помню... — Генрих усмехнулся. — Но выпала она мне по первое число. И тебе бы надо.

— Генрих... — замялся Петрович. — Давай лучше... фотографии посмотрим.

— Хитрец... — Генрих покачал головой. Однако после короткого раздумья согласился: — Ладно уж, давай. Для успокоения нервов...

Знакомые коробки извлечены были из шкафа и внесены под свет «библиотечного» торшера. Генрих приладил на нос очки ближнего боя.

— На чем мы с тобой остановились?

— Мы остановились... — Петрович задумался, вспоминая. — Мы остановились там, где ты родился.

Первый снимок, где Генрих явился выпростанным из бесчисленных материй, Андрей Александрович сделал хотя не в студии, но с соблюдением всех правил

эстетики. Некое возвышение, возможно стол, покрыто было его роскошной светлой буркой; на бурке уложена атласная подушка с углами не острыми, но собранными в изящные бантики; а венчал пирамиду крепко сидящий нагой младенец со складчатыми ляжками. Это и был Генрих. Взгляд малыша казался осмысленным и почти ироническим, в то время как его четыре конечности занимались каждая своим делом. В целом фотография особенного впечатления не производила: обычное младенческое фото, приложение к метрике. У любого человека есть такие снимки, доказывающие лишь то, что он существовал в столь раннем возрасте. Первые Генриховы прямые воспоминания о себе относились уже к более позднему подмосковному краткому периоду семейного благоденствия — такого легкомысленного на фоне назревавшей мировой катастрофы. Мария Григорьевна с сестрой и Генрихом поселились на даче в Малаховке, и все время, покуда длилась эта дачная беззаботная жизнь, — все эти дни и месяцы солнце не заходило. Дамы, не расставаясь с зонтиками, прогуливались по дорожкам между какими-то беседками легкого дерева, между условными дачными заборчиками. Иногда они отважно, будто две белые яхты, пускались в плавание по цветочным волнам окрестных лугов. Там, достаточно удалясь от нескромных взглядов, они предавались веселым играм в волан и в серсо и даже делали гимнастические упражнения, рискованные со всех точек зрения. Изредка семейство наезжало к Елизавете Карловне, которая по такому случаю всякий раз вела Генриха к парикмахеру. Вероятно, по дороге из парикмахерской бабушка однажды завернула со свежестриженным внуком все к тому же Отто Ренару. Генриха, в соломенной нимбообразной шляпе, одетого в традиционную матроску, короткие штаны, гольфы и обутого в высокие шнурованные ботиночки, поставили на стул. С таинственным непонятным умыслом, со времен изо-

бретения дагерротипа, фотографии водружали детей на стулья, чтобы, создав опасность, внушить их лицам выражение тревоги. Подобное беспокойное выражение Петрович нашел потом у Генриха, снятого, правда без стула, в промежутке между сталинградскими боями, — тогда фотограф застал его врасплох, и боец не успел принять бравый вид. Мальчуган на ренаровом портрете выглядел печально-встревоженным белым клоуном, — обычное дело: фотографические малыши иногда словно будущность прозревают в объективе камеры, но, спрыгнув со стула, они позабывают предвидения и снова становятся безмятежны.

И опять Генрих резвился на малаховской травке и, улыбаясь, прикрывался рукой от солнца. Солнца было много, просто море света, дни стояли один лучше другого. После прогулок Мария Григорьевна читала сыну вслух: он устраивался у нее на коленях в уютной бухте рук, и тела их повторяли изгибы друг друга. И Генриху, и Марии Григорьевне казалось, наверное, что жизнь остановилась, замерла в своем зените. Но жизнь никогда не останавливается, а только притормаживает, и чем основательнее она притормозит, тем круче понесет впоследствии...

Генрих замолчал, всматриваясь в фотографию. В какой-то момент Петровичу показалось, что их четверо в «библиотеке»: он, два Генриха и Мария Григорьевна. Но Петрович не видел пятого: из-за раздвинувшейся занавески за ними наблюдало женское лицо. Катя удовлетворенно окинула взглядом мирную сцену и беззвучно исчезла.

Но история не Катя — ей скучны мирные сцены; завидя мирную сцену, она спешит перевернуть страницу. Что ж, следующая страница посвящалась уже не пустякам, а войне — войне с германцем. Правда, историческое событие почти не оставило следа в семейном архиве — только карточку, где Мария Григорьевна снята бы-

да в монашеском облачении сестры милосердия. Карточка эта предназначалась возлюбленному Андрею Александровичу, которого война в шестнадцатом году успела двадцати восьми лет от роду произвести в генералы. Фото почему-то не было отправлено, точнее, отправлено, но с большим перелетом — прямо в руки Петровичу. Надпись на его обороте уведомляла законного адресата в неизменной сердечной привязанности. Вообще война умеет проверить на прочность человеческие чувства; беда лишь, что за эту услугу она дорого берет. Так порой получается, что чувства проверены, а излить их уже не на кого, кроме как на могилу да на потрепанную фотокарточку. Но помимо любовных чувств война проверяет на прочность и рассудок человеческий — качество, всего меньше свойственное молодым женщинам. Можно сказать, что Мария Григорьевна с честью выдержала экзамен на чувства, но безнадежно провалилась при испытании на рассудок. Случилось это так. Когда всему цивилизованному миру уже надоела резня, война нашла себе в России новое пространство и свежую пищу. Здесь она совершенно одичала: выяснилось вдруг, что резать и убивать можно не только иноземцев и иноверцев, но и друг друга, не соблюдая притом никаких конвенций. И вот тут-то рассудок оставил Марию Григорьевну, как, впрочем, и всю страну, — она ринулась в пучину гражданского побоища. Конечно, двигала ею не жажда острых ощущений и не идейный порыв — просто она получила каким-то образом известие об Андрее Александровиче. Узнав, что он, как подобает офицеру и патриоту, сражается под денкинскими знаменами, любящая супруга решила непременно составить доблестному воину обоз. Напрасно Елизавета Карловна просила ее не увозить хотя бы Генриха — безумица желала соединить все элементы своего счастья. Напрасно свекровь ругала ее цыганкой и дурой — несправедливость первого утверждения обесценивала

второе. «Не кончится добром твое путешествие, — ворчала Елизавета Карловна, отсыпая ей на дорогу свои драгоценности. — Помяни мое слово». И ведь оказалась права: не кончилось путешествие добром. Ничего не поделаешь; мудрому человеку только и остается в утешение — видеть, как сбываются его дурные пророчества.

И снова из-за занавески показалось женское лицо — на этот раз Иринино.

— Генрих...

— Что?

— Поздно уже. Вам пора закругляться.

— Ну-уу... — голос Петровича уныло спланировал, — всегда закругляться.

Генрих откинулся в кресле и зевнул, укусив себя за кулак.

— Ирина права, — сказал он. — Потом досмотрим. Теперь у нас с тобой будет много времени.

Но «потом» наступило не скоро. Покуда Мария Григорьевна с маленьким Генрихом долгими революционными поездками ехали со многими пересадками на юг, в сторону фронта, все семейство мучительно переживало пересадку Генриха-большого на пенсионную узкоколейку, шедшую, как он резонно полагал, в конечный тупик. Потеряв в одночасье дело и должность, Генрих выглядел как моряк с затонувшего корабля или как кавалерист, под которым убили лошадь. Всем домашним дано было вполне ощутить трагизм ситуации: Ирина с Катей узнали обе, что готовят они прескверно, Петя с его заслуженными отгулами представлен был к ордену бездельников. Даже Петрович подвергся нелюбимой, хотя и поверхностной ревизии на предмет успехов в науках, в результате которой их (успехов) Генрих не обнаружил. Однако, несмотря на беспокойное состояние духа, организм Генриха продолжал функционировать в прежнем режиме. Как всегда, он просыпался раньше всех в доме, делал гимнастику и надолго зата-

ивался в уборной с недочитанными вчерашними «Известиями». Конечно же, он успевал покинуть «заведение» к началу трансляции гимна и под звуки величественных аккордов буйно, не щадя себя, умывался. Дослав на место челюсть, вычищенную с вечера сокровенно и тщательно, выбрившись с ужасным звуком и щедро омочив пожатые щеки польским лосьоном «Варс», Генрих являлся к завтраку. Все было как всегда, с той лишь разницей, что на лице его не было утреннего бодрого выражения. Хмуро Генрих жевал бутерброды, деля их предварительно ножом на маленькие одноразовые доли, хмуро пил кофе и хмуро слушал радио, которое повторяло ему слово в слово то же, что он уже прочитал в «Известиях», — именно, что в стране у нас происходит дальнейшее сокращение бюрократических звеньев и повсеместное омоложение кадров (это сообщение адресовано было непосредственно Генриху). Не радовали и новости из-за рубежа, — там тоже шло непрерывное сокращение кадров, причем невзирая на их возраст. Зарубежные трудящиеся не вымещали свою досаду на близких, а вели борьбу за свои права, так что тамошней полиции приходилось то и дело разгонять дубинками их мирные манифестации.

Генрих удерживался от манифестаций; только, надевая костюм и шляпу, он мрачно покашливал. Одевшись, он брал под мышку неизменный свой портфель (сильно похудевший) и, жестко хлопнув входной дверью, отправлялся «по делам». Шел он или в горсовет, где покамест продолжал депутатствовать, или в Совет ветеранов, или... Бог его знает, куда он шел, — только не на лавочку, кормить голубей. Возвращался он рано, полный нерастратченных сил и злости, и, сидя на кухне, долго желчно ругал горсовет-говорильню, маразматиков-ветеранов и... в общем, весь свет. Неудивительно, что у Ирины что-то подгорало на плите, и тогда уже от Генриха доставалось персонально ей.

Но и Петрович ровным счетом ничего не выиграл оттого, что Генриха «ушли» на пенсию. На руках его скопилось уже немало Генриховых векселей, но предъявить их к оплате не представлялось возможным.

— Генрих... а Генрих, — подкатывался Петрович. — Ты обещал поводить меня по городу — помнишь? Ты хотел показать место, где Терешенке ногу оторвало.

— Прости, — отвечал Генрих, — сегодня я не в настроении.

И этими словами — всякий раз, за выпусчением иногда слова «прости».

Это был второй случай на памяти Петровича, когда тучи обложили семейный небосклон. Такое было уже однажды, когда Пете, по Генриховому выражению, «шляя под хвост попала». Петр ушел из дома и неизвестно где пропадал, а Катя все эти дни страдала, от слез переходя к сухой тоске, от тоски к апатии, а от апатии, внезапно, опять к слезам. Ее неизбывное уныние раздражало Генриха. «Хватит тебе разводить сырость! — сердился он. — А ну, возьми себя в руки». На что Катя мрачно возражала, что знает случаи, когда женщины, оказавшись в ее положении, не то что не могли взять себя в руки, а накладывали их на себя. Это она намекала на свою бабушку Марию Григорьевну. Что ж, теперь Генриху предоставилась возможность на собственном примере показать, как держит удар судьбы волевая личность. Сказать к его чести, слез он действительно не лил, хотя вечера стал проводить в своей комнате в глухом затворе. На вопросы домашних, что он там делает, Ирина, пожимая плечами, отвечала: «В шахматы играет».

Генрих и вправду часами напролет сидел, обложившись шахматными журналами. Перед ним неподвижно стояли деревянные фигурки — будто зачарованные взмахом волшебной палочки. Казалось, что фигурки уже пустили корни в клетчатую доску, но нет: этим же вечером или следующим Генрих непременно делал ход.

Тот же ход повторялся на маленькой доске, стоявшей на прикроватной тумбе, и в кожаной, снаружи похожей на портмоне, доске-кляссере, которую Генрих брал с собой на выход. Но самое главное — ход этот записывался в специальную открытку и с кратким, но любезным эпистолярным прибавлением отправлялся по почте. В членах клуба состояли не одни только советские граждане, но обитатели порой весьма отдаленных государств, поэтому шахматная мысль их, как звездный свет, сообщалась с большими задержками. Люди они были по большей части пожилые, так что не всегда доживали до ответной открытки, — надо думать, немало партий доигрывалось ими уже на том свете. Генрих с умершими одноклубниками, конечно, не переписывался, но сношения с «иным миром» ему иметь приходилось — в смысле капиталистической заграницы. Контакты с западными партнерами давались ему непросто. Скрепя свое партийное сердце, Генрих составлял дипломатически-учтивые послания, а партнеры и не догадывались, чего ему это стоило. Они отвечали ему по-дружески, попросту и часто в коротких строках рассказывали о себе. Один из них, кажется датчанин, имел неосторожность сообщить, что служит полицейским, чем возмутил Генриха до глубины души.

— Нашел чем хвастаться... опричник! Это кому он там служит?!

— А твой отец, — возразила Ирина, — твой Андрей Александрович служил царю-батюшке. И что теперь?

Генрих пожал плечами:

— Он присягу давал.

— И полицейский давал. Я почти уверена.

Ирина посоветовала Генриху играть с полицейским так, как если бы он был обыкновенным человеком. Но Генрих решил, что это будет противно его убеждениям, и предпочел поражению в принципах поражение на шахматной доске, то есть от партии с датчанином отказался.

Что ж, в спорте без проигрышей не бывает. Несмотря на отдельные неудачи, в целом с выходом на пенсию турнирные дела Генриха пошли в гору. Он стал проводить в шахматном эфире все вечера, и это дало свои плоды: замаячила надежда получить еще при жизни первый разряд. Но только шахматы и сделали приобретение в лице Генриха-пенсионера. С Петровичем, например, его общение стало до крайности редким и формальным — тоже как у представителей разных миров. Отчего так случилось, зачем он словно стеной отгородился от прочего населения общей милой жилплощади, — ответ надо было узнавать в душе его, но это помещение находилось под замком.

Несмотря, однако, на чьи-либо личные обстоятельства, время продолжало идти, отсчитывая дни и положенные астрономические фазы. Петрович давно уже отверг свое детское заблуждение, будто время способно ускоряться и замедляться. Нет, с научной точки зрения у времени не могло быть капризов: подобно большой карусели в парке, оно несло своих пассажиров с равной скоростью, сидели те в ракете, или верхом на лошадке, или просто на лавочке. Что касается Генриха и Петровича, ракета этой осенью не выпала ни тому, ни другому, а выпало обоим просиживать стулья: старшему, как сказано, за шахматами, младшему — в школе. Успехи первого от сидения в целом можно было оценить на четверку, результаты же второго по окончании четверти в среднем оказались хуже. Тем не менее в положенный срок ноябрьский пасмурный пейзаж расцвятился кумачом. Советская власть праздновала очередную собственную годовщину — испуская, как обычно, бездну самодовольства и невзирая на положение дел своих подопечных. Правда, на этот раз, впервые за многие годы, Генрих не пошел на демонстрацию, ибо время расформировало маленькую колонну «Союз-проммеханизации», которую он привык возглавлять.

Но он смотрел по телевизору военный парад и даже обсудил с Петей некоторые новые образцы проехавших по Красной площади ракет. Потом Генрих и графин с мандариновыми корками приняли участие в общем семейном обеде. Обед был вроде как праздничный, однако никто так и не упомянул причины торжества.

Петрович рассчитывал на помощь графина — он надеялся, что рюмка-другая расположат Генриха к общению, однако напрасно. Генрих, окончив трапезу, положил салфетку, встал, сказал: «Спасибо» — и удалился в свою комнату. И вот тут-то терпение Петровича лопнуло: он решил перейти в наступление. Он тоже встал из-за стола и последовал за Генрихом.

— Достань мне, пожалуйста, фотографии, — попросил он.

Генрих взглянул удивленно:

— Хочешь посмотреть один?

— Один... если больше не с кем.

— Ну уж и не с кем, — усмехнулся Генрих. — А я на что?

И, к неудовольствию шахматных кукол, стол был освобожден для заветных коробок. Неловкость, возникшая между Петровичем и Генрихом из-за долгой их разобщенности, быстро прошла. Снова они рассматривали старые снимки, подводя их под лампу, и снова Генрих повествовал, изредка подсасывая свою пластмассовую челюсть. Опять из небытия являлись давно умершие люди и лошади, забытых форм трамваи и пароходы, и давно погаснувшее небо, и облака в небе, промелькнувшие, исчезнувшие задолго до того, как не стало фотографа, запечатлевшего их. Но Петрович знал один способ преодолеть пропасть, отделявшую его от персонажей черно-белого временного далека. Если не меньше минуты вглядываться очень пристально в их лица, то можно было увидеть, как под странными шляпами, за пенсне и вуалями оживали глаза. Под изобиловавшими

пуговицами, педантично застегнутыми одеждами тепле-ли тела; более вольными делались позы, легкими улыб-ками трогало губы, и казалось даже, что начинали слы-шаться голоса и обрывки разговоров.

Но одно фото Петровичу никак не удалось ожи-вить: это был коллективный портрет красноармейско-го отряда. Судьба в те крутые годы гораздо была на ди-кие шутки: вместо деникинского расположения занес-ло Марию Григорьевну с Генрихом в боевую дружину восставшего народа. Возможно, ее мобилизовали как медицинскую сестру или, может быть, реквизировали Елизаветины драгоценности, и она, чтобы не умереть с голоду, определилась добровольно. Как бы то ни бы-ло, на снимке с красноармейцами ее лицо и лицо ма-ленького Генриха отчетливо просматривались в пра-вом верхнем углу. К ним даже проведены были чьей-то рукой две карандашные стрелочки, и сделана поверх красноармейских голов надпись: «М. Г. и Генр. 1919 г.». Красные бойцы на фото увешаны были вполне живо-писно шашками, маузерами и прочими боевыми атри-бутами, однако на самом деле отряд этот воевал не на фронте, а в собственном революционном тылу. Эти маузеры и винтовки использовались для расстрелов, а шашки — девятилетний Генрих видел своими глаза-ми, — чтобы рубить людей, когда не хватало патронов. Кроме пожилого, лет тридцати, человека учительского вида, поместившегося в центре группы, никто в кара-тельной команде не носил пенсне; бойцы в барашко-вых шапках, буденовках и фуражках были безусы, чуба-ты и очень молоды. У кого-то из них уши торчали враз-лет, у кого-то нос отхватил себе половину лица, чья-то физиономия и вовсе состояла как бы из разных частей, заимствованных у кого попало. Но это было как раз знакомо, — вместе молодцы напоминали какой-нибудь стройотряд ПТУ, только вооруженный. Однако, сколь-ко ни вглядывался Петрович в их простые лица, его са-

модельная машина времени не срабатывала: красноармейцы не оживали. Петрович напрягал воображение: вот сейчас фотограф их отпустит, они загалдят, закурят; потом старший, со стеклышками, даст команду и несколько ребят пойдут в сарай и выволокут из него кого-то связанного, и шлепнут его прямо тут, во дворе, и бросят, не закапывая, потому что некогда, потому что отряду пора идти дальше... Но вся эта сцена оставалась неподтвержденной фантазией; красные бойцы смотрели на Петровича хмуро и молчали, не желая признаться, так ли оно было на самом деле.

Мария Григорьевна выглядывала из-за чьего-то суконного плеча без тени улыбки; ее усталое лицо опечатано было той же немотой, что и лица красноармейцев. И так же, как они, женщина предпочитала держать Петровича в неведении на свой счет. Зачем она все-таки застрелилась? Ведь стоило ей только шепнуть, что она жена белого генерала, и хлопцы бы сами мигом вывели ее в расход. А случилось ее самоубийство в том же девятнадцатом году. Предсмертная записка Марии Григорьевны, адресованная Генриху и хранившаяся у него по сей день, поясняла, что, поскольку надежды встретиться с тем — он должен был знать, с кем, — у нее не осталось, жизнь для нее более не имеет смысла. У сына же она в трогательных выражениях просила прощения и советовала ему, по возможности, пробираться в Москву к бабушке. На этом и закончилось ее безрассудное путешествие в полном и даже чрезмерном соответствии с дурным предсказанием Елизаветы Карловны.

Лицезнением многих обезображенных и растерзанных мертвых тел Генрих, как оказалось, не был достаточно подготовлен к виду небольшого женского трупа на промокшей от крови постели. Разум его помутился; мальчик схватил саквояж с немногими их вещами и бежал прочь из расположения кроваво-красной части. Но только с помутившимся разумом и можно было

странствовать тогда по России. Девять месяцев продолжались его скитания, из которых он два провел в госпитале городка, названия которого даже не запомнил. Холера Генриха не одолела, с голоду он, как ни странно, не помер, и в один прекрасный день, отощавший и обоживевший, явился с саквояжем в руке пред очи бабушки Елизаветы Карловны.

Петровича немного удивляло, почему Генрих в своих рассказах никак не расцвечивал эту и впрямь необыкновенную одиссею, а, напротив, всегда излагал ее почти скороговоркой. Интересно — так же вкратце или в подробностях излагал он ее Елизавете Карловне? И неизвестно, как она реагировала на его рассказ, — Петрович знал только, что бабушке сделалось плохо, когда она выяснила, что в своих скитаниях Генрих начал курить. Однако в скитаниях Генрих приобрел не только привычку к курению, но и навыки заправского беспризорника. Елизавете Карловне удалось пристроить его в школу, но он находил еще достаточно времени, чтобы утверждать себя на городских улицах. Здесь уже начинались у него истории, никак не подтвержденные ни фото-, ни какими-либо другими документами. Петровичу запомнилась одна такая история, к слову сказать, не самая неправдоподобная. В Москве (голодной, между прочим) Генрих нанялся с другими мальчишками к какому-то частнику торговать вразнос ирисками. В конце дня продавцы отчитывались перед хозяином, получая положенное вознаграждение. И все было бы славно, если бы однажды хозяин не застучал Генриха за преступлением. Ириски выдавались продавцам на подносе, в виде цельного надрезанного пласта; продавать их полагалось отламывая, сколько требуется. Генрих же повадился перед торговлей, спрятавшись в укромном месте, переворачивать пласт и вылизывать его «спину». Все были довольны: ничего не ведавшие покупатели, хозяин, имевший сполна свою выручку,

и, конечно, сам Генрих. Но, как выяснилось, хозяин доволен был, лишь пока не знал о Генриховых проделках, а проведая о них, избил его весьма крепко. Ирисочный фабрикант сломал Генриху ребро, но сделал из него пожизненного врага всякой частной собственности.

Отомстило за Генриха Советское государство — вскоре оно прибрало к рукам производство ирисок, а заодно и типографию, принадлежавшую Елизавете Карловне, хотя бабушка никому ребра не ломала. Теперь Елизавета Карловна из хозяйки превратилась в наемного управляющего бывшим своим предприятием, но и то сочла для себя везением (она действительно была мудрой женщиной). А народное государство, красноармейской шашкой добывшее монополию на выделывание ирисок, книжек и всего остального, быстро пошло в гору. Задымили повсюду советские уже заводы, поползли в небе меж дымов краснозвездные аэропланы. Планы бумажные претворялись на глазах: сказки в те годы сбывались быстрее, чем сочинялись. Счастливого поколения, чья молодость совпала с молодостью страны, и Генрих не был исключением среди сверстников: вместе со всеми он рос, чтобы сильным и закаленным встретить новую войну. Дореволюционное детство свое он почти перестал вспоминать, и лишь одна странная фраза изредка почему-то всплывала в его мозг: «Мамб, гиб мир папир».

Генрих на следующем фото был уже вполне узнаваем. Из расстегнутого отложного воротника рубашки торчала длинная, почти мальчишеская шея; бритва, даже самая взыскательная, еще не нашла бы себе поживы на нежных щеках. Но, хотя голову его драповым облаком покрывала объемистая, по тогдашней моде, кепка, это был, без сомнения, тот же человек, что сидел сейчас с Петровичем на диване. Все было впереди у юного Генриха; не скоро еще предстояло ему обзавестись очками, лысиной, морщинами и ишемической болезнью

сердца. Взгляд его был тверд и полон оптимизма — таким этот взгляд и оставался до последнего времени, до самого того дня, когда главк счел нужным расформировать «Союзпроммеханизацию»... Дело шло к институту, к женитьбе, так не понравившейся Елизавете Карловне, и к началу трудового поприща.

Однако, нарушив плавный ход истории, в квартире неожиданно раздался дверной звонок. Кто-то из домашних открыл, и из передней послышалось падение костыля, терещенковский бас и тенор дяди Вали. Генрих прислушался и, вздохнув, сгреб со стола фотографии.

— Все, — сказал он Петровичу, — Красная армия пришла.

— Тогда пошли сдаваться, — улыбнулся Петрович.

Дядя Валя, согнувшись, топтался посреди передней, тщетно пытаясь поймать шнурки собственных ботинок. Терещенко разувался, сидя на стуле, и тоже с красным от прилива крови лицом.

— Здорово, камрад! — проревел одноногий таким густым голосом, что костыль его, прислоненный к стене, поехал вбок и снова упал бы, если бы его не подхватил Петрович. Этот костыль сегодня проявлял какое-то особенное своенравие — ему словно надоели привычные артикулы, и поэтому он за все цеплялся, гремел и возил за собой половики.

— Но вы же, братцы, ехали на машине? — удивилась Ирина.

— А что такое? — пробасил невозмутимо Терещенко.

— Ведь вы же... — Она показала рукой как бы плывущую рыбу.

— Про Вальку говоришь? Так я его к штурвалу не допускал.

Дядя Валя, улыбаясь, помалкивал.

Петрович пошел на кухню и посмотрел в окно. Двухцветный «москвич» успел впасть в задумчивость, свойственную всем стоячим авто; передние колеса его увяз-

ли в раскисшей детской песочнице, никому теперь не нужной по причине ноябрьской непогоды.

А в большой комнате раздвигался уже со стуком стол; в серванте заволновался представительский хрусталь. На кухне захлопал холодильник: салатам, колбасе и прочей снеди объявлялась повторная мобилизация. В короткое время приборы и закуски сформированы были в боевые порядки, и начался еще один в этот день праздничный обед. Розовый дядя Валя, у которого улыбка не сходила с лица, поднял рюмку.

— Товарищи... — произнес он певучим тенором. — Товарищи, давайте, как говорится... в общем, за очередную годовщину.

Присутствующие выпили без возражений — кроме, разумеется, Петровича. Терещенко тоже опрокинул в рот свою рюмку, отер усы и лишь потом прокомментировал тост.

— Вальке хватит, — сказал он. — Следующий заход пропускаешь, слышишь... товарищ?

Сам он предложил выпить за здоровье Генриха, который («подлец!») даже не удосужился поставить друзьям отходную по случаю дембеля.

— Что за радость? — мрачно отозвался Генрих.

— Радуйся, что отыскачил! И вообще...

— Что вообще?

Все с интересом посмотрели на Терещенко.

— И вообще, — пробасил он внушительно, — будешь ты пить или нет?

Собрание выпило за здоровье новоиспеченного пенсионера. Дядя Валя, которому велено было пропустить, проглотил тем не менее полную рюмку. Стукнув ею по столу, он поднял на Генриха заслезившиеся глаза.

— Ты, Генрих, гордись! — сказал дядя Валя. — Такая биография... — Он повернулся к Петровичу: — И ты им гордись... Ты знаешь, что у него отец белогвардеец?

— Знаю, — кивнул Петрович.

— Ну вот... А он — коммунист. Сам себя выковал.

Генрих его перебил:

— Ты, Валя, и правда... уймись немного... — И, помолчав, добавил: — Ничего я себя не выковал. Просто я продукт своего времени.

— Брось, не умничай, — прогудел Терещенко. — Валька как есть говорит, хоть и выпимши.

Но Генрих помотал головой:

— Уж ты мне поверь. — Он положил свою руку на лапшу одноногого. — Биография — это дело случая. Сейчас мне бояться нечего, и я могу рассказать один эпизод... кстати, Петрович, и ты послушай.

Все за столом затихли, и Генрих поведал маленькую историю, скрытую некогда от заинтересованных органов.

— Случилось это, не помню, в каком году... где-то в начале двадцатых. Моя бабушка, Елизавета Карловна, была... ну, словом, заведующая типографией. Жили мы в том же доме, что и до революции... я хочу сказать, что бабушке оставили в этом доме квартиру на первом этаже. А под квартировкой находился подвал: хороший такой подвал, вполне сухой, там бабушка прятала кое-какие вещи. И вот однажды забрался я в этот подвал — зачем, не помню, — вообще-то я был разбойник. Забрался я в подвал, зажег керосинку и увидел... увидел, что там кто-то живет, — когда в помещении кто-то живет, это всегда заметно. Я, конечно, перепугался, побежал к бабушке и доложил ей, что в нашем подвале бандиты устроили «малину», — другого мне в голову не пришло. Но бабушка меня успокоила — дескать, поселились у нас во все не бандиты, а один родственник с юга; он поживет и уедет, но рассказывать о нем нельзя никому и ни в коем случае. Хотя я был еще малолеток, но держать язык за зубами жизнь меня уже научила. А таинственный постоялец действительно вскоре исчез. Происшествие почти забылось, и только много лет спустя, когда бабушку арестовали, она на свидании шепотом мне рас-

сказала, что за «родственник» гостил у нас в подвале. Этот человек был, оказывается, специально послан из за границы моим отцом, Андреем Александровичем, чтобы увезти меня... увезти из СССР.

— Понимаете? — Генрих обвел слушателей глазами. — Чтобы увезти меня за границу.

Все удивленно переглянулись. Катя посмотрела на Ирину:

— Ты знала об этом?

Ирина сделала головой неопределенное движение.

— И почему же он тебя не увез? — спросил заинтригованный Петрович.

— Бабушка не отдала.

— Ну а ты... она не сказала тебе, почему?

— Сказала, — нехотя ответил Генрих. — Она сказала — потому что была дура.

Терещенко не все уловил в рассказе про бабушку и посланного человека, но уточнять не стал. Он выразился в том смысле, что все это дела семейные, а фронтовик из Генриха получился хоть куда, и в мирной жизни он изо всех начальников был самый приличный мужик.

— Но если б она меня отдала, — сказал Генрих раздумчиво, — если бы меня не шлепнули на границе... то что вышло бы, Терещенко? Не сидели бы мы с тобой в одном окопе и не пили бы сейчас водку — вот о чем я толкую. Может быть, я стал бы полицейским и разгонял рабочие демонстрации.

Но одноногий не склонен был к отвлеченным рассуждениям.

— Это все философия и идеология, — пробасил он. — Это ты с Валькой поговоришь, когда он проснется.

Дядя Валя и вправду заснул под шумок на своем стуле — с улыбкой на лице. Его отвели в детскую и уложили на Петровичеву кровать.

А застолье продолжалось, и наконец наступило время для Пети, просидевшего весь вечер почти бессло-

весно. Катя просунула ему руку под мышку и что-то пошептала на ухо. Петя на ее шепот улыбнулся, потом поднял голову и оглядел компанию.

— Спеть вам, что ли? — спросил он.

Терещенко сразу оживился:

— Эх, давай, Петро!.. Давно я тебя не слышал.

И Петя без долгих приготовлений начал... Никто на свете — Петрович был уверен, — никто на свете не пел так хорошо. Хозяцкие глаза Терещенко моментально увлажнились, да и все за столом слушали с таким благоговением, что не решались даже подпевать. Сам же Петя оставался странно, несообразно спокойным; он казался почти равнодушным к тому, о чем поет. Только голос... голос и едва уловимый, не похожий ни на чей, Петин запах пьянил придвинувшегося Петровича.

ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Гомон, гам, гвалт — далеко не синонимы, как не синонимы, например, табуретка, стул и кресло. Конечно, повсюду, где люди собираются во множестве — собираются случайно или движимые общей надобностью, — всюду, за исключением погостов и кладбищ, воздух наполняется их голосами и дрожит. Но как отдельный человеческий голос способен звучать в широком диапазоне, так и их совокупность может роптать, галдеть, реветь на самые разные лады. Людская толпа — сообщество нервное, оттого и слова, обозначающие ее шум, все какие-то тревожные: чего ждать от толпы, когда вслед за глотками единый спинной мозг пустит в ход бесчисленные руки и ноги? В этих словах таится вековой страх человека перед себе подобными.

Но не было в языке слов, чтобы описать большую перемену (да и другие перемены тоже) в третьей городской школе, где учился Петрович. Каким одним словом

описать могучее «ура» атакующего войска, изумляющее и потрясающее противника? Или когда трибуны на футбольном стадионе делают такой выдох, что бабушки в прилегающих кварталах крестятся? Но «ура» гложет, ибо войско залегло или перебито; трибуны стихают, потому что «наши» получили в свои ворота. Только третья школа не гложла и не стихала от звонка до звонка все двадцать минут, отведенные на большую перемену. Зато глож и немел всякий ее невольный посетитель (например, родитель, вызванный на учительскую расправу). Казалось, будто кто-то взял все фильмы про войну, сложил в один и пустил на полную громкость, — любой кинотеатр просто бы лопнул от такого кино, а третья школа не лопалась, хотя земля тряслась вокруг нее на триста метров. Сражение шло за каждый этаж: визг, хохот, вой, стоны отчаяния и кровожадные победные кличи, пальба дверей, гудение лестничных перил, хлопки портфелей, пулеметный топот ног... Если даже несчастному посетителю удавалось целым выскочить из школы, то снаружи ему грозили декомпрессия и кессонная болезнь. Неописуемый шум сопровождался стремительным и, казалось, беспорядочным движением по всему зданию, во всех направлениях одновременно. Здесь всяк повиновался мгновенному порыву, и никто не совершал обходных маневров; летучие отряды врубались друг в друга, перемешивались; тела большие, маленькие и совсем крошечные, сталкиваясь, отскакивали друг от друга, сообразно разнице масс. Страшный ветер ходил по школьным коридорам — такой ветер, какой бывает во время сухой грозы и который гнет и ломает даже взрослые тополя. Но, к счастью, в коридорах не росло тополей — только гипсовый погрудный Ленин на втором этаже подпрыгивал и покачивался на своем фанерном пьедестале, драпированном кумачом.

Лишь два человеческих подвига могли существовать и как будто мыслить внутри этого каждодневного урага-

на: многочисленные ученики десяти возрастных категорий и сравнительно более крупные и редкие преподаватели. Как могли они выживать в таких экстремальных условиях — загадка, но некоторые ученые говорят, что жизнь возможна даже на поверхности горячих светил типа Солнца.

Тут можно было поразмышлять. Солнце и другие космические звезды — это практически неугасимые гигантские плавилища химических элементов. Где черпают они силу для своего вечного кипения — тоже была великая загадка, но она, к счастью, разгадана. Различия между атомами веществ и огромное внутреннее давление есть причина и постоянный источник энергии. Если применить параллель, то школа № 3, где учился Петрович, будучи энергетическим сгустком, удовлетворяла обоим названным условиям. Между ее атомами существовали и различия, и противоречия, а уж давление в ее стенах было просто ужасным. Что звезду, что третью школу можно было образно назвать плавильными тиглями, где происходили грандиозные процессы, так сказать, синтеза. Но было между этими объектами и существенное различие. В то время как звезды занимались, по мнению Петровича, делом полезным, то есть производили из простейшего водорода разнообразные сложные вещества, школа поступала наоборот: сплавила разнообразные человеческие элементы в слитную массу, чтобы потом нарезать ее как попало на кусочки весом от 30 до 60 кг. Каждое утро мальчики и девочки поступали сюда с собственным своим зарядом семейных и сословных особенностей в манерах, одежде и прическах, но уже после большой перемены едва ли чем отличались Эйтинген от Гуталимова, а Елифанова от Емельяновой (впрочем, две последние были в разных бантах). Как продукты, сваренные в едином бульоне, приобретают общий вкус и получают название супа, так и школьные ученики к концу дневных занятий

имели, казалось, один вкус и запах и выглядели подчас полностью разварившимися.

Из сказанного можно понять, что третья городская школа была местом не слишком привлекательным для посещения. Однако проблема в том и заключалась, что не посещать ее Петрович не мог. Каждое утро, примерно в одно и то же время, одной и той же дорогой с тяжелым портфелем и еще более тяжелым сердцем влачился он в проклятую школу. По зиме, окна в домах кое-где еще светились; в них за тюлевой кисеей Петрович иногда замечал человеческое копошение. Кто были эти счастливицы, позволявшие себе утром в будень предаваться домашней неге? Пенсионеры, выжившие свой рабочий век, или школьники, удачно подхватившие грипп... кто знает. Но что-то ведь подняло их с постели в такую рань... Неужто одно только злорадное желание — взглянуть из тепла, из затюлья на Петровича, тащившего на морозном ветру, как крест, свой портфель?

Он добредал до улицы, которая так и называлась — Школьная. Вон и сама школа — не сгорела за ночь и не провалилась в тартарары; она слышна была издали, словно какой-нибудь нильский водопад. Но Петрович в мутные школьные воды окунуться не спешил. Было по пути одно место, которое он почему-то не мог миновать, не постояв хотя бы минутку. Позади троллейбусной остановки («Школа № 3») располагалась яма какого-то важного канализационного коллектора, накрытая большой железной решетчатой крышкой. Зимой коллектор извергал густые клубы теплого, не слишком ароматного пара, а на крышке толпилось множество несчастных нахохленных голубей. Здесь-то Петрович и делал свой последний вдох перед погружением. Птицам он выкрашивал захваченную из дома булку, а сам, если оставалось время, с преступным наслаждением закуривал. Обычно на половине сигареты из школы слышалось дребезжание предварительного звонка, и это

был звон по нему, по Петровичу. Он бросал окурок на-земь, проталкивал его ногой под коллекторную решетку, по-мужски сплевывал и, посуровев лицом, шагал уже без задержек навстречу неизбежности.

Школа походила на корабль во время срочной погрузки экипажа. Казалось, еще немного, и она отчалит, уплывет в невесть какие дали наук и образования. О, если бы это случилось, Петрович с радостью помахал бы ей вслед. В действительности, к сожалению, школа, как крейсер «Аврора», стояла на вечном приколе и даже успела дать свое имя улице и троллейбусной остановке. Тем не менее сцена посадки личного состава разыгрывалась ежеутренне. Петрович, конечно же, грузился с самым последним запыхавшимся дивизионом ученической пехоты. Торопливо избегали они по истертому гранитному трапу на крыльцо, украшенное двумя облупленными полуколоннами, и на плечах друг у друга вваливались в школьный холл, безнадежно заслеженный и пахнувший сыростью. Техничка Полина Васильевна уже не просила вытирать ноги, а только со скорбной укоризной покачивала головой. Минувя ее, школьники попадали в длинную, сумрачную, словно трюм, раздевалку. Здесь вешалки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, гасили, подобно волнорезам, буйный смешанный поток учеников и распределяли его согласно классной принадлежности. Ко времени прибытия Петровича вешалка «В» класса (как, впрочем, и соседние «Б» и «Г») ломилась под одеждами, осыпавшимися при малейшем прикосновении.

Мешкать было уже некогда. Петрович доставал из портфеля сменную обувь, отчего тот худел сразу вдвое. В этом портфеле Генрих привозил когда-то из московских командировок мандарины, помятые бананы и твердую очень вкусную колбасу. Но Петрович, унаследовавший портфель, не держал в нем ничего вкусного, и так

называемые бананы, что, случалось, в него попадали, были попросту школьные двойки.

Спешно раздевшись и переобувшись в старые кеды с высунутыми для шика языками, Петрович начинал собираться, где ему искать свой класс. В третьей школе только вешалки с обозначениями классов оставались неизменно на своих местах, а сами классы, кроме младших, кочевали по кабинетам, подобно бродячим зверинцам или пастушеским племенам. Руководило этой миграцией сложное расписание занятий, составлявшееся в учительской и еженедельно менявшееся. Выработка наилучшего расписания очень занимала здешних педагогов, но поскольку лучшее — враг хорошего, то на каждой перемене можно было видеть растерянных заблудившихся учеников, а порой и целые скитавшиеся классы, не знавшие своего жребия: то ли им предстояла география в кабинете биологии, то ли алгебра в химическом. Петровичу даже снилось иногда — снилось, особенно накануне контрольных, что кружил он в тоске школьными коридорами, заглядывая подряд во все кабинеты. И везде, куда он ни заглядывал, к нему обращались чужие насмешливо-недоумевающие физиономии, а его собственного класса не было нигде, будто он канул. Урок пропадал, проходил, как жизнь; тоска большим шприцем вонзалась в грудь и сосала из сердца. Петрович все кружил и кружил, а из-за закрытых дверей доносились чужие голоса и гулко, по-совиному отдавались в пустынных коридорах.

Наяву, однако, все обстояло не так плохо. Просто надо было изловить за фартук какую-нибудь одноклассницу из тех, которые всегда всё знают, и спросить у нее нужный адрес. Сегодня Петровичу удачно попалась Епифанова — она завозила у зеркала, долго и безуспешно пытаясь посадить на свой русый хвостик какую-то цветную прищепку в виде бабочки.

— Привет, Епифанова. Не знаешь, где мы сегодня?

— Я-то знаю. — Епифанова фыркнула, и бабочка у нее в очередной раз отвалилась. — Всем вчера говорили: с утра иняз. С «Б» классом спариваемся. «Немцы» в библиотеку, а ты топай давай на третий этаж.

Поразительно, как девчонки умели быть в курсе не только переменчивых расписаний, но и вообще всех школьных событий. О том, что «англичанка» сегодня заболела, Епифанова знала, наверное, раньше самой «англичанки». Получив исчерпывающую информацию, Петрович двинулся на третий этаж, а Епифанова осталась изворачиваться у зеркала, — при всей ее осведомленности, все-таки глаз на затылке ей не доставало.

Кабинет иностранного языка на третьем этаже был, как ни странно, настоящий кабинет иностранного языка. Такой привилегией — преподавать в одном постоянном кабинете — Эльвира Львовна пользовалась потому, что была завучем. По специальности Эльвира, так же как и чем-то захворавшая Маргарита Аркадьевна, была «англичанкой». В силу этого совпадения два класса, «Б» и «В», по выражению Епифановой, и «спарились» своими английскими половинками в ее кабинете. «Спаривание» это произошло не вдруг, а имело прелюдию в виде пересадок и перепрыжек с парты на парту, толчков и долгих взаимных препирательств. Наконец Эльвира Львовна постучала по столу.

— Так! — сказала она. — Так! Так!

Потом Эльвира, будто фея, взмахнула указкой и велела народам жить дружно. Насчет дружбы народов она пошутила, тем более что скоро выяснилось, что дружба дружбой, а для Эльвиры Львовны народ «Б» отнюдь не равнялся народу «В». Как мать в толпе детей всегда выделяет и слышит своих собственных, так Эльвира видела в классе только «бешников», и только их английское произношение ласкало ей слух. Проблема была в том, что диалекты, на которых изъяснялись Эльвира Львовна и Маргарита Аркадьевна и, соответ-

ственно, их питомцы, существенно разнились. Рассудить, чье произношение правильное, мог бы, наверное, природный британец, но таковых, конечно, в классе не было, да и не британцы тут ставили оценки в классный журнал. Сегодня не стоило рисковать, выясняя фонетические тонкости, потому что от всего англоязычного мира здесь представляла одна только Эльвира Львовна.

Но надо сказать, «бешники» и вправду демонстрировали чудеса дрессировки. Они так ловко шепелявили английскими согласными, будто у них не хватало передних зубов, а звук «р» объезжали так изысканно, словно были все картавыми от рождения. «Бешники» отвечали и переводили с видимым удовольствием, повинуясь легким взмахам Эльвириной указки. Между ними и учительницей чувствовалось то особое взаимопонимание, какое бывает между цирковыми животными и их наставником. На таком высокохудожественном фоне «В» класс совершенно потерялся: его лучшие представители сбивались и мямлили, так что самим делалось противно. Слушая их, Эльвира Львовна хмурилась, мрачнела и наконец не выдержала.

— Не пойму, — воскликнула она раздраженно, — чем это вы занимались с вашей Маргаритой Аркадьевной?!

Посрамленные «вешники» промолчали, но вопрос и не требовал ответа.

— А теперь, — объявила Эльвира Львовна, — теперь показываем, как надо читать. Слушаем все, особенно «В» класс.

В наступившей тишине Петровичу почудилась неслышимая барабанная дробь. Эльвира торжественно взмахнула указкой:

— Вероника, плизз... Кам хиа.

За его спиной послышалось шуршание, и внезапно на Петровича налетел словно ветерок. Ветерок, пахнувший розовым маслом, сбросил с парты его тетрадку,

и, когда Петрович нагнулся, чтобы ее поднять, он успел разглядеть босоножки и две круглые пятки. Эти пятки не расплющивались, а при каждом шаге, как в танце, повертывались слегка внутрь.

Эльвира Львовна не глядела на Веронику, а только слушала, — она ценила в человеке одно лишь его произношение. Петровичу же, наоборот, до произношения было мало дела, — его интересовали сами губы, выпевавшие эту английскую чушь. Он смотрел на них и думал о том, что у Деундяк из его класса рот очерчен правильнее. А у Крючковой глаза больше, хотя и не синие. Правда, у них обеих противные фамилии... Кстати, какая у Вероники фамилия? Петрович попытался вспомнить и не смог. «Ладно, — сказал он себе, — при чем тут фамилия».

Но если не в фамилии было дело и не в английском произношении, то в чем тогда? В круглых пятках? В розовом ветерке?.. Глупости. Все это Петрович уже проходил — ведь он знал Веронику не первый год. Тем более что здесь и без него было перед кем покрасоваться — в классе сидело еще штук двадцать мальчиков. Так пытался он себя образумить и сам себе врал, не решаясь признать, что Вероника застала его врасплох. Наверное, она была в курсе предстоящего «спаривания» классов и успела хорошо подготовиться — ведь пришла же она сегодня без этих... шерстяных рейтуз. Нет, что ни говори, а если Вероника затевала с ним давнюю свою игру, то сегодня она сделала удачный ход. В груди у Петровича образовалась вдруг странная пустота, какая бывает при испуге. Ему надо было срочно собраться с мыслями и выработать ответную стратегию.

Но в этот момент раздался звонок на перемену.

— Инаф, — объявила Эльвира Львовна. — Урок окончен.

Что случилось на уроке английского? Ничего не случилось. По выходе из кабинета Петрович был сбит пробегающим десятиклассником, встал и тут же получил от

кого-то новый толчок. Ужасно захотелось курить. Прямо с портфелем он зашел в туалет третьего этажа. Здесь не так слышалось безумное орово перемены, зато висел холодный невыветриваемый смрад. По счастью, старшеклассников в туалете не было — только ровесники Петровича, да какой-то салага, который застенчиво страдал, взобравшись орлом на замызганный стульчак. Человек пять «англичан» обеих букв курили одну сигарету на всех. Своим появлением Петрович лишь на миг испугал этот интернационал, — порхнувшие было по сторонам курильщики снова приняли вальяжные позы, и окурок материализовался в чьем-то кулаке.

— Вольно, — усмехнулся Петрович и пристроил портфель на заплыванном подоконнике. Сигареты у него были собственные — две штуки в пенале для авторучек.

— Богатенький! — осклабился желтозубый губастый Трубицын. — Оставишь затянуться?

— Угу... — нехотя пообещал Петрович. Он не любил Трубицына и за желтые зубы, и за хвост рубашки, веч но торчавший из ширинки, и — главное — за его постоянный невыносимо пошлый треп. Словарь трубицынский и произношение были целиком заимствованы у старшеклассников. Если бы старшеклассники в школьных туалетах изъяснялись по-английски, то Трубицыну цены бы не было на Эльвириных уроках.

— А чё, паря, телки у вас в классе зашибись, не то что наши коровы. — Трубицын тыкал в грудь «бешника» Терентьева. — Ты нас познакомь.

— Сам знакомься, — вяло отвечал Терентьев.

— Не, в натуре — вон у Верки какие булки... Скажи? — Он толкнул Петровича плечом, ожидая подтверждения.

Но Петрович промолчал. Он бросил сигарету на пол — почти целую — и задавил ботинком.

— Эй! Ты же обещал оставить! — возмутился Трубицын.

— Только не тебе... козел, — ответил Петрович.

Он сказал это тихо, но все присутствующие расслышали, включая салагу, сидевшего на унитазе. Трубицын от неожиданности даже не психанул; он замер, темнея лицом, потом осведомился, тоже негромко:

— Ты это чё — биться хочешь?

— Угу, — кивнул Петрович.

Шутки кончились; с этой минуты они были противники.

— Давай не в сортире, — предложил Трубицын. — Здесь по-нормальному не получится.

— Угу, — согласился Петрович. — Давай после уроков, за школой.

С души отлегло. Теперь только Петрович понял, как давно он не совершал в жизни серьезных поступков. Тепло его дрожало, но это был не страх, а жажда действия. Все прочее потеряло значение, и даже мысли о Веронике отошли на задний план. Разделаться с Трубицыным, уничтожить его — вот что стало главным. Трубицын, тварь... Вот почему Петровичу так противна была эта школа! Ну уж сегодня все будет кончено — кончено раз и навсегда. Он подумывал даже, не убить ли ему этого паршивца совсем — пойти вниз в столовую, украсть ножик, и ага...

Так пролетела дневная сессия — впервые за многие месяцы незаметно. Уроки Петрович не слушал. То и дело оборачиваясь назад, он искал взглядом Трубицына, словно хотел удостовериться, что тот еще не сбежал. Но Трубицын не собирался бежать, а, набычась, отражал Петровичевы огненные взоры и своими карими глазами посылал ему ответные лучи смерти. На переменах враги держались друг от друга на отдалении, чтобы не сцепиться прямо в школе. Тем не менее слух о предстоящем сражении скоро обошел «В» класс, не только наэлектризовав его мужскую половину, но даже и в женской прогнав скуку. Постепенно сформировались две

партии, стоявшие одна за Петровича, а другая за Трубицына. Как заметил с досадой Петрович, за него выступали в основном девочки, не любившие толстогубого Трубицына за хамство, а мальчики в большинстве сочли все-таки, что Петрович оскорбил Трубу незаслуженно. Но независимо от того, как распределялись голоса болельщиков, ясно было, что поединок сегодня не обойдется без зрителей.

Так и получилось. «Вешники» мужского пола вышли после занятий группой человек до десяти, словно собрались в культпоход. Посоветовавшись с минуту, они попрыгали с крыльца и, по-собачьи растянувшись цепочкой, двинулись в обход школьного здания. Обогнув два угла, мальчики попали на хоздвор, пересекли его и скрылись за котельной пристройкой, которая давно уже бездействовала и которую полагалось бы сломать еще лет двадцать назад. То, что происходило за пристройкой, на так называемом пятачке, уже не могли видеть сторонние наблюдатели — не могли, потому что пятачок огораживали две слепые стены и забор. Спасибо архитектору, позаботившемуся устроить для школьников такое удобное место, где они могли бы покурить в хорошую погоду или в подражание взрослым выпить какой-нибудь шестнадцатиградусной дряни. И не было удобнее ристалища для турниров, кровавых и не очень, без каких не обходится ни одно заведение, где подрастают мужчины. Многие видели эти щербатые кирпичные стены, но о чем знали стены, того не хотели знать школьные преподаватели. Словно по уговору, они никогда не совали носа на пятачок — и правильно делали.

Сюда-то и пришли дуэлянты в сопровождении одноклассников, прятавших свое желание поглазеть на драку за суровыми и значительными минами. Убедившись, что никого из старших поблизости нет, мальчишки побросали в сугроб портфели и зачем-то прогнали снежками крутившуюся тут же компанию дворняг. Собаки

и сами бы ушли, ведь их на школьные задворки привела не жажда зрелищ, а естественный интерес к столовским обедкам. Затем Петрович и Трубицын разделались, сдав пальто на хранение секундантам. Роковое мгновение близилось, но... то ли приготовления к драке были слишком долгими и церемонными, то ли мороз остудил Петровичу голову, — он вдруг почувствовал, что благородная ярость, переполнявшая его до сих пор, неожиданно улетучилась. Как ни противна была трубицынская физиономия, Петровичу вдруг показалась странной сама надобность бить по ней кулаком.

Но ему помог сам Трубицын, который размахнулся... и первым же ударом выбил из Петровича несвоевременные сомнения. Дело началось. Махались они «боксом», как большие: кататься по земле, сцепившись в рукопашную, считалось уделом малолеток. Будь соперники постарше, а кулаки у них потяжелее, кто-нибудь наверняка был бы скоро повержен, так как оба мало заботились о защите. Однако силы их хватало только на то, чтобы прибавлять друг другу все новые синяки. Пускать в ход ноги запрещалось по уговору, однако обоим то и дело подмывало отвесить противнику пинка. «Ногой?!» — возмущенно хрипел Петрович. «Сам ты ногой!» — злобно отвечал Трубицын. Несколько минут бойцы топтались в снегу, кое-где уже обгаженном кровью из разбитых носов. Зрители, поначалу бурно обсуждавшие каждый удар, примолкли; кто-то сердобольный даже посоветовал им «завязывать» и предлагал объявить ничью. Трубицын, чьи толстые губы совсем распухли, сопел уже без особого энтузиазма и, наверное, от ничьей бы не отказался, но Петровича словно «зашкалило». Он и сам был уже почти не в состоянии поднять руки, однако, навалившись на противника всем телом, вошел с ним в клинч. Лица их сблизились так, что Петрович мог бы укусить Трубицына за нос, но это было против правил.

Надо полагать, драка все же кончилась бы ничьей, если бы... если бы Трубицын не проявил неожиданную находчивость. А может быть, ему просто надоело толкаться с Петровичем, — одним словом, он вдруг резко подался назад и, увлекая Петровича за собой, упал спиной в снег. Но, падая, Трубицын успел выставить ноги и этими ногами так подбросил Петровича, что тот, перевернувшись в воздухе, угодил в сугроб. Мальчишки, с самого начала больше сочувствовавшие Трубицыну, пришли в восторг от удачного приема.

— Все! — закричали они. — Победа!.. Труба победил!

И хотя Петрович, выбравшись из сугроба, кинулся было снова в бой, несколько рук его удержали. Между противниками встал Васильев — он пользовался авторитетом в таких делах, потому что был в классе самый рослый, рассудительный и к тому же второгодник.

— Хорош, — объявил Васильев. — Вы обои свое доказали.

Петрович понял, что его не отпустят, и перестал вырываться. Васильев нахлобучил ему шапку и важно провозгласил:

— Всё, пацаны, теперь мир!.. — И он обернулся к Трубицыну: — Так, Труба?

— Мне-то фто... — мрачно прошепелявил Труба разбитыми губами и длинно кроваво сплюнул. — Мир так мир.

Ноги у него заметно дрожали.

— Ну а ты? — строго спросил Васильев. Петрович помолчал и нехотя согласился:

— Ладно... Но пусть он про нее больше такого не скажет.

— Про кого?

Мальчишки переглянулись:

— Это он про ту, в колготках, из «Б» класса.

— Стало быть, они бабу не поделили...

— Да сдалась она мне... — Трубицын опять сплюнул и прибавил в адрес Вероники непечатное слово.

Петрович опять рванулся к нему, и опять Васильев его удержал.

Кончено... Минуту спустя Петрович уже одевался. Когда он застегивал пальто, руки не слушались его и дрожали. И ноги под ним тоже дрожали — не хуже, чем у Трубицына. Петрович подумал, что сейчас ему хватило бы легкого тычка, чтобы упасть и не подняться.

Но уже никто не давал ему тычков. Мальчики разобрали портфели и подались к выходу. Они болтали о чем-то безотносительно к произошедшей драке. Никто не приобнял Петровича за плечо, не сказал ему слова ободрения, не позвал с собой. «Ну и черт с ними!» — пробормотал он. Он сел на деревянный ящик, стоявший у стены, и откинулся. Васильев, уходивший последним, равнодушно спросил:

— Ты чего уселся? Пошли.

— Сейчас, — махнул рукой Петрович. — Только снегом умоюсь.

Оставшись один, он действительно отер лицо снегом. Средний палец на правой руке сильно болел и на глазах опухал. Морщась, Петрович мокрыми руками влез в портфель и нашарил там пенал с последней своей сигаретой. Сейчас, когда схлынуло воинственное возбуждение, душу его затягивало какой-то тоскливой мутой. Пережитая военная конфузия соединилась с досадой на свой язык: зачем, спрашивается, он открылся насчет Вероники. А в перспективе у Петровича было неизбежное объяснение с домашними и, как следствие, испорченный остаток дня. А завтра опять в школу, только уже с разбитой физиономией... «Тьфу!» — Он плюнул меж коленей, и плевок его получился такой же красный и тягучий, как у Трубицына.

Неожиданно где-то совсем рядом скрипнул снег. Он повернул голову и увидел Веронику. Она была в замшевых сапожках, короткой белой шубке, а губы ее, вопреки морозу, алели, словно накрашенные.

— Курить вредно, — сказала она.

— Это ты... — нахмурился Петрович. — Чего приперлась?

— Так... — Она повела плечом. — Ребята твои сказали, что ты здесь.

— А тебе что за дело? — Он старался спрятать от нее свое разбитое лицо.

— Да ничего... — Вероника отставила ногу и посмотрела на свой сапожок. — Это не ты того губастого так разукрасил?

— Он меня тоже. — Петрович усмехнулся.

— Правда? Покажи.

— Отстань.

— А они мне сказали... — она прищурилась, — они сказали, что ты с ним из-за меня подрался. Не врут?

Петрович отвернулся:

— Это неважно...

— А для меня важно.

Она шагнула ближе и наклонилась:

— Ну покажи, где он тебя.

Как Петрович ни уворачивался, Вероника поймала руками его лицо.

— Совсем не страшно. — Она по-матерински улыбнулась. — Вот здесь только чуть-чуть.

Она дотронулась пальцем до его распухшей скулы, а потом вдруг придвинулась и, окатив запахом розового масла, поцеловала его прямо в синяк. Петрович оцепенел от неожиданности, а Вероника, придерживав свою белую шапочку, выпрямилась и огляделась по сторонам. Она огляделась на предмет ненужных свидетелей, но какие там были свидетели — две слепые стены и забор.

— Ладно, — сказала Вероника после небольшой паузы. — Я пошла.

Она прибавила к словам долгий синий многозначительный взгляд, но ответа так и не дождалась. Петрович сидел неподвижно, словно парализованный, а в ногах

его, умирая, шипела выпавшая из пальцев сигарета. Уже белая шубка скрылась за углом котельной, а он все сидел, глядя бессмысленно ей вслед. И неизвестно, сколько бы он так просидел, если бы из-за угла этого вдруг не показалась собачья бородатая морда и не уставилась в свою очередь на Петровича. Дворнягам пора было на школьную кухню, а ему... что ж, ему пора было топать домой. Теперь только почувствовал он, что продрог и голоден.

Выйдя на хоздвор, Петрович встретил там школьную техничку.

— Батюшки! — Полина Васильевна всплеснула руками. — Кто это тебе так разудедал?

Петрович, вспомнив дяди-Валино присловье, улыбнулся ей непослушными губами:

— Ничего, Полина Васильевна, до свадьбы заживет.

Свадьба могла подождать, это правда. А вот обед не мог ждать, пока к нему вернется нормальный прикус. Только севши за стол и попробовав есть, Петрович обнаружил, что челюсти его перекошились и отказывались не только жевать, но и вообще как следует схлопываться. Он улыбнулся, вспомнив Ирину старую шкапулку для ниток, у которой створки вот так же не сходились между собой, — и улыбка отдалась ему болью за ухом. Ко всему прочему, не гнулся и не хотел держать ложку выбитый палец. Оставалось утешаться надеждой, что и Труба, если он обедал в эту минуту где-то за тридевять домов отсюда, тоже чувствовал себя не лучше.

Глядя, с какими мучениями он ест, Ирина вздыхала и по-бабьи качала головой — прямо как техничка Полина Васильевна. Удивительно, до чего эти женщины впечатлительны. Наконец Петрович не выдержал.

— Послушай, Ирина, — взмолился он, — я ведь все уже тебе объяснил. Не вздыхай, пожалуйста, а то у меня аппетит пропадает.

Насчет аппетита это он, конечно, преувеличил. Обед Петрович умял до последней крошки, несмотря

на неисправные челюсти. Наевшись, он объявил Ирине, что идет к себе, и попросил его больше не беспокоить, потому что он будет заниматься.

— Занимайся, — кротко согласилась Ирина. — Теперь самое время тебе позаниматься. Но имей в виду, что вечером будет у тебя серьезный разговор.

Однако, закрывшись в своей комнате, Петрович и не подумал приступить ни к каким занятиям. Наоборот, он пнул с отвращением ни в чем не повинный портфель и задвинул его ногой под стол. Вместо занятий Петрович улегся навзничь в кровать и, заложив руки за голову, уставился в потолок. В тишине и покое он хотел привести в порядок свои мысли и впечатления, но нельзя сказать, чтобы это легко ему удалось. Сначала перед его мысленным взором шли, как на телеэкране, повторы сегодняшних происшествий, из которых главным был, конечно, поцелуй Вероники. Затем незаметно к делу подключилась фантазия: поначалу она только придавала реальным событиям новую форму, разливая их, так сказать, по своим сосудам, но потом разгулялась и стала пририсовывать к ним разные продолжения. Так, негодяй Трубицын получил сразу несколько вариантов своего будущего — один ужаснее другого. Однако гораздо сильнее, чем судьба Трубицына, Петровича занимала его собственная судьба. Здесь фантазия рисовала благоприятную перспективу, хотя довольно несвязную и туманную. Во-первых, эта перспектива была обратная, потому что даль ее не сходилась в одну точку, а, наоборот, выходила вся из сегодняшнего нечаянного поцелуя на школьных задворках. Во-вторых, фантазия в принципе не умела нарисовать Петровичу его будущность в виде ряда событий или какого-то маршрута, а предлагала ему словно набор картин, хотя и весьма увлекательных. Везде на этих картинах присутствовали и голубые Вероникины глаза, и губы цвета вишни, и — что уж таить греха — некоторые невидимые днем, но соблазнительные

(по уверению фантазии) части ее тела. И было там множество поцелуев, от которых Петрович уже не цепенел, а принимал в них равное и деятельное участие.

Нет, он не строил никаких планов, а если и пытался, то фантазия вмешивалась и рушила все логические конструкции. Но постепенно и фантазия теряла монополию в сознании Петровича: в ее картинах стали появляться новые, непрошенные действующие лица, и зашмыгались, и слышимо заговорили. Фантазия уступала — уступала тому, кто был сильнее нее.

Спящий Петрович не видел, как стемнело и наступил вечер. Пришел откуда-то Генрих, следом за ним вернулись с работы Катя с Петей. Старшие ужинали, потом на кухне о чем-то говорили, но Петрович ничего не слышал, потому что спал. Наконец он проснулся, — кто-то заметил, что под дверь в его комнату показалась полоска света.

— Иди, — сказал Генрих Пете. — Бери его тепленьким.

Когда Петя вошел в Петровичеву комнату, тот сидел растрепанный на смятой постели и пытался пошевелить распухшим пальцем.

— Привет, — поздоровался Петя. — Мне сказали, что ты тут усиленно занимаешься с самого обеда. — Он покосился на портфель, задвинутый под стол.

— Угу... — ответил Петрович.

Петя присел к нему на кровать:

— Вообще-то мне велено с тобой поговорить.

— Я понял, — кивнул Петрович.

Наступило молчание. Петя почесал себя за ухом, за чем-то огляделся и снова почесал.

— Ты пойми, — сказал он наконец, — мы не можем забрать тебя из школы, как забрали из детского сада. Если у тебя проблемы, с ними надо справляться.

— Я справляюсь... как видишь.

— Да? Ну-ка, покажись... — Петя усмехнулся. — Положим, справляешься... А как у тебя, товарищ, с уроками?

— Нормально... палец вот только болит... Сейчас умоюсь и сяду.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Ну и славно... — Петя покачался на кровати. — Я, собственно, за этим и приходил.

Кровать под Петиным весом заохала, подбрасывая Петровича. Он искоса с уважительной завистью взглянул на Петин могучий торс.

— Послушай, — спросил он, — а когда ты стал... ну, таким... я имею в виду — вырос?

— Возмужал, ты хочешь сказать?.. — Петя задумался на мгновение и улыбнулся: — Не знаю... наверное, когда в Катю влюбился. А почему ты спрашиваешь?

— Так... Пора бы и мне уже... возмужать.

— Ты этого хочешь?

— Очень.

Петя посмотрел на него внимательно:

— Я знаю один способ. Надо поменьше об этом думать, и ты сам не заметишь, как это случится.

— Не замечу?

— Ну... может быть, заметишь. Главное — не торопить события. Помнишь, мы с тобой читали про чайник, — чем меньше о нем думаешь, тем быстрее он закипает.

На том и завершился «серьезный разговор».

Петрович думал над Петиными словами, но увы — жизнь не хотела слушаться никаких установок. Во-первых, влюбившись по уши, Петрович не почувствовал никакого возмужания, а, наоборот, размяк и ослабел душой. Во-вторых, как ни пытался он отвлечься мыслями от Вероники, у него ничего не получалось. Всякий слух о ней обжигал его изнутри, всякая нечаянная встреча с ней в школьных коридорах подвергала его сердце испытанию на разрыв. «Чайник» Петровича неуправляемо бурлил, изливая в душу кипяток и стуча черепной

крышкой. Трагедия была в том, что они учились в разных классах, отчего Петрович ревновал Веронику ко всем «бешникам», включая девочек. Зато английское «спаривание» превратилось для него в какой-то сладостный кошмар. Здесь Петрович совсем себя не контролировал: беспричинно грубил Эльвире Львовне и с легким сердцем хватал двойку за двойкой. Слушал он только шуршание за своей спиной и ждал только одного — когда Эльвира вызовет Веронику.

Все эти дни они ни разу не виделись наедине. Это было странно, потому что при желании Вероника могла запросто устроить свидание — могла, тем более что Петрович подавал к тому множество поводов. Он старался показаться ей на глаза на каждой перемене; он даже сумел выучить расписание — не свое, конечно, а «Б» класса. Но Вероника вела себя не так, как раньше, — она словно нарочно держалась на отдалении. Что это было — рассчитанная игра, намеренная уловка или... она стала его бояться? — Петрович не понимал. Но инстинкт подсказывал ему: бесконечно так продолжаться не может.

И инстинкт его не обманул. Это случилось спустя восемь дней, если считать от того поцелуя, который был как первоначальный взрыв, породивший Вселенную. В этот день с утра классная руководительница «вешников», математичка Зоя Ивановна, объявила, что вместо ее урока назначается репетиция к ежегодному смотру «строя и песни». Мероприятие это было Петровичу глубоко ненавистно, — маршировать, распевая хором какую-то бодрую ахинею, — что может быть глупее... и унизительнее. Со времени прошлого смотра прошел год; Петрович стал на год старше. Он твердо решил, что на сей раз откажется от участия в коллективной клоунаде, чего бы ему это ни стоило. Улучив момент, когда классная осталась одна, он подошел к ней и тихо, но твердо заявил:

- Зоя Ивановна, я маршировать не буду.
- Заболел? — спросила она подозрительно.

— Нет, — ответил Петрович, — не заболел. Просто не буду.

Она взглянула на него с искренним изумлением.

— Но почему же, Гоша?

— Так... Не хочу строить из себя идиота. Хотите — ведите меня к директору, хотите исключайте из школы.

Зоя Ивановна возмутилась:

— А что, если все так скажут: «Не хочу, не буду», — что тогда?

— Не знаю... — Петрович усмехнулся. — Школа обвалится.

Зоя Ивановна надолго замолчала. Она щелкала шариковой ручкой, напрягая свои педагогические извилины.

— Хорошо, — сказала она наконец. — То есть ничего хорошего... Раз ты такой умный, будешь у меня в классе убираться вне очереди. Надеюсь, с тряпкой в руках ты не будешь чувствовать себя идиотом?

— Никак нет, Зоя Ивановна! — просиял Петрович. — Спасибо.

— Пожалуйста... — вздохнула классная. — Глаза бы мои не смотрели... Да, постой... ребятам скажешь, что у тебя нога болит.

Вообще-то уборка класса производилась учениками по очереди, но часто служила воспитательным целям. Ничего здесь не было необыкновенного, ведь труд как исправительную меру изобрели не в третьей школе. После занятий Петрович сходил к Полине Васильевне за ведром и шваброй, набрал в туалете горячей воды и принялся за дело. Двигая столы, он выметал из-под них конфетные фантики, пуговицы, записки... одним словом, обыкновенный школьный мусор. Нет, за этим занятием Петрович не чувствовал себя идиотом — он мел и что-то насвистывал, мел и насвистывал... и не видел, что в дверях кабинета давно уже стоит Вероника. Лишь случайно разогнувшись, он боковым зрением

уловил ее присутствие и вздрогнул. Внутри него сделалось опять горячо, будто он хлебнул кипятку.

— Привет, — сказала она.

— Здравствуй... Как ты меня нашла?

— Ну... просто ты не вышел из школы, я и подумала...

— Значит, ты меня пасла?

Она улыбнулась:

— Ты же пасешь меня.

Петрович смущенно покачивал швабру.

— Хочешь, помогу убраться? — предложила Вероника.

— Ты испачкаешься.

— Не страшно. — Она встряхнула золотистым хвостиком. — Давай, а то на тебя смотреть жалко, на неумеху.

— Ладно, — усмехнулся Петрович. — Покажи, как надо.

Вероника мыла полы легко и по-женски ловко. Движения ее были изящными, словно она не шваброй орудовала, а исполняла балетный этюд.

— Хорошо у тебя получается, — сказал Петрович негромко, со значением.

— Что?.. — Она разогнулась и одернула платье. — Знаешь... ты смотри куда-нибудь в сторону... ну хоть в окно.

Нет, конечно, ни в какое окно Петрович смотреть не мог — только на Веронику. И весь бы век смотрел он, как танцует она со шваброй, как играет ямочка на ее щеке, порозовевшей, надо думать, от работы. Однако всякому удовольствию приходит конец. Долго ли, коротко, пол был вымыт, парты расставлены по местам, и пришло им время решать, как быть дальше. Остаться в классе? Но они знали, что Полина Васильевна после уборки запирала все кабинеты. Пойти на улицу? Но там было холодно и множество посторонних глаз.

— А пошли в раздевалку, — предложил Петрович, — в спортзал. Там сроду не запирают.

Вероника согласилась, и они пошли сдавать технической арендованный инвентарь. Полина Васильевна по-

смотрела на парочку пристально поверх очков, но ничего не сказала.

Спортзал, как и бездействующая котельная, представлял собой пристройку. Изнутри школы к нему вел довольно длинный неосвещенный коридор. Входу собственно в зал предшествовали две двери раздевалок, которые действительно никогда не запирались, потому что, кроме деревянных лавок и крючков на стенах, в них ничего не было. Так как роль ведущего взял на себя Петрович, то и раздевалку он выбрал свою — ту, что для мальчиков. Они вошли — он первый, Вероника за ним. В темном, без окон, помещении, как всегда, пахло потом, однако сейчас Петровичу почудился в душноватом воздухе новый дополнительный запах. Не сразу, но приглядевшись, заметили они на одной из пристенных лавок лежащее человеческое тело в черном костюме. Вероника дернула Петровича за рукав, но было поздно: тело зашевелилось, уронило руку и... подняло голову. Это был преподаватель литературы Виктор Витальевич, прозванный учениками Жювом, за сходство с известным комиссаром из фильма о Фантомасе. Жювова голова покачалась и со стуком вернулась на лавку.

— Пошли отсюда, — прошептала Вероника.

Они попятились было, но Виктор Витальевич снова пошевелился.

— Эй!.. Пст... — воззвал он слабым голосом.

— Что вам? — осторожно спросил Петрович.

— Помогите сесть, — попросил Жюв. — Дай руку.

Поколебавшись, Петрович подошел и взял его за руку.

— Оп! — сказал Жюв и принял вертикальное положение. — Бр-р-р... — Он потряс головой и уставился на Петровича: — Тебе чего тут надо?

— Мне?.. — Петрович пожал плечами и вдруг усмехнулся: — А вы сами что тут делаете?

— Я?.. — Жюв на мгновение задумался. — Я здесь отдыхаю — понял? От вас ото всех...

Сказав это, он поднял голову и обнаружил наконец стоящую поодаль Веронику.

— А, да ты с дамой! Тогда извини... Освобождаю помещение.

Жюв попробовал встать, но плюхнулся задом опять на скамью.

— А вообще-то, молодые люди... — он неопределенно повел рукой, — шли бы вы на свежий воздух. Ну что вам делать в этом гадюшнике? Ведь вся жизнь у вас впереди... А мне, — он накренился, — мне дали бы тут спокойно сдохнуть.

Силы оставили Виктора Витальевича, и он снова повалился на лавку.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПАВИЛЬОН

— Ваша история, Георгий Петрович, банальна. Если хотите, я могу продолжить ее в обе стороны.

— Не хочу.

— И все-таки... какого лешего вам понадобилось поступать в художественное училище? Вы ведь совершенно не готовы.

— Угу... Они мне так и сказали.

— Ну вот. Стоило вам ехать за тысячу километров, чтобы это услышать. Вы же не Фрося Бурлакова, должны бы сами понимать.

— Фрося Бурлакова поступила, между прочим. А у меня прадедушка в этом училище преподавал.

— Как трогательно.

— Да нет... просто Ирина считает, что у меня к рисованию наследственные задатки.

Станислав Адольфович иронически хмыкнул:

— Я, простите, не знаю, кто такая Ирина, но к рисованию у вас задатков не больше, чем к чему-либо другому.

— Или не меньше. — Петрович насупился.

— Ну-ну, я не хотел вас обидеть. Только мне непонятно... вот выставили вас из училища с вашими, с позволения сказать, работами. Почему же вы сразу не отправились восвояси, на волжские берега? Кой черт занес вас в этот павильон? — Станислав Адольфович обвел взглядом свое пыльное царство с огромным столом-плазом посередине.

— А что я там забыл? — усмехнулся Петрович. Он посмотрел в мутное окно павильона, к которому снаружи лип московский мелкий дождик, и покачал ногой. — Нет, правда... Тетя Таня говорит, что еще не все потеряно.

— Тетя Таня?

— Ну да; я же вам говорил, что живу у тети Тани. Она считает, что если я уеду к себе, то буду весь год бить баклуши, а потом загремлю в армию. Она архитектор в Моспроекте.

— И что же — тетя полагает, что у нас вы занимаетесь делом?

— Не знаю... Она считает, что здесь я приобщаюсь к цивилизации.

Станислав Адольфович рассмеялся своим несколько дребезжащим смехом:

— Вот как... Но почему она не приобщает вас к цивилизации у себя в Моспроекте?

Петрович пожал плечами:

— Наверное, не хочет из-за меня краснеть... И потом она говорит, что дизайн мне ближе по профилю.

— О да, дизайн — это ваш профиль...

Станислав Адольфович понюхал у себя в стакане, сделал маленький глоток и вернул стакан в подстаканник.

— Ваша тетя нашла, куда вас пристроить... Однако я бы все-таки отправил вас домой.

Петрович улыбнулся:

— Но вы не моя тетя.

— Да, я не ваша тетя, — согласился Станислав Адольфович. — Но я обязан приобщать вас к цивилизации, хотя бы

по должности. Например, замечаю вам, что вино вы пьете залпом, как пролетарии из макетного цеха, а это между тем настоящее божоле. Вас угощать неинтересно.

Петрович покачал ногой. Вино легко возгонялось в молодом теле, выделяя законсервированное солнечное тепло и философскую энергию. Но философствовать с премудрым Станиславом Адольфовичем было рискованно, и потому Петрович дожидался прибытия остальных обитателей павильона.

Павильон № 44 Выставки достижений народного хозяйства был примечателен тем, что экспонаты его не оставались в нем ночевать, а разъезжались каждый вечер кто куда. Например, Станислав Адольфович ежевечерне мигрировал в один из центральных московских переулков, в свою недавно обретенную чудесную четырехкомнатную квартиру. До Петровича доходили сплетни, будто вся сознательная жизнь его прошла в бесконечной череде квартирных обменов. Зато теперь, когда главная цель была достигнута, Станислав Адольфович остаток своих дней посвящал проекту очень интересной люстры для гостиной.

Где и в какие футляры укладывались на ночь другие дневные жители павильона — этим Петрович не особенно интересовался. Знал он только, что дальше всех забирался художник Авакян. Карен Артаваздович проживал за городом и вообще за пределами цивилизации — в районе каких-то Белых Столбов, что находятся к югу от реки Пахры.

Между тем времени было десять часов с хвостиком. За стеной уже слышались голоса и хлопанье вытряхиваемых мокрых одежд — это подтягивались на службу соседи: отдел пропаганды технической эстетики. Петрович расплел ноги, выбрался из кресла и потянулся:

— Пойду покурю.

Курилка была устроена в застекленных сенях парадного, никогда не отпиравшегося входа. Здесь Петро-

вич нашел фотографа, Сашу Юсупова, кивнувшего ему довольно безразлично. Саша носил трижды простроченные джинсы «Дабл Райфл» и сигареты употреблял американские, сгоравшие в несколько затяжек.

Помолчав с Юсуповым, Петрович вернулся к себе и снова занял кресло подле Станислава Адольфовича. Комната с плазом так и не пополнилась сотрудниками, поэтому оставалось лишь созерцать ее знакомый, давно приевшийся интерьер. Тут стояли два кульмана, крытые пожелтевшим ватманом, и большой шкаф с бумагами, служивший пьедесталом пластилиновому, серому от пыли макету трактора. Стены комнаты сплошь были увешаны планшетами с изображениями разных дорожных машин, выполненными в романтически-голубоватых тонах. Машины эти никогда не работали на дорогах; они ездили только на выставки художественного конструирования, но и то — в виде пластилиновых или пенопластовых макетов. Вернувшись с выставок, они миновали стадию железного воплощения и делались сразу достоянием истории отечественного дизайна.

В одиннадцать Станислав Адольфович оторвался от эскизов своей люстры и обвел комнату глазами.

— Странно... — пробормотал он. — Наверное, у Олега опять сбежала собака.

— Очень может быть, — согласился Петрович.

Олег Михайлович, художник-макетчик, был хозяином дога по имени Карл, но хозяином только формально. На самом деле он находился в полной зависимости и от пса, и от супруги, и даже от своего старого трофейного «опеля», давно безвыездно стоявшего в гараже. Но супругу и «опель» хотя бы не приходилось ловить по всем Черемушкам, а с Карлом такое случалось довольно часто.

Станислав Адольфович побарабанил пальцами по столу.

— Странно, странно... — повторил он, но в голосе его не слышалось особенного удивления.

Изумиться ему пришлось в следующую минуту, когда дверь в комнату приотворилась, и на пороге... Нет, никто не переступил порога: в образовавшуюся щель сначала просунулась голова, отороченная снизу густейшей черной бородой. Борода подвигалась, и где-то в воронном волосе сахаром блеснули зубы.

— Всем привет!

Карие глаза Авакяна из-под мохнатых бровей лучились робко и ласково. Следя на полу необыкновенно грязными ботинками, он бочком стал пробираться на свое место и, как всегда, зацепился сумкой за угол плаза.

— Прошу прощения...

Станислав Адольфович откинулся на стуле:

— Нет слов, Карен! Сегодня вы побили все рекорды.

Действительно, обычно Авакян не появлялся раньше полудня.

— Сам удивляюсь, — улыбнулся застенчиво Карен Артаваздович. — Сегодня почему-то меня в метро не проверяли.

Это был год, когда в метро проверяли документы у всех «армян» — то есть у лиц с соответствующей внешностью. Но и с несоответствующей — тоже иногда проверяли. Так однажды попался Петрович и, разумеется, без документов. Милиционеры из своего подземного отделения позвонили Станиславу Адольфовичу, и тому пришлось поручиться за юношу именем Технической эстетики.

Водная преграда в виде реки Пахры, идентификация личности в метро — это были еще не все трудности, с которыми сталкивался Карен Артаваздович по дороге на службу. Последнее препятствие представлял собой забор, ограждавший ВДНХ по периметру. Забор был не слишком неприступен, но грязен и изобилует торчащими деталями, часто портившими штаны; к тому же сигать через него Авакяну мешала его медвежья комплекция. Почему, имея служебный пропуск, худож-

ник предпочитал такой сложный способ проникновения, можно было только гадать.

Зато уж добравшись до рабочего места, Авакян предавался деятельности на все 125 рублей оклада. Вновь и вновь на казенный ватман натекали долгие, туманные акварельные полосы: коричневые, зеленые, тревожно-багряные. Петрович подозревал, что Карен вдохновлялся ежедневными видами из окон своей электрички. Лист за листом ложились справа и слева от Карена, сохли, падали на пол, чтобы вечером всем отправиться в корзину для использованных бумаг. Никто в течение дня не посягал на Авакяново творческое уединение, разве что иногда Петрович, но его извиняла молодость лет.

И теперь Петрович двинулся было вслед за Кареном Артаваздовичем, но... в это время в дверях послышалось знакомое то ли покашливание, то ли посмеивание:

– Кхе-кхе...

Митрохин вошел в комнату, подталкивая перед собой Ниночку, сердитую и смущенную.

– Смелее, девушка, я прикрываю вас с тыла. — Он дал ей легкого шлепка.

– Здравствуйте, — пролепетала Ниночка и, не оглядываясь, ударила Митрохина по руке.

– Морнинг, господа!.. Кхе-кхе... Привет, вундеркинд из Поволжья.

– Привет, парашютист, — сурово отозвался Петрович. — Что так поздно сегодня? Затяжным прыгали?

– А это не твое дело, как мы прыгали... правда, Ниночка?

– Отстаньте наконец, — огрызнулась девушка уже из-за шкафа.

Федор Васильевич Митрохин и вправду был когда-то парашютистом и воздушным десантником, но давно уже чудесным образом спланировал «в дизайн». Теперь вот служебному провидению угодно было усадить их нос к носу с Ниночкой за двумя сомкнутыми столами.

Как павильон № 44 представлял собой чужеведомственный островок на выставочной территории, так и эти два стола были своего рода островком в комнате с плазом. Митрохин и Ниночка числились не в группе дорожной техники, а в отделе пропаганды технической эстетики. Однако островок их не был похож на мирный оазис — больше он напоминал разделенный Кипр, где две общины противостояли друг другу столь же непримиримо, сколь и безнадежно. Лед и пламень — коллеги сражались ежедневно, до истечения угольных слез на Ниночкины щеки. Они воевали и поверх столов, и под ними. Под столами особенно, потому что там Ниночка держала тепловентилятор, которым согревала свои вечно зябнувшие ноги. Но у Митрохина ноги не зябли, скорее наоборот, и потому он часто со злобой пинал задушливую машинку. А однажды, улучив момент, он сунул в прорезь вентилятора авторучку. Вентилятор, крикнув, подавился, и комната наполнилась вонью горелой пластмассы... Петрович помнил, как рыдала Ниночка: красиво, молча, стоя у окна с высоко поднятой головой, чтобы из глаз, по возможности, не вытекали слезы. Тогда даже тишайший Олег Михайлович не выдержал и сделал Митрохину замечание.

— Уж это, Федор, совсем не по-мужски, — пробормотал он, глядя в сторону. — Аппарат, он того... денег стоит...

Но десантники не сдаются.

— Это невозможно терпеть! — закричал Митрохин на всю комнату. — Я джентльмен, я не допущу, чтобы у меня ноги потели!.. Я... я ей валенки принесу. — И он захекал в сторону Ниночки.

Петрович не знал, чью сторону ему в душе принять. Слов нет, Митрохин вел себя по-свински, однако Ниночка во многом сама была виновата. Почему, вместо того чтобы дать ему как следует сдачи, она лишь принимала позу актрисы Ермоловой с известной картины? И почему, в самом деле, она постоянно мерзла? Тетя Таня гово-

рила: чтобы не мерзнуть в московском климате, надо есть больше мяса. Но Ниночка, наверное, мяса ела мало — она вообще питалась, как птичка. На обед она приносила два бутербродика с колбаской, правда, очень вкусной, но и то один из них частенько съедал Петрович... Тихая, словно мышка, Ниночка целыми днями старательно наклеивала на планшеты буквы из литрасетовской кассы. Петрович догадывался, за что недолюбливает ее парашютист Митрохин — за бескрылость.

Но, между прочим, в случае с вентилятором Ниночка проявила характер. Она отнесла аппарат в починку, а потом вернула его на прежнее место — под стол. Тогда Митрохин вынужден был перейти к диверсионной тактике. Однажды он где-то раздобыл пластиковый муляж, очень правдоподобно имитировавший кучку человеческих экскрементов, и подбросил его в ящик Ниночкиного стола. Найдя эту гадость, Ниночка вскрикнула, отшатнулась и побледнела, но затем все-таки распознала подделку. Она взяла псевдокучку бумажкой и выбросила в туалет, в поганое ведро, куда коллектив сливал чайные опивки. А Митрохину пришлось выуживать свой муляж из настоящих помоев.

Однако за этими проделками, за частым питьем чая с сахаром, которым Федор Васильевич всегда оглушительно хрустел, он успевал — возможно, единственный во всем павильоне — производить интеллектуальный продукт. Служба его и призвание состояли в написании красноречивых, но грамматически слабых статей для журнала «Техническая эстетика». Но активная натура Митрохина требовала еще более полного раскрытия, поэтому «без отрыва от производства» он овладевал вторым высшим образованием — в какой-то ленинградской заочной Академии искусств для бывших десантников.

Вообще занятный тип был Федор Васильевич. Тяга к цивилизации у него была чрезвычайная. Петровича изумляло, что этот немолодой, на его взгляд во всяком

случае, взрослый мужчина добровольно посещает уроки английского языка и сольфеджио. Как давалась ему английская грамматика, неизвестно — может быть, даже лучше русской; но музыка... музыка, точно, — ложилась Митрохину на душу. Петрович чувствовал, что Федор Васильевич не просто пижонит, когда со вкусом произносит имена: Букстехуде, Малер... Как же это случилось? Когда вдруг в десантнике пробудилась такая тяга к духовности? Может быть, однажды парашют у него не раскрылся, и, шлепнувшись оземь, услышал Митрохин это странное: «Букстехуде»?

При всем том большеносое лицо Федора Васильевича напоминало чем-то куклу Петрушку. Он пил чай вприкуску, в отсутствие дам выражался не всегда цензурно, а когда, как сегодня, бывал в хорошем настроении, то любил грубовато пошутить.

— А что, юноша... — Встряхнув мокрый плащ, Митрохин подмигнул Петровичу. — Что, если тебе в Москве жениться? И горели твои волжские степи...

Он повесил плащ на плечики и, задрав ногу на плаз, стал протирать ботинок сухой тряпкой. Как все старые холостяки и бывшие военные, Митрохин проявлял повышенную заботу о своей обуви.

— Я серьезно, — продолжил он и покхекал. — Вон сидит девушка — незамужняя и с московской пропиской. Лови свой шанс.

— Ваша очередная глупость, — отозвалась из-за шкафа Ниночка.

— Но почему бы... — Станислав Адольфович поднял взгляд, — почему бы вам самому не жениться на Ниночке? Тогда бы вы могли воевать с ней на законных основаниях.

Митрохин закончил со вторым ботинком.

— Во-первых, мне не нужна московская прописка. А во-вторых... — он удовлетворенно притопнул ногой, — во-вторых, я сегодня с утра уже имел удовольствие жениться.

– Шутите, Федор Васильевич.

– Такими вещами не шутят, Станислав Адольфович.

Могу свидетельство показать.

Ниночка за шкафом почему-то хихикнула, и в комнате стало тихо.

И снова Ниночка подала голос:

– Где же шампанское, товарищ Митрохин?

Федор Васильевич наконец расплылся в улыбке:

– Будет. Будет шампанское, будут и конфеты... А с вами... – он заглянул за шкаф, – с вами, коллега, я собираюсь заключить перемирие.

– Почему же не мир?

– А это мы посмотрим, как сложится у меня медовый месяц, – ответил Митрохин и покхекал.

Весть о митрохинском бракосочетании мигом облетела павильон. Вскоре откуда-то действительно появилось шампанское и несколько коробок конфет ассорти. В комнату с плазом потянулись «пропагандисты», всяк со своей чашкой или стаканом. Некоторые ради приличия извинялись перед Станиславом Адольфовичем, но большинство не обращало внимания ни на него, ни тем более на Карена с Петровичем.

В помещении сделалось шумно, потому что гости пребывали все в приподнято говорливом настроении. И лишь один человек вошел без приветственного взгляда – это был глубоко опоздавший Олег Михайлович. Окинув собрание недоуменным взором, он растерянно покивал на разные стороны, а потом протиснулся в угол на свое рабочее место и там затих.

Тем временем в комнате собралось почти все население павильона. Даже явил свою гигантскую фигуру Пал Палыч Тамбовский, которого здесь не видели уже с неделю. Между прочим, Пал Палыч был по должности руководителем группы дорожной техники, то есть приходился начальником даже Станиславу Адольфовичу. О нем в институте ходили легенды как о гениальном

конструкторе, но Петрович, кроме башенного роста и географической фамилии, не находил в Пал Палыче ничего примечательного. Кроме того, Тамбовский страдал алкоголизмом и на работе показывался чрезвычайно редко.

Пить предполагалось а-ля фуршет. Собравшиеся густо облепили к делу прислужившийся плаз. Уже оковы сняты были с бутылочных горлышек, и только большие мужские пальцы удерживали пробки от преждевременного салюта, уже с чьих-то уст готова была слететь первая здравица... Но тут дверь снова отворилась, и в комнату вошел Протопопов.

— Какая честь! — воскликнул Митрохин и иронически захекал.

Впрочем, было заметно, что он и вправду польщен визитом. Теоретик Протопопов считался в дизайнерских кругах признанным мэтром.

— Что ты, Феденька, какая там честь. — Протопопов не улыбнулся. — Просто услышал про твои похороны и зашел... э-э... чтобы в гроб тебе плюнуть.

«Публика» на его слова осуждающе загудела, но теоретик хладнокровно пояснил:

— Жениться, коллега, — значит заживо себя похоронить. Это доказано эмпирически.

Петрович припомнил кое-какие слухи, ходившие в институте насчет протопоповских любовных предпочтений. В комнате повисло было неловкое молчание, но его разрядила бойкая Лидия Ильинична.

— Помереть, может, не помрет, — заметила она громко, — зато под юбки лазить перестанет!

Эта шутка понравилась, и под общий смех шампанское наконец полилось в стаканы и чашки.

До сих пор Петрович наблюдал за происходящим со своего места, из-за кульмана, но Митрохин нашел его глазами и позвал:

— Что же ты, вундеркинд? Давай к столу.

Петрович покосился на Станислава Адольфовича и, не получив формального запрещения, счел себя вправе присоединиться к фуршету.

Шампанское быстро развязало языки, и на Федора Васильевича посыпались всевозможные пожелания и напутствия. Очень смешно выступил Тчанников, администратор, заглазно именовавшийся, конечно, Чайником. Этот Чайник, весьма уже пожилой краснотлицый дядька, носил когда-то большие погоны и лично знался с министром Абакумовым. Но потом он попал под колесо истории, был разжалован и докатился до того, что в преклонном своем возрасте вынужден был подвизаться в абсолютно непрофильном для себя учреждении. Впрочем, слово «дизайн» он любил как непонятное для непосвященных и себя, довольно удачно, называл «дизавром». Говорили, что благодаря своим, еще не повымершим связям он приносил немалую пользу делу художественного конструирования.

Так вот, этот Тчанников взял слово:

— Ты, Федор, не слушай этого длинноносого. — Он ткнул пальцем в Протопопова. — Ты человек военный, и я человек военный — ты слушай меня. Главное — чтобы баба не баловала. Лично я своих жен во как держал и всех похоронил. А нас никто не похоронит, пока мы сами не помрем... Слышь, ты? — Он повернулся к Протопопову. — Мы еще сами тебе в гроб плюнем!

Были и другие речи — смешные, не очень смешные и такие, которых Петрович попросту не расслышал. Но он смеялся вместе со всеми. Шампанское в его крови браталось с остатками утреннего божоле.

Однако фуршетом в павильоне эта свадьба без невесты не ограничилась. У Митрохина нашлись еще деньги, отложенные, как он сказал, «на черный день», и он пригласил желающих в шашлычную «Восток». Быстро составил коллектив энтузиастов, возглавил который, разумеется, Пал Палыч Тамбовский.

— Дранг нах Остен! — проревел он парходным голосом.

Петровичу тоже хотелось пойти в шашлычную, но попытка отпроситься у Станислава Адольфовича успеха не имела.

Гости схлынули, оставив после себя плаз, мокрый от шампанского, и пустые конфетные коробки. Комната вновь обрела свой привычный облик и тишину. Карен выглянул из укрытия и, убедившись, что посторонние ушли, облегченно вздохнул. Из угла, где сидел Олег Михайлович, потянуло ацетоном. Макетчик промывал и бальзамировал свой «опель», принося его на работу по частям, в виде металлических препаратов. Сослуживцы предались обычным своим занятиям, и лишь Петрович решительно не знал, как себя остудить. Когда Станислав Адольфович вторично попросил его не скрипеть стулом, он со вздохом встал и вышел из комнаты.

В отделе пропаганды остались только пустые столы да одиноко вязавшая Юлия Анатольевна, вся покрытая веснушками по причине беременности. Даже не попытавшись завязать с ней разговор, Петрович проследовал в сени-курилку. Там по-прежнему дождь слюнявил снаружи стекла запертых дверей. Он словно просился в павильон — с вялым упорством нищего или сумасшедшего.

Эта московская осенняя затяжная непогода была непривычна южанину. Казалось странным, что дождь может идти сам по себе, в то время как город продолжает жить своей обыденной жизнью. Петрович вспомнил, как, бывало, ждала, как жадно глотала влагу родимая приволжская супесь, — и вздохнул.

— Привет.

Вздрогнув от неожиданности, Петрович обернулся. Это был Юсупов.

— Привет, но мы уже виделись.

— Разве?

Фотограф высек огонь из хромированной зажигалки и прикурил.

— Что же ты не на свадьбе? — спросил он с усмешкой. — Не позвали?

Петрович смущенно кашлянул:

— Нет... я сам не пошел.

— Да-да... — Юсупов, похоже, не поверил.

— А вы, Саша... вы почему с ними не пошли?

— Я-то?.. — Фотограф по-рыбьи бездыханно выпустил изо рта дым. — Я не пошел, потому что мне и здесь надоел этот паноптикум.

Больше они ни о чем не говорили. Американская сигарета финишировала первой, и Юсупов ушел.

Петрович бросил свой окурочек в ведро, еще раз посмотрел на дождик и поплелся назад, в комнату с плажом. Здесь все было по-прежнему: Станислав Адольфович, Карен и Олег Михайлович тихо трудились на своих местах. Прикинув, кому из них составить компанию, Петрович выбрал Олега Михайловича. Как собеседник макетчик устраивал Петровича тем, что никогда над ним не подтрунивал и даже на явные его глупости отвечал обычно лишь отеческой мягкой улыбкой.

Но сегодня Петрович совершил ошибку. Будучи сам слегка на взводе, он не заметил, что Олег Михайлович нынче не в себе.

— Можно?

Не дожидаясь позволения, он подсел к макетчику, колдовавшему в парах ацетона над анатомированным карбюратором, и непринужденно заложил ногу на ногу.

— Что же, Олег Михайлович, вы не приняли участия? Нехорошо...

Помолчав, макетчик ответил бесцветным голосом:

— Так... Настроения нет.

— Зря, зря...

Петрович покачал ногой и вдруг по-митрохински захекал:

– А Федя-то, Федя разгулялся!

– Федор Васильевич, – поправил Олег Михайлович.

– Ну да... А этот-то, Протопопов... вы видели? У него кальсоны фиолетовые! Просто паноптикум какой-то...

Макетчик уронил на стол детальку, бывшую у него в руках, и поднял глаза, сильно увеличенные очками. Петрович увидел, что лицо его багровеет.

– По-моему, Георгий, вы маленький мерзавец, – сказал Олег Михайлович негромко.

– Что?.. Как вы сказали? – Петрович помертвел.

– Я сказал то, что сказал. – Голос макетчика креп. – Я давно заметил, что вы нас изучаете... Но кто дал вам право? Кто мы вам – насекомые?.. мертвые души?

– Олег, Олег!.. – Станислав Адольфович в другом конце комнаты громыхнул стулом.

– Ну устрой нам похороны, щенок! – закричал вдруг Олег Михайлович.

Руки у него заходили ходуном, и на губах показалась пенка; тело его поехало со стула. Но Станислав Адольфович с Кареном были уже тут. Макетчику стали совать к носу ватку, смоченную ацетоном.

– Уйди!.. Пусть он уйдет... Не хочу разгрр... врр... – Из рта Олега Михайловича понеслись нечленораздельные звуки, и у него начались судороги.

Станислав Адольфович махнул рукой, чтобы Петрович скрылся, но тот и так уже, струсив, прятался за кульман.

Припадок, впрочем, длился недолго. Вскоре Олег Михайлович перестал дергаться и затих, приходя в сознание. Когда дыхание его стало ровным, а взгляд осмысленным, его подняли и посадили на стул. Не говоря ни слова, Станислав Адольфович с Авакяном вернулись на свои места. В комнате воцарилась гнетущая тишина.

Петрович, убравшись за кульман, так там и сидел, впечатленный не столько припадком Олега Михайловича, сколько полученной от него неожиданной и незаслуженной выволочкой. Он был ошеломлен и обижен, как человек, которого покусала во дворе знакомая сто лет собака... Ну да, он позволил себе развязный, неприличный тон, но не ругать же его за это такими словами, не падать же на пол... Тем не менее стыд жег Петровича, и он обещал себе завтра же навсегда исчезнуть из проклятого павильона.

Спустя некоторое время Олег Михайлович в своем углу ожил. Молча, с угрюмым видом он собрал вещи, оделся и, ни с кем не прощаясь, ушел.

И снова в комнате стало тихо, так тихо, что слышно было, как дождь постукивает в окна.

Очень, очень не скоро шевельнулся Станислав Адольфович. Он открыл тумбу своего стола и достал из нее недопитую бутылку божоле.

— Вам, Карен, не предлагаю, — сказал он, — вы у нас непьющий. А вы, Георгий Петрович, не хотите ли на посошок?

Петрович отозвался не сразу:

— Хочу.

— Ну так идите сюда... что вы там спрятались.

Несмело Петрович покинул свое убежище и пересел в кресло.

— А знаете, Олег в чем-то прав, — раздумчиво произнес Станислав Адольфович, наполняя стаканы.

Петрович покраснел:

— В том, что я мерзавец?

— Нет, конечно... — Станислав Адольфович усмехнулся. — Я имею в виду нас... паноптикум, как вы изволили выразиться. Конечно, мы тут можем показаться бездельниками, занимающимися чепухой, умничающими попусту... собственно, так оно и есть. Но ведь на все имеются причины... много причин, от нас не завися-

щих. Почему, к примеру, спивается Пал Палыч? Вы не подумайте, что я его оправдываю... но... вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю, — пробормотал Петрович, глядя в пол. — Завтра я извинюсь.

— Что вы сказали?

— Завтра я извинюсь перед Олегом Михайловичем, — повторил Петрович и вздохнул.

— Вот и славно. — Станислав Адольфович улыбнулся. — Тогда, мой друг, пейте вино.

Таким образом, рабочий день завершился тем же бо- жоле, с которого начался. В шесть часов с минутами Станислав Адольфович, Авакян и Петрович обесточили помещение и вышли под дождь в уже наступившие потемки. Карен с удовольствием затянулся свежим воздухом, попрощался и... сгинул в мокрых кустах, словно медведь. Станислав Адольфович, раскрывши зонт, отправился в вэдээнховский служебный распределитель за продуктами. А Петрович... Петрович прямым ходом двинулся в сторону главных ворот.

Воздух в здешних аллеях действительно был приятный, несмотря на сырость; тут он не казался таким вязким, сгущенным до жидкого, как на городских проезжих улицах. Фонари, где были целы, горели, и в их свете последние, заплутавшие посетители искали, как выбраться с выставки. Где-то слышалось нетрезвое пение, но это не были дизайнеры, расходившиеся со свадьбы, а скорее всего какие-нибудь подгулявшие провинциалы.

Сегодня Петровичу повезло: он успел впрыгнуть в открытый вагон легкового выставочного «трамвайчика», который духом домчал его до проходной. Главный, или Центральный, вход-выход ВДНХ даже внешне напоминал плотину крупного гидроузла. Жизнь по разные его стороны текла с неодинаковой скоростью. Внутри выставки люди, подобно топляку в водохранилище, большей частью бесцельно и беспорядоч-

но дрейфовали, прибываясь случайно к островам павильонов. Однако, просочившись сквозь гребень могучих колонн в город, «топляк» тут же попадал в уличную стремнину и превращался в грозное таранное орудие. Людское движение здесь обретало цель и направление, и плохо приходилось тому, кто мешал этому движению. Пьяных и калек, стариков и растерянных провинциалов — всех их улица мела к обочине, выбрасывала на берег, где клевали носами нищие, терпеливые, как рыбаки, упорные, как московский дождик.

Но Петрович знал свой маневр, и он умел уже двигаться в ритме и темпе столичной улицы. Лавируя и перестраиваясь в плотном потоке людей, он держал курс на метро.

И вот оно показалось — здание, смахивавшее на вздэнховский павильон, но поглощавшее посетителей в гораздо большем количестве. Конечно, никакой павильон не вместил бы такую прорву народа, но этот — он только декорировал собой глубокий косою тоннель, ведущий в московское подземелье. Туда-то, в тоннель, люди и сливались — будто дождевые стоки.

Из больших разверстых дверей на Петровича пахнуло нутряной резиной отрыжкой, а потом метро сделало вдох и всосало его в полость вестибюля. Здесь он временно утратил качества индивидуума. Тут люди прессовались в слитную массу и в гипнотическом оцепенении продвигались в сторону глоткой зиявшего тоннеля. Только на краю эскалатора люди отлеплялись друг от друга, — как оловянные солдатики, сметаемые со стола, они, шеренга за шеренгой, проваливались вниз. Пропуском на эскалатор служил обыкновенный рыжий пятак, но в час пик можно было проскочить и зайцем. Толпа шла так густо, что даже чуткие фотоэлементы не могли различать составные человеческого фарша, — челюсти механического контролера вздрагивали, но схлопнуться не успевали.

Ступив на самоходную лестницу, Петрович сразу притерся к правому краю. А слева мимо него побежали граждане из числа особо нетерпеливых. Так бывает, когда на речном обрыве случается осыпь: некоторые камешки катятся быстрее других, обгоняют и перепрыгивают остальных, и все для того, чтобы первыми кануть в воду. Но Петрович никого не перепрыгивал. Эскалатор сам доставил его на подземную станцию, где, снова включив ноги, Петрович занял позицию на перроне.

Метро в Москве было что в доме подпол. Только здесь не крысы гонялись друг за дружкой, а голубые поезда с забавными трельяжами окошек спереди и сзади. Поезда эти были меньше настоящих, но производили несообразный оглушительный шум. Вот Петрович услышал приближающийся гул и протяжный скрежет, утончающийся до писка. Волосы на его голове шевельнуло ветром... и метропоезд, блестя глазами, как тарантул, показался в норе тоннеля. Когда он остановился и открыл свои двери, пассажиры, собравшиеся на платформе, толкаясь и теснясь, ринулись в пустые вагоны. Этот штурм на конечной станции выглядел так же глупо, как героическое взятие окопов, покинутых неприятелем. Однако и Петрович не зевал: он в числе первых ворвался в вагон и занял место на выпуклом валком сиденье, тянувшемся вдоль стенки.

Путь предстоял неблизкий: с воем и грохотом, подо всем городом — туда, где ждали его котлеты с вермишелью и кастрюлька с тети-Таниным вермишелевым супом. И весь этот путь, точнее, подземную его часть Петровичу предстояло проделать боком. Странные были в метро вагоны: их создатели усадили пассажиров спинами к окнам, а лицами друг к другу. И странные здесь были пассажиры: ровным счетом ничего нельзя было прочитать на их лицах. Петровичу на память приходила детская шалость: поймав с Сережкой Мусорником двух кошек, они сажали их вот так же нос к носу между

рамами подъездного окна. Кошки, естественно, нервничали и принимались драться. А пассажиры метро почти никогда не дрались — они обладали удивительной способностью смотреть друг сквозь друга или вообще смотреть, не видя. Казалось, на время поездки души их отлетали куда-то, и лишь пустые тела их согласно покачивались на вагонных диванчиках... Впрочем, это только казалось; стоило Петровичу, забыв осторожность, уставиться на своего визави, как лицо у того начинало оживать: подергивало щекой, хмурилось и принимало недовольное выражение.

Но сегодня Петрович уже получил урок воспитания. Сегодня он старался никого не рассматривать, сидел как все, уподобясь истукану, и так вошел в роль, что чуть не промахнул собственную остановку.

Он вышел из вагона на гулкой станции, куда менее людной, чем та, на которой садился. Свод ее и стены были свободны от архитектурных излишеств, — это означало, что Петрович заехал на московскую периферию. Все имеет свою периферию, даже столица; и, как всякая другая, столичная периферия носила отпечаток некоторой домашности. Дежурный милиционер по-свойски перекликался с женщиной в униформе, прохаживавшейся по противоположному перрону. На скамье в центре зала гнулся набок нетрезвый гражданин, а рядом с ним шепталась о своем и кушала семечки возлюбленная молодая пара. На этой станции ни у кого не проверяли документы. Даже рыжему псу с отмороженными ушами — лицу беспаспортному и вообще нечеловеческой национальности — позволялось крутиться здесь и обнюхивать сумки пассажиров.

Освободившись от Петровича, поезд снова взвыл моторами — октава за октавой вверх — и голубым суставчатым червем всосался в тоннель.

Если бы здесь сейчас оказалась коллега Ниночка, она бы, наверное, нашла кусочек колбаски для рыжего

попрошайки; но Петрович ограничился ободряющим подмигиванием. Пес в ответ пошевелил бровями и из благодарности за внимание сделал ему маленький эскорт — шагов в десять собачьих.

Вознесясь опять на земную поверхность, Петрович обнаружил там все тот же дождь. Из подсвеченной мглы, заменявшей городу небо, источался мелкий, но густой сеянец и медленно оседал на всем без разбора: на лицах людей, на машинах, на редких безлистных деревьях. Дома собирали воду крышами, карнизами, разными козырьками и заботливо целыми пригоршнями выливали за шиворот прохожим.

Это был типичный район новостроек, дурно принявшихся на подмосковных болотах и безвременно одряхлевших. Дома здесь стояли вразброс — большие, многоглазые, но фонари у их подножия давно отцвели. Правда, некоторые из них еще тлели загадочными фиолетовыми угольками, но большинство угасло совсем — честно и бесповоротно. Ослепшие улицы были чреватые неожиданными встречами: люди в потемках налетали друг на друга, и тогда из грудей их вырывалось рефлекторное мяуканье выдавленного воздуха.

Впрочем, улица, которой шагал Петрович, была освещена и притом дважды: вывеской «...астроном» и чудом сохранившимся действующим фонарем на углу. В свете вывески прямо под дождем лежал в свободной позе очередной местный пьяница, а в мертвенных лучах фонаря бранились две какие-то женщины с хозяйственными сумками. Миновав и пьяницу, и матерящихся женщин, уклонившись от нескольких столкновений со встречными прохожими, Петрович свернул в прямоугольную арку, пробитую в теле длинной многоэтажки, и таким посредством попал во двор, больше напоминавший бесхозный пустырь. И тут его ждало последнее испытание.

Даже в ясную погоду во дворе под домом вместо палисадников стояли непросыхающие лужи. Но сего-

дняшний дождь дал лужам силу паводка, — они вышли из берегов и объединили в целое свои воды. Петровичу предстала обширная акватория, таинственно мерцавшая оконными отсветами.

Покуда он размышлял, как ему, не выкупавшись в ботинках, добраться до подъезда, под аркой простучали легкие каблуки. Едва различимая в темноте, женщина без колебаний приступила к переправе. Она запрыгала по-воробьиному, удивительно ловко находя среди воды редкие асфальтовые отмели. Вдохновленный примером, Петрович последовал за женщиной, повторяя ее ходы. Казалось, они оба, впав в детство, играют в классики. «Хождение по водам» это завершилось у подъездного крыльца, и здесь только Петрович обнаружил, что приходится своей спасительнице внучатым племянником, а она была его собственная тетя, возвращавшаяся, как и он, домой после трудового дня.

Тетя Таня не удивилась их нечаянной встрече. Она лишь окинула Петровича критическим взглядом и выругала его за то, что он ходит без зонта.

— Не хватало мне еще, чтобы ты заболел! — проворчала она.

Голос ее ничуть не напоминал Иринин — он был шершавый, как у всех одиноких, много курящих немолдых женщин. В остальном же тетя Таня походила на свою сестру, словно дружеский шарж: тот же нос, но больше размером, те же жесты и походка, но гораздо энергичнее. Решительнее была она и в обращении с Петровичем, — там, где Ирина подбирала бы слова долго и тщательно, тетя Таня выражалась кратко: «Дурак!» Этим словом и всем складом характера она напоминала другую даму — Генрихову давно умершую бабушку Елизавету Карловну. Не странно ли, что две женщины, не состоявшие в кровном родстве и не знавшие друг друга, имели так много общего? Возможно, их закалила

Москва – город, где им обеим судьба назначила коротать безмужний век.

Они зашли в лифт. В тесной, давно не мытой кабинке воняло как всегда, но вскоре тетя Таня уловила в привычном букете запахов свежую струю. Она потянула своим большим носом и строго осведомилась:

– Пил?

Путь на шестнадцатый этаж был неблизкий, и Петрович успел рассказать ей про митрохинскую свадьбу. О божоле и припадке Олега Михайловича он счел за благо умолчать. Лифт, подрагивая, одолевал этаж за этажом, а снаружи что-то цеплялось за его бока и неприятно скребло.

Вот она – станция конечная. Лестничная площадка с намалеванным на стене числом «16», с выбитым плитчатым полом и с непрременной детской коляской в проходе. Пассажир коляски, наверное, давно уже ходил своими ножками – в школу за двойками и в «...астроном». Двери на площадке были с трехзначными номерами, и одна из этих дверей вела в тети-Танины частные покои.

Из теплой темноты квартиры повеяло настоявшимся за день благовонием горшечных цветов, парфюма, книг и старой мебели. Вспыхнул свет, и Петрович оказался в окружении разнообразных вещей и вещиц, большей частью маленьких и хрупких. В свое время эти вещицы, давно поделившие между собой пространство стародевичьего жилища, были очень недовольны водворением Петровича. Тетя Таня за них беспокоилась и зорко следила за руками племянника – все поправляла сдвинутые им невзначай безделушки и многочисленные пепельницы, которые держала в стратегически важных точках квартиры. Даже вымытую Петровичем посуду она собственноручно располагала на сушилке в определенной, единственно верной последовательности.

Раздевшись и переобувшись, тетя и племянник разошлись по комнатам, чтобы привести себя в домашний

вид. Спустя несколько минут облаченная в халат тетья Таня проследовала в ванную и там заперлась. Еще минут через десять она вышла на кухню — уже без макияжа, но ничуть от того не подурневшая. Здесь она зарядила свой суховатый рот длинной папиросой «Казбек» и приступила к организации ужина.

Откровенно говоря, кулинария не была тети-Таниным призванием. За все то время, что жил у нее Петрович, она даже не научилась отмерять вермишель в количестве, потребном для двух персон. Иногда гарнира получалось мало, и ужин заканчивался голыми котлетами, а иногда наоборот — вермишель всходила в кастрюле ошеломительной массой, так что отливать ее приходилось в несколько приемов. Время от времени, в целях разнообразия, тетья Таня вместо вермишели варила макароны, но и с макаронами у нее была та же проблема. Только котлеты оставались неизменными при любом гарнире: три Петровичу и две тете Тане.

За ужином они сидели, разгороженные, как всегда, газетой. «Вечёрка» располагалась вертикально в специальной проволочной подставке — так, чтобы тете Тане было удобней читать. Петровичу читать было неудобно, но он почти уже научился, сидя по ту сторону подставки, узнавать городские новости снизу вверх. Впрочем, когда дело дошло до чая, тетья убрала со стола и газету, и подставку. Их сменили коробка «Казбека» и пепельница, сделанная из раковины морского моллюска. Перемена эта означала, что пришло время для беседы.

— Ну, Петрович, — тетья глубоко, по-мужски затянулась, — расскажи, чем, кроме пьянства, ты сегодня занимался. — В него через стол полетели кисловатые дымные клубочки.

Он пожал плечами:

— Каждый раз ты спрашиваешь, и каждый раз я тебе отвечаю: ничем.

Тетя Таня нахмурилась:

— Скверно. Ты должен приобщаться к труду.

Петрович тоже, на правах взрослого, закурил и дал по тете ответный табачный залп:

— Тебя не поймешь: то мне к цивилизации надо приобщаться, то к труду... Говорю же тебе, там все бездельничают: или рисуют люстры для дома, или с ученым видом что-нибудь пропорционируют.

Она щелкнула папиросу перламутровым ногтем:

— Ты слишком мал, чтобы судить... это во-первых. А во-вторых, если ты разумный человек, то всегда найдешь себе занятие.

Петрович усмехнулся:

— Ну да, будь я разумный, так тоже бы люстру рисовал... Только куда мне ее вешать?

Поговорив еще в таком духе и густо надымив в маленькой кухне, тетя с племянником задавили в пепельнице-раковине каждый свой окурок и разошлись, не вполне довольные друг другом. Остаток вечера тетя Таня провела за письменным столом в углубленном созерцании своей коллекции марок, а Петрович, вытянув с полки второй том Льва Толстого, отправился на Крымский полуостров, в самое пекло севастопольского сражения.

Было уже около полуночи, когда Петрович захлопнул книгу, встал с тахты, чтобы погасить свет, и... подошел к окну. Взамен Севастополя, только что сданного неприятелю, глазам его предстала галактическая туманность другого, куда более величественного города.

Москва, таившая в себе бесчисленные населенные миры, часто и вправду казалась Петровичу бесформенной и непостижимой, словно космос. Но сейчас — сейчас панорама ее была взята в буроватую, будто захватанную рамку ночного неба. От этого зрелище складывалось в целое — в образ, хотя и грандиозный, но все-таки помещающийся в кадр его воображения.

Прошло еще немало дней, сырых и промозглых, пока куда не выпал настоящий снег. Плотные белые парашютисты — этикие маленькие митрохины — свалились на москвичей внезапно, превосходящим числом. Снежинки высаживались на шляпы и береты, на капюшоны и непокрытые макушки — и гибли во множестве, как подбает десанту.

Ниночка в то утро глушила оконные щели бумажной лентой, пользуясь вместо клея отечественным мужским кремом для бритья. На ее месте за столом сидел Петрович и правил митрохинскую статью о пользе пространственной организации среды. Сам теоретик в это время колол сахар тяжелой металлической рейсиной. Кроме них троих, в комнате никого не было. Станислав Адольфович уехал на ИКСИД, Всемирный конгресс дизайнеров, а Олег Михайлович отсутствовал по причине отсутствия Станислава Адольфовича. Авакян ожидался, но не скоро, — художник еще брел далеко подмосковным стынущим полем, где зазимок пудрил земные скорбные морщины.

Федор Васильевич явился на службу в благодушном настроении. Он густо пах польским лосьоном, почти не хекал и не искал ссоры с Ниночкой. Уже за первым чаем он завел с Петровичем доверительный, не слишком светский разговор о прелестях семейной жизни. Вообще брачная тема в последнее время стала для Митрохина главной. Сам он, по его словам, сочетался чрезвычайно удачно. Жена его обладала просто несовместимым набором достоинств: обожала Малера, следила за целостью митрохинских носков, была необыкновенно горяча в постели и чудесно готовила.

— Знали бы вы, — восклицал Федор Васильевич, — какой дизайн она творит из обычного куска баранины!

Станислав Адольфович реагировал на его хвастовство иронически.

— Главное, — заметил он однажды, — чтобы это творчество вошло у нее в привычку прежде, чем надоест.

Но существовала ли она вообще на свете, эта удивительная особа? Митрохинской жены — даже фотографий ее — никто в павильоне так и не видел... Впрочем, сейчас Петровичу недосуг было размышлять о чужом счастье.

— Нельзя ли помолчать, — попросил он Федора Васильевича. — Вы сбиваете меня с мысли.

— Пардон, пардон... — Митрохин переключил свое внимание на Ниночку, напоминавшую на фоне окна оживший египетский барельеф.

Можно было предположить, что, достигнув в браке полной жизненной гармонии, Федор Васильевич прибавит собой полку павильонных энтропиков, но этого не случилось. Еще бойчей из-под его пера пошли статьи на злобу дизайнерского дня; еще чаще стал убегать он на какие-то совещания и конференции; и уже по десять раз на дню начальственные голоса в телефоне требовали: «Найдите Митрохина!» Но Митрохина можно было найти разве что за утренним чаем — в остальное время он «вращался». Теперь он возглавлял Дизайн-центр, соорудившийся действительно где-то в городском центре. Это было настоящее дело: часто Федор Васильевич ездил на строительство и, по слухам, трудился там лично с молотком в руках и ругался таким поставленным матом, что московские надменные работяги совершенно уверовали в его харизму. В павильоне Митрохин появлялся с рулонами чертежей и папками, полными документов. И здесь он всех вовлекал в орбиту своего вращения, за исключением разве что аутиста Карена. Петрович тоже нередко помогал Митрохину — например, когда требовалось отредактировать письмо в гипро что-то или отношение в какой-нибудь надзор. Он охотно выполнял митрохинские поручения, но его не оставлял один вопрос. Зачем вообще строился Дизайн-центр; зачем московскому институту было иметь в Москве же

еще подворье? Вопрос этот он задал однажды Федору Васильевичу, и тот ответил, почти не раздумывая:

— Как зачем? Надо же нам иметь постоянную экспозицию. АВ-боксы поставим, полиэкран...

— Это я понимаю, Федор Васильевич... но экспозиция — зачем?

Митрохин посмотрел на него удивленно:

— Вопрос... кхе-кхе... метафизический. Сдается мне, юноша, это у тебя от безделья.

Он помолчал.

— И чего тут непонятного? Дизайн — в массы, а деньги — в кассу.

— Звучит как-то... цинично.

Митрохин посерьезнел:

— Я мог бы ответить лирично, но неохота. Просто надо работать. Работай и чего-нибудь добьешься. Только так. Помнишь сказочку про лягушку, которая попала в молоко?

— И стала брыкать ножками, и сделала масло... По моему, Федор Васильевич, эта сказка — ложь. Ваша лягушка так и останется жить в молоке.

Митрохин ухмыльнулся:

— Пускай даже так... Все-таки она может считать, что неплохо устроилась.

Федор Васильевич не впервые попрекал Петровича бездельем. Попреки эти имели ту причину, что у Митрохина были виды на него как на работника. Пару дней назад Федор Васильевич даже отвел Петровича в курилку и там сделал ему формальное предложение.

— А что, юноша, — сказал он, — не хочешь ли ты перейти работать под мое крыло?

— Зачем? — удивился Петрович.

— Что значит зачем? Хватит тебе груши околачивать. Займешься делом и узнаешь... кхе-кхе... узнаешь другой способ существования.

— Но на что я вам?

— Ну... я к тебе присмотрелся. Парень ты ухватчивый и, главное, грамотный. А у меня этой писанины не впроворот.

— Да... — Петрович вздохнул, — но мне же на будущий год в художественное училище поступать... или в армию.

— И то и другое — глупость, — отрезал Митрохин. — С твоей подготовкой тебе легче в балетное училище поступить, чем в художественное, — это раз. А в армии служат одни дураки — это два.

— Странно слышать от офицера.

— Уж ты мне поверь. От армии надо откосить, и я тебе в этом помогу. У меня есть один знакомый психиатр — вместе с парашютом прыгали, — за бабки он из тебя сделает шизофреника по всей форме.

— Но как же... — Петрович усмехнулся, — как же я шизофреником буду работать?

— Насчет этого не волнуйся. — Митрохин захекал. — В дизайне таких много.

Неожиданное предложение заставило Петровича глубоко задуматься. С одной стороны, оно ему польстило — польстило, как если бы старший пригласил его к участию в игре. Но с другой... Петрович оставался в недоумении. «Дизайн — в массы, а деньги — в кассу», вращение как способ существования... Но ведь и армия — тоже способ существования. В чем смысл различия? Он не видел смысла. Это раньше, когда Петрович был ребенком, он предавался играм с легкой душой. Тогда он понимал, что он ребенок и что все у него в жизни происходит как бы понарошку. А трудные выяснения — их он оставлял на потом... Нет, конечно, вопросы были — разные «зачем» и «почему», — но задавались они из чистого ритуала. «Вырастешь — узнаешь», — слышал он в ответ и поживал спокойно... Но вот Петрович вырос, и что же? Ничего он не узнал, а покоя лишился.

Тетя Таня, кстати, тоже лишилась покоя, когда он рассказал ей о митрохинском предложении. Только у нее

почему-то идея сделать из Петровича шизофреника вызвала прилив энтузиазма.

— А этот, как его?.. Митрохин... он часом не трепач? — уточнила она.

— Нет. — Петрович пожал плечами. — Вроде бы непохож.

— Хорошо... — Тетя прикурила папиросу от предыдущей. — Мне этот проект нравится.

Коллекция марок в тот вечер получила временную отставку. Тетя Таня села на телефон и устроила долгое совещание со своей подругой, сведущей, как оказалось, в юридических правах умалишенных. Впрочем, подруга не всецело полагалась на свои познания; она консультировалась с кем-то еще и сама несколько раз перезванивала тете Тане. Тетя у аппарата совершенно завесилась папиросным дымом и только покрикивала своим диском: «да», «да», «да», вкладывая в это короткое слово разнообразные оттенки мысли и чувства.

Было уже довольно поздно, когда она постучала к Петровичу:

— Не спишь?

— М-м...

— Послушай... а он не мог бы поменять тебе диагноз на психопатию?

— Это еще зачем? — Он приподнялся на локте.

— Меньше будет проблем в плане трудоустройства. И потом... Маргарита говорит, психопатию легче симулировать.

Петрович нахмурился:

— Не хочу я ничего симулировать.

— Не скажи, — серьезно возразила тетя Таня. — Вдруг тебя станут обследовать.

Он сел в кровати и внимательно на нее посмотрел:

— Ладно, спрошу. Заодно узнаю, нет ли у них и для тебя подходящего диагноза.

На эти слова тетя Таня рассердилась:

— Ну что с тобой делать! — воскликнула она. — Нет, ты не шизофреник — ты дурак!

Поискав глазами, она вонзила папиросу в ближайшую пепельницу и вышла, оставив племянника засыпать в табачном дыму.

Но Петровичу и по сей день не удавалось возобновить с Митрохиным тот разговор. Надо было улучшить подходящий момент, но, куда Петрович набирался решимости, Федор Васильевич успевал напиться чаю и убежал «вращаться». Вот и сегодня Митрохин сделал последний громкий глоток, отряхнул с живота сахарные крошки, и... глазки его засветились знакомым боевым огоньком.

— Все, пошел, — объявил он. — Ждут меня глобальные дела. А вы, детки, ведите себя хорошо и не скучайте.

Но как не заскучать на пару с Ниночкой — Митрохин рецепта не оставил. Петрович порылся в столе Станислава Адольфовича, нашел... «Стиль ауто» за шестьдесят восьмой год и уселся в кресло. Кресло было просиженное, журнал — смотренный-пересмотренный, и весь этот день, хотя он только начинался, уже представлялся каким-то житым-пережитым. С улицы, несмотря на заклеенные Ниночкой окна, доносилась привычная переключка выставочных радиорепродукторов: один сообщал другому что-то радостное, тот — третьему и так далее. Внутри павильона, как всегда, громче всех раздавался голос Лидии Ильиничны из отдела пропаганды.

— Алё-у! — кричала она. — С вами говорят из эстетики!.. А?.. Из эстетики!.. Что?.. Ах-ха-ха-ха!.. Ну, я не могу.. Не из титьки, а из эс, тэ, ти, ки!

— Вы слышали? — И весь отдел пропаганды хохотал.

Но иногда, и к этому Петрович тоже привык, в павильоне наступала вдруг тишина. Будто по волшебству, все голоса и звуки смолкали, и... становилось слышно,

как тикают его, Петровича, наручные часы. «Ангел пролетел», — сказала бы Ирина. Сегодня эти прилеты ангела особенно чувствовались, потому что на выставке выпал снег и обложил павильон, словно ватой. Раз в такую минуту Петрович поднял голову от журнала... и вздрогнул. С улицы в окно на него смотрела чья-то физиономия — в створе приставленных к вискам озябших ладоней и приплющив нос к стеклу. Это был не ангельский лик, — просто очередной заблудившийся посетитель пытался выяснить, что это за павильон такой без названия спрятался в елках, и если уж он тут поставлен, то нельзя ли зайти в него и погреться.

Ступай себе, прохожий, нечего. А то зайдешь и угрешься... на всю жизнь. Петрович над раскрытым журналом начал клевать носом; время побежало быстрее...

Следующей станцией был дневной чай с бутербродами. Ниночка за шкафом подала признаки жизни: скрипнула стулом, зашуршала пищевой фольгой. Петрович потянулся, протер глаза...

Он потянулся, протер глаза, и, как оказалось, — вовремя. В следующую минуту ему пришлось распахнуть глаза в изумлении. Сначала в комнату вошел фотограф Юсупов.

— Ты здесь? — спросил он, хотя Петрович был налицо. — А к тебе дама! — Юсупов поднял на плаз большую дорожную сумку и задом, как конференсье, отступил, впуская в двери синеглазую румяную с мороза девушку. Это была Вероника.

С этого мгновения все катастрофически усложнилось для Петровича. Он встал с кресла, но так, как встает уже убитый солдат: чтобы упасть головой на запад. «Стиль ауто» выпал, как винтовка из ослабевших рук.

— Ты откуда?.. — было последнее, что вымолвили немеющие уста.

И уже не Петрович, но кто-то другой целовал Веронику, снимал с нее пальто, знакомил ее с Ниночкой.

Вероника подала Ниночке руку, облучив ее мгновенным, но внимательным взглядом:

— Очень приятно.

— Вы располагайтесь. — Ниночка порозовела. — Если хотите, давайте пить чай.

Вероника опустилась на митрохинский стул, а Петрович все стоял, держа через руку ее пальто, пахнувшее хорошими, незнакомыми духами. Он стоял и смотрел на ее шею, открытую и словно бы удлинившуюся из-за новой стрижки. Эту голую шею очень хотелось потрогать, и Петрович не удержался — дотронулся.

— Что? — Она обернулась.

— Ничего... ты... как ты меня нашла?

— А... — Вероника махнула рукой. — У твоих выпросила. В Москве с вокзала и прямо на метро... Но тут... — она сделала большие глаза, — я всю вэдеэнха исходила! Где такой павильон — никто не знает. Вот уж не думала, что ты здесь в лесу сидишь.

— Приехала... но как же твоя учеба?

— Подумаешь, учеба... — Вероника усмехнулась. — С мамой вот только разругалась.

Она вдруг взяла его руку и приложила к своей еще прохладной щеке:

— Соскучилась, вот и все.

Ниночка, отведя взгляд, заерзала на своем стуле... Но, кстати, и пора ей было заняться чаем. Электрочайник на полу перестал кряхтеть и постукивать и уже всюю клокотал, наполняя помещение сырым баннным духом.

Однако попить чаю им так и не удалось. Не успели они расположиться, как опять в комнате появился фотограф Юсупов.

— Тук-тук... — произнес он, постучав пальцем по шкафу. — Вы, я смотрю, чаевничать собрались?

Саша заговорил с товарищеской приятной интонацией, какой Петрович у него раньше не замечал:

— Чай, друзья, это неактуально. У меня есть кофе — хотите?.. — Он смотрел главным образом на Веронику. — Кофе с коньяком. Я приглашаю.

Они переглянулись.

— Я — спасибо, нет, — пробормотала Ниночка.

— А мы не против. — Вероника улыбнулась Юсупову и взглянула на Петровича: — Или ты как?

Он пожал плечами:

— Я как ты.

И они пошли к Саше пить кофе с коньяком.

В фотостудии было душно и жарко. В центре помещения, на подиуме, покрытом алым сафьяном, в лучах софитов сверкала пластмассовая прозрачная хлебница. Над ней колдовал коллега Юсупова, тоже фотограф, по фамилии Кронфельд. Окна в студии были плотно зашторены, и вся она, кроме освещенного подиума, погружена была в полумрак. В полумрак и негромкую музыку: в глубине комнаты большой стоячий магнитофон плавно помахивал километровыми бобинами, размером каждая с велосипедное колесо. Там же у стены располагался настоящий, неизвестно как сюда попавший, диван, — на нем-то Юсупов и разместил своих гостей.

— Прямо как в баре. — Вероника с удовольствием покачалась на пружинах.

Подле дивана стоял невысокий столик с какими-то красочными журналами. Один из журналов был раскрыт, и на развороте его Петрович разглядел фотографии хлебниц в разных проекциях.

— Хорошо! — Вероника опять покачалась на диване.

— Что хорошо?

— Хорошо вы работаете.

Петрович промолчал. Он не стал ей говорить, что его самого пригласили сюда впервые.

Юсупов про коньяк не солгал: бутылку он выставил, хотя и далеко не полную. Он также принес настоящие кофейные чашки с блюдами и шоколадные конфеты.

Оставалось дожидаться кофеварки — когда она сделает свое дело.

— Сигарету хотите? — Саша протянул Веронике свою пачку. — Для дам у нас исключение... правда, Боря?

Кронфельд неопределенно хмыкнул; он по-прежнему был поглощен хлебницей. Фотограф то вставал перед подиумом на колени, и тогда лоб его плавился под софитами, а то отходил на пару метров и впадал в задумчивость. Наматывая на палец седоватую бороду, он что-то ворчал.

— Что ты там бормочешь? — окликнул его Юсупов. — Иди уже к нам.

— Пустая... — Кронфельд отвечал своим мыслям. — Хлебница пустая, вот в чем проблема.

Саша засмеялся:

— Плюнь ты на нее. Иди коньяк пить.

Кофеварка крепилась, крепилась и вдруг извергла в стеклянный кувшинчик черную кипящую струю. Юсупов стал разливать кофе по чашкам, а Кронфельд все крутил свою бороду.

— Творческие муки изображает, — иронически пояснил Саша. — Хочет на девушку впечатление произвести.

Кронфельд вышел из транса:

— Сам ты... хвост распустил.

Он отер лицо носовым платком, заглушил фотокамеру и подсел к столику.

— Ты не тушуйся, — подмигнул Юсупов. — Кто не хочет понравиться красивой девушке... Кстати, ты лицо искал... помнишь?.. для туалетной воды.

— Ну?

— Ну и посмотри... — Юсупов, перегнувшись через Петровича, дотянулся до Вероники и, взяв ее легонько за подбородок, повернул к свету. — Как тебе?

Вероника убрала его руку.

— Вы, девушка, не смущайтесь. — Саша откинулся на диване. — Это разговор деловой. Мы с Борей снимаем для рекламы, халтурим, так сказать.

Вероника ничего не ответила, но Петровичу показалось, что на щеках ее заиграли ямочки.

— Минутку, — сказал он мрачно. — Что это вы ей предлагаете? Я против.

Саша усмехался:

— Ты-то здесь при чем? Я же не на танцы ее приглашаю.

На душе у Петровича тихой зорькой занималось бешенство, а Юсупов все не унимался:

— Так как же, девушка? Вы подумайте...

И тут Петрович не выдержал.

— Мы уже подумали... — проскрежетал он, поднимаясь с дивана, и тот проаккомпанировал ему испорченной арфой. — Вставай, девушка, и скажи дядям спасибо за кофе.

Ямочки изгладились на щеках Вероники; она закусила губу, покраснела, но послушно поднялась вслед за Петровичем.

— Бог ты мой! — раздалось им уже в спину. — Юный Отелло...

Петрович обернулся было, чтобы ответить, но Вероника дернула его за руку:

— Пойдем... Что ты за скандалист.

Они вернулись в комнату с плазом. Ниночка, жуя бутерброд, взглянула с немым вопросом — и на лице Петровича прочитала немой ответ: оно пылало гневом. Молча он снял с вешалки Вероникино пальто:

— Собирайся, мы уезжаем.

Вероника растерялась:

— Куда? Ты же на работе.

— Пропади она пропадом, эта работа... — Он посмотрел с недобрый прищуром: — Или ты хочешь еще кофе?

Спустя несколько минут парочка уже покинула павильон и в безмолвии зашагала по заснеженным аллеям

выставки. На плече у Петровича висела Вероникина дорожная сумка; лицо его было по-прежнему хмурым. Чувство гнева само по себе нестойкое; в душе Петровича оно не то чтобы прошло, но выпало в противный труднорастворимый осадок. Настроение его не хотело улучшаться; к тому же все мужчины, сколько их ни попадалось навстречу, пялились на Веронику юсуповским оценивающим взглядом. Или им тоже нужна была фотомодель?.. Как меняется мироощущение под влиянием пережитой неприятности... В детстве, гуляя в заволжской дубраве, Петровичу случалось поймать у себя за шиворотом большого зеленого клопа, и тогда вся прогулка теряла для него прелесть. Он не слышал больше ни пения птиц, ни аромата растений, а только подозрительно всматривался в каждое зеленое пятнышко, и везде ему мерещилась клоповая вонь...

За размышлениями Петрович не заметил, как они вошли в метро. Тут уж размышлять стало некогда, а надо было действовать. И Вероника ловко действовала пяточком, а потом уверенно, не покачнувшись, ступила на эскалатор.

— Ты раньше ездила на метро? — не без ревности спросил Петрович.

— Нет, а что?

— Ничего... Молодец.

— Метро как метро. — Она пожала плечами. — Только уши в поезде закладывает.

Метро как таковое ее не интересовало. Вероника лишь слушала названия станций и шептала их про себя, будто запоминая. «Следующая станция такая-то...» — Женский гулкий радиоголос казался далеким, словно доносился не из потолочных динамиков, а из глубины тоннеля.

Неожиданно Вероника толкнула его в бок.

— Что ты? — Петрович не расслышал ее слов.

— Хочу погулять, — повторила она ему на ухо.

— С этой сумкой? — удивился он.

— Подумаешь... — Она надула губки. — Или тебе тяжело?

Радио глупо-торжественно провозгласило приближение очередной станции, и Вероника потянула Петровича за рукав:

— Ну?.. Пошли?.

Что было делать? Ничего нет сильнее женской прихоти... Эскалатор подал молодую пару наверх и, круто обернувшись, ушел назад в подземелье. Конечно же, место для прогулки Вероника выбрала случайное и совсем неподходящее. Хотя с дорожной сумкой наперевес где ни гуляй — везде будешь испытывать неудобства. Место было случайное для Вероники с Петровичем, но не для множества людей, сновавших по тротуарам вдоль домов. Эти люди жили здесь или работали, они спешили домой или по делам, каждый со своей целью, и помехой на их пути служили как раз эти двое, неизвестно зачем здесь оказавшиеся с большой дорожной сумкой.

— Ну и что? — Петрович от толчков прохожих поворачивался вокруг своей оси. — Куда пойдем?

— А хоть куда, — беспечно ответила Вероника. — Я в Москве первый раз.

Идти им можно было либо направо, либо налево. Поперек улицы идти было нельзя, потому что всю ее проезжую часть занимали автомобили. Успевшие за день обрасти бурыми бородами сосулк, они ползли нескончаемой вереницей, подталкивая друг дружку носами. Люди такими же нескончаемыми вереницами двигались вдоль домов по узким тротуарам. Только дома, плотно притиснувшись друг к другу, никуда не двигались, словно попали в глухую пробку. Дома эти, выстроившиеся не по росту, все были пожилые, — окна их сидели глубоко в своих глазницах, а солидные, хотя и поношенные фасады, тронутые кое-где старческим пигментом, украшали многочисленные вывески и витрины.

Конечно, гулять по московскому центру следовало с тетей Таней, — она бы много рассказала об истории этих улиц и домов. Где-то здесь прошли ее собственные детство и юность, и сложись ее жизнь удачнее, она провела бы ее тут целиком — за толстыми покойными стенами. Сложись ее жизнь удачнее, тетя Таня составила бы на излете лет компанию местным старушкам в каракулевых шубках, и она так же разборчиво отоваривалась бы в магазинах, приятно пахнувших жареным кофе. Но ей не повезло. Вращением Москвы, которая недаром в плане напоминает карусель, — этим вращением ее отбросило на периферию — туда, где сивые многоэтажки шатались под ветрами и скрипели плохо пригнанными панелями. Туда, где «...астроном» вонял к вечеру сырой говядиной, но был уже пуст, а последняя тушка хека часто становилась причиной нешуточного сражения... Впрочем, кое-какую компенсацию тетя Таня все же получила, а именно — вид на город с высоты птичьего полета.

Но похоже было, что и без тетиних пояснений прогулка доставляла Веронике удовольствие. Она то задирала голову, то изучала витрины, сменявшие одна другую.

— А представляешь... — промолвила она вдруг мечтательно, — представляешь, если бы мы тут жили.

— Кто — мы?

— Ну... мы с тобой. Вон, хотя бы за теми окнами.

Петрович усмехнулся:

— Там уже живут.

Вероника перебила:

— Ой! «Кафе-бар»... Пошли?

Петрович сделал вид, что не расслышал.

— Скучный ты, и гулять с тобой скучно... — Она опять надула губки. — Давай хоть в магазин зайдём.

Магазин, куда они зашли, был продовольственный, один из тех, что пахли кофе. Впрочем, здесь пахло не только кофе, но много чем еще — съестным и дефицит-

ным. Стены торгового зала украшены были лепными изображениями всевозможных яств, но вкусные запахи источали не эти барельефы, а настоящие продукты, лежавшие на прилавках.

– Ой! – вскрикнула Вероника. – Сосиски!

– Т-ш-ш... – смутился Петрович. Оглянувшись, он встретился глазами с какой-то очень белолицей дамой. Дама тут же опустила взгляд, но брови ее, выщипанные в ниточку, поднялись кверху.

С кошелечком в руке Вероника припала к прилавку:

– Можно мне...

Но продавщица через ее голову обрадовалась белолицей даме.

– Здравствуйте! – заулыбалась она. – Что же вы там стоите?

– Я подожду, – ответила дама. – Молодые люди, видимо, спешат на электричку.

Она опять приподняла свои выщипанные брови, и то же сделалось с бровями продавщицы.

– Что вы хотели? – Это уже был вопрос к Веронике.

Все-таки они купили сосиски – два кило. Из магазина Вероника вышла с бумажным пакетом в руках и в некоторой задумчивости.

– Скажите, какая мадам... – пробормотала она.

– Кто?

– Ну та, напудренная... И что это она про электричку говорила?

– Забудь, – сказал Петрович и взял ее за руку. – Мы с тобой гуляем.

Пара двинулась дальше и гуляла еще метров сто пятьдесят, пока не встретила очередную светящуюся букву «М». Здесь Вероника решила, что гулять довольно.

– Ладно, – объявила она, – для первого раза хватит. – И усмехнулась: – Пошли на электричку.

И они снова спустились в метро и продолжили свой прерванный подземный путь. Вероника больше не

шептала про себя названия станций. Примолкнув на валком вагонном диванчике, она прижимала к груди пакет с сосисками и только изредка сглатывала слюнку. Однако делала это она не от голода, а потому что у нее закладывало уши, — хотя метро было как метро, но грохот в нем стоял изрядный. Ехали они довольно долго, пока к очередному радиосообщению «станция такая-то...» Петрович не добавил специально для Вероники:

— Наша!

Он и впрямь уже считал своей тети-Танину станцию. Как было не считать, если здесь его ежедневно встречал этот рыжий приятель. Правда, сегодня пес повел себя предательски по отношению к Петровичу. Все свое обаяние рыжий употребил, чтобы понравиться Веронике, — и имел успех. Она вытянула из пакета связку сосисок, собственными белыми зубками откусила две штуки и... едва не лишилась пальцев. Оценил ли рыжий тот факт, что сосиски были высшего качества? — навряд ли. Но их благородный, с легким привкусом копченого запах растревожил саму Веронику.

— Так кушать хочется, — прошептала она, прильнув к Петровичу. — Больше, чем тебя...

Ему тоже хотелось сосисок и хотелось остаться наедине с Вероникой; но Петровича начинало помучивать еще одно, не столь приятное предвкушение — предвкушение их неизбежной встречи с тетей Таней. Каково-то примет она новую постоялицу... Однако деваться было все равно некуда, и он, ничем не выдавая своих опасений, повел Веронику навстречу неизвестности.

Впрочем, когда они добрались наконец до тетиной квартиры, ее самой там не было: тетя еще не вернулась с работы. У Вероники появилась возможность привести себя с дороги в порядок, и она этой возможностью воспользовалась. Она закрылась в ванной и, проведя там некоторое время, вышла к Петровичу в халатике таком коротком, что у него екнуло сердце. Оно екнуло сначала

по понятной мужской причине, а потом... потом при мысли, что этот халатик увидит тетя Таня. Не удержавшись, он привлек Веронику к себе и почувствовал, как подалась она навстречу; Петрович увидел вблизи запрокинувшееся лицо и узнал затуманившиеся вдруг глаза...

— Подожди... подожди... — Балансируя на краешке сознания, она забормотала что-то про сосиски и про его тетю, которая должна была вот-вот прийти.

С большой неохотой Петрович внял доводам разума и выпустил Веронику из объятий.

— Фух! — выдохнул он. — Тогда давай делать ужин.

Они прошли на кухню, и там к Веронике быстро вернулось самообладание. Оглядевшись по-женски цепко, она довольно смело принялась делать ревизию тети-Таниных припасов. Скоро она убедилась, что кухонные закрома от изобилия не ломаются.

— Чем же вы питаетесь? — удивилась Вероника. — Странно, в Москве живете, а в холодильнике шаром покати.

— Мы питаемся вермишелью. — Петрович вздохнул. — Она мне по ночам снится.

— А я думала, что-нибудь другое. — Она улыбнулась. — Ладно, пусть сегодня тебе приснится картошка.

Действительно, Вероника нашла под плитой авоську со старой картошкой, процветшей уже кое-где бледными отростками. Неизвестно еще было, как отнесется тетя Таня к гастрономическому новшеству, но Петрович своих сомнений не высказал. «Семь бед — один ответ», — подумал он.

Спустя полчаса квартира уже вся благоухала картошкой, жаренной с луком. Казалось, даже тетины горшечные цветы внимали с интересом непривычному аромату. В сущности, в запахе этом не было ничего особенного, — подобные можно услышать в любом подъезде любого дома. Во всех квартирах, где люди живут семьями, женщины жарят что-нибудь по вечерам, и вкусные

запахи просачиваются из жилищ наружу и дразнят ноздри тем, кто по какой-то причине не обзавелся семьей либо жилищем.

Но даже если запах жареной картошки и просочился в подъезд, тетя Таня и подумать бы не могла, что он исходит из ее собственной квартиры. Только войдя в переднюю, она с изумлением потянула своим большим носом.

— Это еще что? — пробормотала она.

В следующую секунду она разглядела на вешалке Вероникино пальто и переиначила фразу:

— Этого мне только не хватало!

Больше тетя Таня ничего не сказала. Молча она позволила Петровичу снять с себя шубу, размотала кашне и, севши на пуф, склонилась, чтобы переобуться. И тут боковым зрением она увидела... девичьи голые ноги. Тетин взгляд побежал по ногам вверх, скользнул по подобию халатика и добрался до синеглазого лица с ямочками на щеках.

— Тетя, это Вероника... — залепетал Петрович. — Я тебе о ней рассказывал.

— Здравствуйте! — Вероника улыбалась так приветливо, что казалось, вот-вот, и она покроет тетю Таню поцелуями... Но до поцелуев дело не дошло.

— Добрый вечер, — отозвалась тетя довольно сухо.

Она сняла сапоги, воткнула ноги в шлепанцы и удалилась в свою комнату.

— ..? — одними глазами спросила Вероника.

В ответ Петрович также молча пожал плечами.

Они вернулись на кухню и там притихли в ожидании развития событий.

Тетя Таня явилась к ним, только исполнив свой обычный ритуал переодевания и снятия макияжа. И похоже было, что вместе с косметикой она смыла с лица своего всякое выражение. Молча приняла она тарелку с сосисками и румяной картошкой и с бесстрашием индейца принялась за еду. Наверное, она мучилась отсут-

ствием на столе своей «Вечёрки», но виду не подавала. Так в безмолвии прошел у них весь ужин, хотя, сказать по совести, жареная картошка заслуживала похвалы. Лишь отхлебнув из второй чашки чая и поставив перед собой основательную дымовую завесу, тетя Таня сделала неожиданное и решительное объявление:

— Вы, молодые люди... — здесь она закашлялась, — если вы полагаете, что я положу вас спать вместе, то вы ошибаетесь. Вот так-то.

«Молодые люди» переглянулись.

— Что ты, — Петрович хмыкнул, — мы об этом и не мечтали.

Суровое объявление, надо полагать, нелегко далось тете Тане. Однако после него тетино настроение как будто пошло на поправку. Лицо ее помягчело, особенно когда она заметила, с какой точностью Вероника воспроизводит на сушилке верный строй посуды. И вот, под стук вымываемых тарелок, на кухне сама собой установилась почти что дружественная, хотя и порядком загазованная атмосфера. Тетя Таня не вмещала в себя больше двух чашек чая, зато курить она могла сколько угодно. От папиросы к папиросе, она завела с Вероникой беседу. Правда, беседа ее больше смахивала на допрос, но уж такова была тетя Таня. И Вероника отвечала ей бойко, как на экзамене, — о себе, о своей учебе и о планах на будущее, которого она не мыслила без него — вот без него, кого она потрепала по волосам. К тете Тане она в разговоре так и обращалась: «тетя Таня», на что та в первый раз кашлянула, а потом лишь едва заметно улыбалась.

Не было ничего удивительного в том, что беседа их в духе женского взаимопонимания обратилась к Петровичу, к его обстоятельствам и перспективам. Тетя сообщила Веронике, что избранник ее не кто иной, как «мешок» — тип ленивый и безынициативный. И что какие планы можно строить, если по нему плачет армия...

Есть, продолжала тетя, есть, конечно, шанс избежать солдатчины. Тут всего-то надо Петровичу сказаться психопатом или на худой конец шизофреником, но олух и этого не хочет.

— Подумай, Вероника, подумай хорошенько, с кем ты связалась. Это совершенно инертное тело...

Давая девушке подумать, тетя взяла небольшую паузу — примерно на полпапиросы. Потом заговорила снова, но уже другим тоном:

— Вот, если бы ты могла на него повлиять, — произнесла она раздумчиво, — если бы ты уговорила его пойти к этому... доктору... тогда другое дело. Жить в Москве ему есть где... В конце концов, если вы когда-то... я имею в виду, если ваши отношения...

Речь ее как-то разладилась; дымила тетя отчаянно, а формулировала с трудом:

— Живу я одиноко, то есть одна... ты понимаешь, что я имею в виду?

Конечно, Вероника понимала, куда клонит тетя Таня, и кивала не из одной только вежливости. Понимал и Петрович, но он молчал с задумчивым видом — разговор этот отчего-то был ему в тягость.

И тем не менее вечер можно было считать удавшимся — вопреки его, Петровича, опасениям. Вероника даже удостоилась чести лицезреть коллекцию марок. «Отбой» в своем, как она выразилась, «пансионе» тетя Таня объявила уже за полночь. Петровичу ничего не оставалось, как пожелать женской половине «спокойной ночи» и отправляться в свою комнату.

Но что значили эти слова «спокойной ночи» в его обстоятельствах... Погасив лампу, Петрович вытянулся на тетиной тахте и замер, наблюдая, как комната обретает черно-белые неверные очертания, проявляется, словно пересвеченное фото. Потолок и стены озаряли отблески немеркнувшей Москвы. Город за окном не спал, потому что для него погаснуть и остановиться

означало бы катастрофу и гибель. Город, широкий, распластанный, как морской скат, был, подобно этой рыбе, обречен на пожизненное движение...

Но и к Петровичу, лежавшему неподвижно, сон не шел этой ночью. Сон не шел, и не шла Вероника... Только время шло.

Но вот лилия на подоконнике едва заметно качнула широким листом. Петрович не услышал — он просто почувствовал: наконец-то. Наконец-то она, его желанная, ступила на тропу любви... Не потревожа ни единой половицы, Вероника вошла будто по воздуху и... пала к нему в объятия, вмиг обретя плоть и страсть... Фикусы и лилии потрясенно молчали в своих горшках, но... не могла молчать тетина тахта. Глупая старая деревяшка! — понимала ли она, что это был пик ее карьеры...

Петрович подумал: «Хорошо бы сейчас, как в словесной детской игре, ~погрузить на баржу\ весь мир от буквы ~а\ до ~я\ включительно и... затопить эту баржу в глубоком месте».

Так оно и случилось, как он хотел, — в эту ночь и Москва с Митрохиным, и тетя Таня (прости, дорогая) — весь мир с его глупым вращением пребывал по ту сторону действительности.

А с Петровичем и Вероникой происходило вот что: они предавались любви. Из всех вопросов их сейчас занимал только один, хотя оба они знали на него ответ:

— Ты меня любишь?

— Да.

Без счета спрашивали они друг друга и без счета отвечали — без счета раз и без счета времени. Потому что не только вещественный мир, но само время в эту ночь великодушно удалилось. Нет, время не хотело прервать их любовный полет, и не оно его прервало. Есть еще один ограничитель у всякого полета — это собственная сила крыльев, которая, увы, не беспредельна. Хорошо стричь небо, парить упоительно, но приходится, при-

ходится опускаться на землю, чтобы не пасть на нее бездыханным.

А опустившись на землю, небожитель — хочет или нет — начинает слышать ее звуки, чувствует ее содрогания. Вот лифтом прострелило дому позвоночник; вот что-то длинно обрушилось в мусоропроводе. Где-то затрепетал проснувшийся водопроводный кран и, пискнув по-птичьи, умолк. Первый кран разбудил остальные. Вскоре дом уже подрагивал всеми своими панелями, словно от топота приближающейся конницы. Вентиляционные отдушины его заговорили людскими голосами, и канализация недружно, но повсеместно салютовала навстречу утру... Баржа всплывала.

Петрович привстал на локте и всмотрелся в лицо Вероники. Ее глаза в темноте мерцали без мысли — одной только нежностью.

— Ты не спишь еще?

— Сплю, — ответила Вероника, сладко потянувшись.

— Я хочу тебе кое-что сказать.

— Про любовь? — Она протянула руку к его губам.

— Нет... — Он поцеловал ее пальцы. — Не про любовь.

— Тогда... может быть, завтра?

В голосе Вероники прозвучала истома, а в словах здравый смысл; поэтому Петрович отступился, не стал продолжать. Даже если завтра уже наступило — с этим сообщением можно повременить. Серьезные разговоры и судьбоносные решения — все подождет, пока спит любимая.

И все-таки завтра наступило — оно лишь обошло с флангов комнату, где юная парочка заснула в капустном орнаменте смятых и влажных еще простыней. Однако на другом фронте, тети-Танином, активные действия уже начались, — и начала их сама обороняющаяся сторона. «Пора!» — угадала тетя сквозь сон и упреждающим точным выпадом подавила на тумбочке вражескую артиллерию. Довольная своим успехом, она поле-

жала с минуту, потом сказала себе: «Ну так...» — и рывком села в кровати, что в ее возрасте делать небезопасно. Приняв вертикальное положение, тетя Таня спустила ноги на пол и завозила ими в поисках шлепанцев. Сначала правый, потом левый, шлепанцы были найдены легко. Не глядя, она потянулась к торшеру и дернула за шнурок. Свет, едкий, словно мыло, брызнул из под абажура, но тетя знала утреннюю ярь своего торшера и предусмотрительно зажмурилась. Вот до этой минуты события развивались, как им положено, но когда тетя Таня открыла глаза, то получила удар посильнее вспышки света. Горький факт предстал ей со всей очевидностью: кушетка, на которую она вчера уложила Веронику, была пуста! Увы, тетя Таня, человек — не шлепанец, он не всегда остается там, где его положишь с вечера... Сухое тетино тело сотряс кашель, но это был не обычный утренний кашель курильщика, а усиленный возмущением.

Впрочем, что толку теперь было кашлять и возмущаться. Тетя Таня покрыла кружева своей ночнушки шелковым трауром халата, затем с коленным хрустом поднялась с кровати, запахнулась, подвязалась пояском с кисточками на концах и отправилась совершать необходимые утренние ритуалы. Наперекор своей досаде, умывалась тетя энергично, по-мужски фыркая, а после громко била себя по щекам. Вышла из ванной она взбодренная, решительная, как всегда. Она даже сделала несколько шагов в сторону комнаты племянника, но... внезапно остановилась, словно натолкнулась на невидимую преграду. Тетя Таня раздумывала несколько мгновений, потом махнула рукой и, круто развернувшись, пошла на кухню. Здесь она волевым движением распахнула холодильник, отчего тот содрогнулся и сердито забормотал. Пошевелив пальцами, тетя выбрала два яйца из восьми, словно боеголовки, торчавших в дверной кассете. Затем она разожгла пли-

ту и, поставив греться сковородку, включила настенный репродуктор.

– Передаем сигналы точного времени, – сказало радио и запикало.

Тетя Таня взяла яйцо и занесла ножик...

– Союз нерушимый... – грянуло радио. Тетя ударила по яйцу и... кокнула его пополам.

– Этого мне только не хватало! – воскликнула она в сердцах.

О сколько врагов себе нажил старый глупый СССР этой ежеутренней трансляцией гимна. Сколько теплых голых тел, сплетенных в собственных нежнейших союзах, содрогались в постелях при первых его раскатах... И только Петрович с Вероникой спали сегодня так крепко, что ничего не слышали. Они спали и спали, покуда не взрезался горизонт за московскими домами и, лопнув, не залил небо и окна свежим золотистым соком.

СЕРГЕЕВ И ГОРОДОК

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Власти наши издавна постановили, как должны между собой различаться населенные пункты. Где горсовет с Лениным – это город, где сельсовет с флагом – село, а где нет ничего – деревня. Но мы, жители, это по-своему понимаем. В деревне все деревянное, деревенский домовой с лучшим родные братья. В селе веселее: где успел, там и осел, в селе МТС*. А город – другое: город огорожен, город гордый, на горе построен. «Взыдет князь на высокое место, поведет очима семо и овамо, топнет ножкой и повелит граду быть...»

Однако наш городок возник без княжьего соизволения. И лежит-то он в низинке, и гордости в нем никакой нет. Просто деревушки подмонастырские, польстясь на слободскую жизнь, хлеб сеять перестали. Завели фабрички, торговлишку; тут еще железная дорога много помогла. Впрочем, городом мы себя еще долго не признавали – только когда собаки уличные своих от чужих пере-

* МТС – машинно-тракторная станция.

стали отличать, тогда и спохватились. Подали прошение куда следует, дескать, все у нас есть: и волостное управление, и милиция, и амбулатория. Хотим, мол, городом зваться и городское содержание от властей иметь. А власти отвечают: «Все у вас есть, да не все. Главного нет — завода. Фабричонки ваши мелкие, частные мы разорим, а большой химический завод построим — тогда и городом назовем». Подумали мы, подумали — делать нечего: сами навязались. Согласились на завод, а нас уж никто и не спрашивал... Власти разорили фабричонки, торговлишку и построили химзавод. Дорого мы заплатили за городское звание. Думали, хоть сделают нам водопровод, дороги замостят, ан просчитались. «Перебьетесь, — сказали власти. — Городом мы вас назвали, а теперь живите как хотите. Только на завод не прогуливайте». И чтобы мы, значит, двум богам не молились, они до кучи разорили монастырь.

С тех пор и живем: не город, а так — слобода заводская. Где была деревня Мутовки — улица Мутовская, где Митино — Митинская. Одни лишь собаки городскими стали: не лают, не кусаются — зачем мы их только кормим...

Завод пристроил к нам свой поселок. Домов поставил на пустыре, на болоте, даже на старом кладбище. Провел в них центральное отопление, а между домами заасфальтировал улицы. Власти нарекли эти улицы от балды, чтобы приезжих пролетариев было где прописать. Селили там людей со странными ненашенскими фамилиями. А местные — Козловы да Мухины, Скибины да Калабины — остались проживать в своих избушках с курами, огородами и колодцами.

Переселиться из частного сектора в жилдома было невозможное дело. Взять тех же Калабиных. Васька, Димитрия старший сын, как женился, нет, как ребенка родил, стал просить у завкома квартиру. Завком отказал: «Ты в своем доме живешь, тебе не положено». А он:

«Дом-то маленький, и не мой, а батин. Тесно нам». А они: «Ничего не знаем — не положено». А он вспылал: «Я этот завод поднимал! Я мастером работаю!» — то да се... А завком спокойно отвечает: «Работаешь — и работай. А будешь выступать — мигом вылетишь и из мастеров, и вообще с завода. Беспартийный, а туда же!» Тут ему и крыть нечем: в партию его действительно не принимали по причине плохой анкеты. Отец его, Димитрий, был из раскулаченных.

Мало кто помнит, был у нас такой хутор Калабино — не деревня, а хутор. Жили там одни Калабины — семья или две. Хорошо жили; хозяйство у них было на полном ходу. В базарные дни масло в Москву возили, вальщики тоже считались знатные. Кого же раскулачивать, как не их? Конечно, власти про них не забыли — разорили вместе с прочими. Поляна, где хутор стоял, давно уже заросла бурьяном. Однако Димитрия не сослали — и на том спасибо, — а позволили переселиться с семьей в городок. Похоже, все-таки он кое-что ухитрился от властей утаить, потому что сумел купить на Митино домик с участком.

Семейство, поселившееся в домике, кроме главы своего состояло из жены Димитрия Васильича Анастасии Егоровны, троих их сыновей — Василия, Степана и Петра, а также выжившей из ума старухи Екатерины. Про эту Екатерину многие думали, что она мать Димитрия, но она была его тетка, урожденная тоже Калабина. Переехав на Митино, Димитрий взялся за привычное ремесло: катать валяные сапоги на заказ и просто на рынок. Младшие сыновья пошли в школу, а Васька, знавший уже и счет, и грамоту, подался на заводскую стройку. Парень он был к труду смышленный: лет в тринадцать мог уже сам разобрать и спаять по новой самовар и без отцовской помощи починить молочный сепаратор. Довольно скоро Василий возвысился до мастера и числился в заводе, в общем-то, на хорошем счету (по-

ка не потребовал жилье). Степка, окончив семилетку, пошел от военкомата учиться на шофера. Петька с одной парты перепрыгнул за другую: поступил в техникум, где и проучился до самой войны. Так бы все ниче-го, но жизнь им портили проказы бабы Кати: сходит, бывало, под себя и обмажет кругом — кому это понравится? Наказывать ее было без толку, да и побаивались: люди считали ее колдуньей. Однажды она доигралась: пояс свой привязала к балке, сделала петлю, голову просунула да с печки и — прыг. Потом, когда ее в гробу, значит, выносили, в доме раздался такой хлопок, как взрыв, и повывлетали все рамы. Прямо из стен повывпадали, а стекла, между прочим, целые остались. Тогда-то все и убедились, что Екатерина — точно ведьма. Неспроста про нее говорили, что она в молодости такая красавица была, какие в наших краях не рождаются.

Но после того, как баба Катя удавилась, жильцов в доме не убавилось, потому что Василий женился. Взял он митинскую же, погорелых Бурцевых Надьку, и родила она ему дочь Наталью, а перед войной еще одну, Анну. Потом на Россию напали немцы, и началась война. Ваську забрали на фронт. Уходя, он сказал: «Не волнуйтесь, долго мне воевать не придется». И точно — в сентябре его уже убило. В сорок втором призвали Степку: его взяли в танкисты. В сорок третьем настал черед Петькин. После Васькиной гибели старый Димитрий сильно сдал и с головой дружил уже плохо. Провожая младших, нес какую-то чушь: «Вы, сынки, — говорил он, — побейте сначала фашистов, а потом и наших коммуняков, мать их душу». Сыновья прикрывали окошки: «Ты, батя, такого больше нигде не скажи!» Степка-танкист воевал как положено: и ранения имел, и награды. Домой вернулся в сорок шестом — живой, хотя и весь обожженный. С Петькой другая история. Служил он на аэродроме техником, потом стал летать. Но летали они не на фронт, а на Дальний Восток, помощь американ-

скую по ленд-лизу возили. Однажды самолет у них сломался, и сели они в тайге на поляну — снег выручил. А на борту — бочки со спиртом, полная загрузка. Бравый экипаж не растерялся и наладил с местными индейцами обмен: спирт, керосин — на жратву и прочее. Так они там и просидели чуть не до конца войны. Вернулся Петька невредимым, но законченным алкоголиком.

Однако Димитрий сыновей своих не дождался. Схоронила его Настасья в сорок четвертом. Надежда, вдова Васькина, чтобы прокормиться, пошла ткачихой на фабрику. Братья, как пришли с войны, оба женились. Степан — на Томке Спириной, учетчице из лесхоза (он туда на трактор устроился). Петр — на приезжей библиотекарше по имени Альбина. Женились оба по-глупому, что один, что другой: Томка прописана была в женской общаге, а Альбина и вовсе спала на стульях в своей библиотеке. Но думать было поздно: обе забрюхатели. И когда они разродились, домик затрещал по швам. Хорошо, что Степка с Томкой работали в лесхозе: тесу, бревен добыли, сделали пристройку. Потом покумекали с Петькой (он тогда еще был похож на человека) и сообща выгнали второй этаж. Пятидесятые годы прожили, можно сказать, с комфортом: внизу баба Настя и Надежда с дочерьми, в пристройке Степан с Тamarой и сын их Серега, наверху Петр с Альбиной и сыном Славиком. Однако никакое благоусобие не может длиться вечно. Петька пьянствовал, бил Альбину и мешал Славiku делать уроки. Анька с Наташкой подросли и стали шляться, а после и к себе приводить разных обормотов. Петька с ними нашел общий язык. Его выгнали из техникума, где он преподавал военное дело и физкультуру. В итоге он вообще перебрался жить на первый этаж, а баба Настя с Надеждой перешли наверх к Альбине. В шестьдесят шестом Петька погиб — замерз в сугробе. К тому времени весь первый этаж оккупировали Анька с Наташкой, их четверо детей и часто ме-

нявшиися сожители. Баба Настя уже еле ползала; за ней ухаживала одна очкастая Альбина. Надежда очень уставала на фабрике, у нее опухали ноги. Но она хорошо зарабатывала и давала деньги «для Славика», которого называла внучком и который сделался для нее единственный свет в окошке. Степан с Томой жили хорошо. Правда, он отсидел два года за хищение и вышел по амнистии как фронтовик на двадцатипятилетие Победы. Но крал, собственно, не он, а Томка, а он взял вину на себя. Они купили мотоцикл с коляской марки ММЗ и держали его во дворе под брезентом. Огородом уже почти никто не занимался: что толку — все сожрет Аньки-Наташкина орава. Приструнял их иногда только Степанов Серега. Парень не пил, не курил, качал мускулы и серьезно готовился к армейской службе. Наташка тогда жила с Долговым, самогонщиком; они весь дом провоняли брагой. И что-то этот Долгов то ли сказал, то ли сделал Сереге. Малый взял играючи одной рукой сорокалитровую флягу и вылил эту дрянь Долгову на голову.

И зачем все это перечислять... Сергеев, тебе интересно?

Ладно... Разогнули Петьку в морге, положили в ящик, снесли на кладбище. Серегу проводили в армию. На втором году попал он в Чехословакию. Правильной жизни рос паренек, но из армии вернулся какой-то смурной. Поступил в милицию. Славка уже учился в институте на третьем курсе. В семидесятом, как раз когда Петра выпустили, померла, наконец, баба Настя. Тогда же, кажется, женился Серега, и пришлось делать к дому еще пристройку. Ну и так далее... Набралось их в доме человек пятнадцать, а может, и больше. Тот же хутор, только хозяйство у каждого свое — у каждого свои пироги. Собирались редко — по праздникам, и как соберутся — всякий раз скандал. Степан обоженный нацепит медали и ходит звякает, а Серега бурчит: «Чем хвалишься — ты их освобождал, а они нам нож в спину!»

(Это он на чехов насмотрелся.) Славка, аспирант волосатый, приедет из Москвы и шуруется на родичей, как на папуасов, а сам нечесаный, хуже всякого папуаса. Раз Серегу ментом назвал — и тут же в лоб схлопотал. У баб промеж собой тоже недоразумения. Томка Альбину малахольной считала: «Дожила до старости, а за душой ни гроша — чулки и те драные!» Альбина в ответ обзывала Томку воровкой. Та взвизывалась: «Это я-то воровка? Ты воров не видала! Подумаешь, святая непорочная, просто у тебя в библиотеке взять нечего!» Заведутся, и понеслось... Одним только Аньке с Наташкой все было до лампочки: напьются — и давай песни орать. Оторви и брось — они тогда пропитчицами на заводе работали: там мало кто до пенсии вредной доживал, зато платили по триста и спирту было — залейся.

В общем, не сказать, чтобы Калабины между собой ладили. Однако деваться некуда — жили-поживали, пока не сгорели.

— Сгорели?

— Было дело — как раз на Олимпиаду. Какой-то праздник они отмечали, все собрались. Даже Славка приехал со своей первой, как ее — Ви... Ви... Виолеттой или Викторией. Пожар в частном доме — не приведи Бог. Все деревянное — горит, как порох... Главное — детей успеть вытащить. Выскочили кто в чем был, обнялись и смотрят, как их родина полыхает. Потом, конечно, переругались: кто виноват, от кого гореть пошло. Все спалили: и пожитки, и сберкнижки, и документы...

— И как же после?

— Да как-как... Главное — живы остались. Люди добрые помогли, завод, между прочим, исполком. Сначала по общагам расселили, потом квартиры дали.

— Стало быть, нет худа без добра?

— Наверное...

— А как же тот участок — на Митино?

— А вот мы как раз до него дошли.

- Ого! Это чей же такой особняк?
- Угадай... Серегин! Сергей Степаныча Калабина.
- Да ну! Он что же, в бандиты заделался?
- Нет, что ты.
- В банкиры?
- Да нет, какой из него банкир... Генерал он.
- Генерал... И такой особняк... Он что – ворует?

Взятки берет?

– Насчет этого не знаю, может, и ворует. Но дом они в складчину построили. Все Калабины свои квартиры продали и отгрохали домище. А Степаныч у них главный, он больше всех вложил.

– То есть... не понял... Они что – опять съехались?

– Ну да. Почти все обратно съехались. Опять, конечно, лаются, но потише, чем раньше: у Степаныча не забалуешь.

– И зачем же они съехались, чтобы снова лаяться?

Жили бы каждый сам по себе...

– Ну, уж это ты у них спроси.

СУДЬБА

В любом дворе, квартале любого городка – везде, где собираются стайками лихие пацаны и перепархивают, чиня ежедневный разбой, – обязательно среди этих сорванцов выделяется самый отчаянный, самый горластый, самый исцарапанный. Для прохожих собак всегда припасены у него камни, для девочек – две грязноватые пятерни, а для приятелей – пара твердых беспощадных кулаков. Позже всех удастся загнать его ужинать – лишь когда мать совсем сорвет голос, выкликая свое «наказанье»; раньше других он выходит на улицу утром и слоняется по двору в одиночестве, расстреливая из рогатки голубей и кошек. Это он научил остальных мальчишек материться, курить, играть на деньги

в битку и карты. Это его была идея поймать в подъезде шестиклассницу Маринку, которая почти не сопротивлялась под гипнозом его жестоких глаз, покуда вся компания рылась жадными ручонками у нее под платьем. Как объяснить, что мальчишеская удаль и сила характера всегда употребляются на бесчинства, а изобретательность — на дерзкие пакости? Скорее всего, бесы, загнанные когда-то в стадо свиней и заставившие бедных животных утопиться, сами не утонули, а благополучно здравствуют, переселившись в беспокойные пацаньи тела и питаясь маминым борщом, семечками и ворованными яблоками.

Вовкиному бесу досталось подходящее тело: широкоплечее, широкогрудое, на крепких кривоватых ногах. С детства Вовка Фофан превосходил сверстников силой и ростом, а в воинственной наглости ему и вовсе не было равных: даже старшие с ним не связывались после того, как он кирпичом разбил голову боксеру Твердову. Учился он, разумеется, плохо — всегда находились занятия поинтереснее: драться со всяким желающим, пить одеколон из столовой ложки, повесить старый гондон на дверях у завучей, залепить историку в лоб огрызком, подсмотреть через зеркальце трусы у старшей пионервожатой... да мало ли что еще. Будучи восьмиклассником, Фофан уложил на лопатки школьного физрука, но изо всех видов спорта предпочитал один — красть лошадей с конефермы в Матренках. Тогда же, в восьмом классе, Вовка начал бриться и всерьез озаботился половым вопросом. Он не утруждался ухаживаниями, а брал свое силой и наглостью: многие девчонки ходили под его адмиральским флагом, правда, к их радости, не подолгу. В друзьях Фофан не нуждался, а только в свите, как акула в эскорте прилипал, и, надо признаться, много таких находилось среди наших ребят (о чем они впоследствии постарались забыть). Бессменной Вовкиной «шахой» был Борька Филатов,

по прозвищу Бобик или Филка. Ему оказывал грозный патрон брезгливое покровительство, ему в туалете оставял окурки, но и ему же, от нечего делать, перепадали то поджопник, то затрещина. Одних лишь лошадей любил Вовка и никогда их не мучил. В те годы многие озоровали по ночам на конеферме — такая была мода; украденных лошадей находили в городке — загнанных, пораненных. Если Фофан узнавал, чьих рук это дело, то находил и бил виновных безо всякой пощады. Вообще провиниться перед ним было несложно, и редкий нос в округе не познакомился при тех или иных обстоятельствах с его кулаком. Кроме, пожалуй, носа Сергеева, что на первый взгляд могло показаться загадкой, так как Сергеев перед Фофаном не лебезил и не искал с ним короткого дружества. Тем не менее при случайной встрече он достаивался от Вовки приветствия и благожелательного разговора в таком духе:

— Здорово, паря! Как сам? Никто на тя не нарывається?

— Нет, — отвечал Сергеев, пожимая большую ладонь.

— Хошь, сѣдня ночью покатаемся?

— Не хочу.

Сергеев отказывался от великой чести.

— Что так? Ссышь?

— Нет... Лошадей жалко.

— А... — Фофан будто даже смущался. — Ну, как хошь... Ну бывай... Ты это... если тя кто обидит, мне скажи.

Так выходило, что, сам того не добиваясь, Сергеев находился под защитой Вовкиных кулаков. Оценить это ему пришлось позднее, когда их возрасту настала пора «показаться в свете», проще — на танцах.

Танцы... Городок наш тех лет без них не представишь. Только калеки да совершенные маменькины сынки не ходили на танцы. Да и как иначе, если самих Фофанов и Сергеевых половина была зачата в кустах по-

сле танцев. Конечно, старинные танцульки выглядели примитивно. Сейчас молодая собака, гуляя, наткнется в парке на остатки асфальта, проросшего кустами, и недоуменно обернется на хозяина: «Что это?» А это руины того древнего пятачка, где врыт был стол с радиолой, где два мента торчали под фонарем, всматриваясь в темноту за деревьями, — там, в темноте, словно топоры дровосеков, тюкали кулаки. Девчонки, сбившись в кучки, боязливо жались по урезу асфальта, жались, но приходили сюда каждую среду и субботу...

Разумеется, и на том пятачке в парке кто-то «держал шишку», но время не сохранило былинные имена. Ни Фофан, ни Сергеев не застали в действии лесного танцкапища; в их эпоху, тоже, впрочем, ушедшую, танцы бушевали уже в клубе. Это был еженедельный шабаш, которому где и совершаться, как не в поруганной церкви: ее превратили власти в дом поднадзорного досуга. Это потом переосвященная мутовская приходская церковь снова засияла, нарядная, как пирожное, пуская зайчики свежим крестиком, а тогда... Чего только не держала в ее здании советская власть: какую-то заготконтору, скобяной цех, а под конец — прости господи, — клуб с танцами. Каково же было слушать этот варварский топот потомственным церковным мышам, переживавшим лихолетье в ее подвале...

Впоследствии Генка Бок признавал за собой великий грех. Был он тогда гитаристом и вроде как руководителем ВИА «Кварц», отчаянно громыхавшего на клубной сцене. Лихие созвучия оскверняли не только помещенные храма, но и всякое мало-мальски искушенное ухо. Тем не менее лабухи почитались тогдашней молодежью подобно жрецам или священным животным. Иногда случалось, что, заигравшись, кто-то из музыкантов падал со сцены, но его тут же водружали обратно бережные руки. Вдохновение их питалось девичьими вздохами, а в большей степени портвейном «Агдам». И только

им одним на танцах гарантировалась неприкосновенность, тогда как прочие ходили в клуб на свой риск.

В семь вечера зал еще был полупуст и полутемен. Редкая пока публика намазывалась у стен: к началу приходили самые зеленые. Музыканты, не глядя в зал, переговаривались, вяло перебрякивались гитарами; Бок настраивал реверберацию: раз-аз-аз-аз... Но постепенно народ сгущался, и сгущался в зале воздух: нарастало ожидание. Ярче разгорался свет. Сквозь толпу к сцене протискивался участковый Кользаяев. Разом обильно вспотев, он щелкал пальцем по микрофону и, снявши фурагу, кашлем пытался обратить на себя внимание:

– Уважаемые товарищи мұлодежь!

Назидание безнадежно глохло в свистках и криках:

– Торчи, Кользаяй! Не тащи мертвого за хер!

Махнув рукой, участковый слезал со сцены, и его серый китель под ехидный наигрыш «до-ре-ми-до-ре-до» тонул в цветастой пучине батников и сарафанов. К микрофону заступал Генка Бок.

– Дорогие друзья! – возглашал он манерно, с прононсом. – Мы открываем наш вечер танцев!

Ответом ему был оглушительный рев публики, но, покрывая его, «Кварц» изо всех орудий обрушивал такой силы залп, что в городке начинали брехать и выть собаки.

Вздрагивала земля, в окрестных клубу домиках тревожно звенели окна. Стихия гулянья расходилась быстро, почти вдруг, и спустя час молодое море клокотало в клубе от стены до стены, выплескиваясь наружу. В грозном шуме его сливались музыкальная канонада, увесистый топот ног, визги девчонок, бросаемых в воздух, и сосредоточенный мат кулачных бойцов. Участковый Кользаяев, потеряв фурагу, ползал по полу, но натякался то на чей-то затоптанный шиньон, то на свежие, газированные адреналином красные капли: так проливалось кровью счастливое поколение.

Вовка обычно являлся на танцы в самый их разгар. Весть о нем электрически проносилась в клубе: «Фофан... Фофан пришел!» — И семибальное море стихало, как по волшебству, оставляя на поверхности лишь тревожную зыбь. Даже музыканты делали перерыв, принимаясь что-то поправлять и подкручивать в своих инструментах. Слов нет, возмужавший, оперившийся Фофан был громила недоужинный, но и среди парней на танцах много имелось крепышей. Почему же никто не в силах был противиться его драконьему обаянию? Даже Сергеев испытывал тайную гордость, когда, проходя мимо, Вовка небрежно-дружески кидал ему «петуха»:

— Здоров, паря! Как дела?

— Дела зашибись, — вежливо отвечал Сергеев и пожимал несминаемую, как у статуи, ладонь.

Но Фофан приходил на танцы не затем, чтобы разводить «версаль». Выдав, кому следовало, охранные грамоты, он выбредал неспешно на середину зала и становился там с раздумчивым видом. Если жертва не подвертывалась сама Вовке под руку, танцы возобновлялись, а он еще долго мог недвижно возвышаться подобно утесу, омываемому пестрыми, беспечно плещущими волнами. Был он довольно разборчив, и, к чести его сказать, мелочь его не интересовала. Наконец взгляд его прояснялся.

— Филка!

— А-я? — с готовностью откликнулся Бобик, бросая посреди танца свою партнершу.

— Самца видишь?

Филка прослеживал хозяйский взгляд:

— Какого — того длинного?

— Ага... который козлом скачет.

Борька ежился:

— И чего?

— Иди, надерись.

— Вов, он мне башку снесет, — трусил Филка.

— Не ссы, не успеет. Иди, сказал, не то я сам тебе...

Толпа, шарахнувшись, образовывала круг и замирала в оцепенении. Жертва, здоровенный, высокий парень, почти не брыкалась, будто лошадь, понюхавшая дегтю. Вот странно: казалось бы, где, как не в драке, судьба твоя в твоих руках? Ах нет, там судьба был Фофан, неотвратимый и безжалостный.

Возможно, Вовка и сам полагал себя если не рукой судьбы, то ее корешем безусловно. Очень уж ему везло, а ведь скольких ему подобных молодецких кураж свел до срока в могилу. Дёма Бурцев пошел на спор ночью по перилам железнодорожного моста и разбился. Виталька Карнаухов среди бела дня нырнул в пожарный пруд и... изобразил эскимо, наткнувшись темечком на торчавший под водой лом. Шушлебину проломил голову шестигранным прутом. Кукушкина зарезали. Бушуеву в ментовке отшибли потроха. Ламзичкин отравился «метилом». Грачев въехал на мотоцикле под самосвал. А сколько их звездными зимними ночами позаснуло в ласковых сутробах... Все они переселились в наш типайший пригород и выцветают овальными фотками, над которыми прицельно кощунствуют скучающие вороны. Но Фофан прошел огни и воды без урона для себя. Армия показалась ему пионерским лагерем. Отслужив, он устроился, конечно, на завод. Днем он вполне добросовестно махал кувалдой, а вечерами — вечерами и ночами — жил полной жизнью, не давая скучать своему слегка потолстевшему бесу. Портвейн... девчонки... лебезящие знакомцы... танцы... чьи-то выбитые зубы... участковый уважительно просит приглядеть за порядком... вся улица здороваётся... Маринка жалуется на алкаша-мужа: «Вов, дай ему, но не сильно... житья от него нет!» — «Сделаем...» — Фофан шишкарил с достоинством, и его совсем не томило некоторое однообразие такого существования.

Однако шли годы, и заскучала, похоже, сама судьба. Ведь она, злодейка, тоже имеет свой кураж. Одновре-

менно на миллионах досок играя с целыми народами и с каждым из малых, она любит внезапно поменять правила: смахивает фигуры и выставляет новые, давая расчет угревшемуся было штату своих «любимцев». Вовку Фофана она рассчитала тихо, равнодушно и без уведомления. Удача оставила его незаметно, так вагончик, отцепленный от поезда, еще катится по инерции, но уже свернул на тупиковую ветку, а дремлющие пассажиры его не скоро поймут, что случилось неладное.

Перемены в жизни могут вызываться естественным ходом времени. Это когда повыше брючного ремня выкатывается лупоглазый мамончик, когда знакомые «телки» одна за другой выходят замуж или когда самого тебя скорее тянет поправить сарайку, чем, плюя семечки, прохаживаться по улицам на широко расставленных ногах. С этим грустным расписанием времени еще можно побороться, но когда сама судьба передвигает стрелки — тут уже не поспоришь. Но Вовка и не спорил, он проспал поворот, и можно только удивляться, как это случилось: уж так нас подбросило на стыке. Так городок встряхнуло, что будто швы разошлись, и полезло из трещин всякое разное: жвачка и ликеры невиданные, штаны-«бананы» и кроссовки, кооперативы, попы, иномарки, бандюки мордастые и еще много чего. А в другие трещины разверсты проваливалась отжившая рухлядь: пятиэтажки с жителями, фабрики с рабочими, клубы с танцами и вообще, можно сказать, весь старый уклад. А Вовке словно глаза запорошило: все стучал своей кувалдой. Стучал и, однако ж, достучался: однажды пришел в кассу, а ему вместо денег показали шиш. Завод — надежный кормилец всех простых парней городка — «лег», провалился в трещину. Тогда-то Фофан и очнулся, да было поздно: в новой жизни не нужен был обалдуй с кувалдой. Может быть, взяли бы его «пехотинцем» в какую-нибудь бандитскую бригаду, но он по возрасту уже в шестерки не подходил. Помыкал-

ся Вовка и устроился грузчиком в некий кооператив, где командовал не кто иной, как Борька Филатов, успевший на ту пору заделаться предпринимателем. Унижение, которому подвергла Фифана судьба, было со-масштабно его прежнему величию. Шутка ли — попасть под начало бывшей собственной «шахи», получать гроши и видеть, как по улицам разъезжают в иномарках козлы, трепетавшие когда-то при одном его имени. Бить бы их по «мусалам», чтобы брызгали веером кровавые сопли, да нельзя: в карманах у козлов залогом их безопасности лежали теперь заряженные пистолеты.

Однажды вечером, слоняясь по городку с бутылкой пива в руке, Вовка услышал звуки музыки. И хотя музыка была незнакомая, больше походившая на прерывистое татаканье незаглушенного трактора, Фифан, ведомый нетрезвым любопытством, пошел на шум. То была дискотека — новое танцевальное заведение. Мощная музустановка неумоимо накачивала в зале компрессию. Молодежь в «бананах» истово и серьезно выделяла кукольные па. Какой-то тип у микрофона периодически однообразно подзадоривал публику, и она отвечала ему криками: «Вау!» Вовка недоуменно оглядел зал: «Если это танцы, — подумал он, — то где же драка?» Драк не было: молодежь старательно двигала телами и пила из баночек пиво и заграничный лимонад. «Какой-то, блин, утренник...» — пробормотал презрительно Фифан. Самое время ему было повернуться и топать восво-яси, но... тут проснулся и заворочался Вовкин бес, траченный невзгодами, но неукротенный. Он подстрекнул бедолагу хозяина направиться нетвердой походкой через весь зал. Бесу захотелось удивить банановую шелупонь, замутить эти лимонадные танцульки. Способ был известный: задрать какой-нибудь девчонке подол, чтобы она завизжала под общий хохот. А вдруг на ней не окажется трусов (такое случалось, бывало) — то-то будет весело! Фифан подобрался к одной сосредоточенно

изгибавшейся девице и поднял вверх ее короткую юбку. Девица перестала складываться и обернулась:

– Тебе чего, дядя?

– Гы-ы... Ничаво! – Фофан лыбился и озирался, ища поддержки.

Никто, однако, не засмеялся, только паренек, танцевавший рядом, строго осведомился:

– Ты что, дебил, «колес» наглотался? Вольты пошли?

Вовка опешил:

– Ты это кому... «вольты»?!

Паренек нахмурился:

– Тебе, придурок! Давай, шаркай отсюда.

Еще несколько ребят заинтересовались происходящим:

– Кто это, Игорек?

– Да хрен его знает... – Игорек недобро усмехнулся. – Быкует, плесень...

– Откуда он вылез?.. Эй, дед, ты с какой помойки?

Фофан задохнулся от бешенства:

– Что?! С помойки?! Ах ты, сучок... – Он занес для удара свой огромный кулак, но... перед носом его мелькнула белая кроссовка, и свет для Вовки померк. Как ему на всякий случай добавили, он уже не почувствовал... Игорек склонился над распростертой тушей:

– И что с ним делать?..

– В туалет отволочь.

Когда сознание вернулось к Вовке, он снова услышал эту дурацкую музыку. Только теперь ее татаканье звучало приглушенно и смешивалось со звуками сортира. Он открыл глаза и увидел парней, перешагивавших через него, как через падаль. Парни входили в уборную, подергиваясь в танцевальном ритме, пускали в писсуары крепкие молодые струи, деловито пердели и удалялись, едва скользнув взглядом по лежащему Фофану. Он заворочался и сел на грязном кафеле. Голова его боле-

ла, челюсти не сходились одна с другой. В таком положении он в своей жизни точно еще не бывал — Вовке сделалось почти смешно. «Надо же — ногой двинул! Как лошадь копытом...» Держась за стенку, он поднялся и стал искать выход со злосчастной дискотеки.

Пошатываясь, Вовка брел домой, время от времени трогая сотрясенную башку и продолжая удивляться: «Во, блин, двинул — как лошадь!» Добравшись до кровати, он рухнул в нее и забылся, словно заблудился в зеленоватом, глухо звенящем тумане. Ночью ему не снилось ничего определенного, но утром, когда уже рассвело, он увидел лошадей. Однако во сне лошади его не били, они опускали головы над ним, лежащим на полу в сортире, дышали в лицо теплым паром и фыркали, разгоняя по кафелю окурки и гондонные упаковки. Прозвенел будильник, но Вовка его прихлопнул и досмотрел сон до конца.

Проснулся он поздно и еще долго лежал, глядя в потолок. Потом он решительно встал, побрился, оделся в чистое и пошел к Филатову.

— Ты что опаздываешь? — нахмурился, увидев его, Борька. — Смотри, выгоню!

Но Вовка его не слушал. Он сопел, явно волнуясь...

— Филка, — неожиданно выпалил он, — ты заработать хочешь?

— Что? — изумился коммерсант. — На чем?

— На лошадях!

Это была судьба. Судьба, швырнувшая Фофана на пол в сортире, снова улыбнулась ему во сне. Филатов, надо отдать ему должное, быстро прожевал Вовкину идею. Фофан предложил на Филкины деньги арендовать конеферму в Матренках, пришедшую на ту пору в полный упадок, чтобы разводить лошадей на продажу и напрокат. В самом деле — как было не догадаться, что эти козлы, преуспевшие в новой жизни, наворовавшись и настроивши себе усадеб, захотят, черт их дери, иметь и такое барское развлечение?

Филка надел на Вовкину бычью шею золотую цепь и велел ему коротко подстричься. Оба облачились во все черное, сели в Борькину машину и поехали пугать совхозное начальство. Нагнав на деревню страху своим «бандитским» видом и влив в совхозные глотки два ящика бельгийского спирта «Рояль», компаньоны уладили дело в короткий срок. Фермой они завладели, то есть арендовали ее на пятнадцать лет с пролонгацией.

Расходы свои Филатов окупил, уже продав вторую лошадь, а дальше бизнес их стал расти как на дрожжах. Лошадки, пусть и не призовых кровей, шли нарасхват, кроме того, при ферме открыли клуб верховой езды. Борька записывал клиентуру в очередь. Вовка не уходил с конюшни, чуть ли там не ночуя: сам принимал у кобыл роды, мыл своих любимцев и чистил их пылесосом. Денег у фирмы стремительно прибывало. Филка построил себе трехэтажный дом из облицовочного кирпича. Вовка купил импортный вездеход, чтобы ездить в Матренки зимой и летом в любую погоду. Впрочем, его-то деньги не слишком интересовали; он оброс бородой, подсох телом, а душой, наоборот, помягчел. Одежда его пропахла конским навозом, карманы вечно топорщились от булок, а лицо источало благодушие, как у попа на разговенье.

Таким его и увидел однажды Сергеев: ражий мужик в кирзовых сапожищах, с мобильником, притороченным к солдатскому ремню, вылезал из джипа. Фофан узнал однокашника:

— А-а, здорово! Как сам?

От его хлопка по плечу Сергеев еле устоял на ногах:

— Зашибись. А ты?

— А я в милицию приехал... Сечешь, какая-то падла хотела у нас жеребца увести! Поймать бы — ноги выдержать!

— А сам-то, помнишь — по молодости?..

– Гы-ы! – Фофан ослабился. – Было время... Вспомнить бы за бутылем, да некогда. А ты, слышь, паря, приезжай ко мне в Матренки – на лошадаках покатаешься.

– Хорошо бы...

– Ну ладно, бывай!

– Бывай.

Попасть в Матренки Сергееву, увы, так и не пришлось, и Фофана он больше не видел. Той же зимой Вова погиб. Вышло по-глупому: он стоял в деннике, подрезал Забаве хвост (кобылу эту он очень любил). Вдруг у него запищал мобильник, а Забава подумала, что крыса, и испугалась, ну и копытом... Потом кобыла нюхала кровь, пропитавшую опилки, и, говорили, даже плакала, но это, наверное, выдумки.

ПИДЖАК

Просторные поля – краса и гордость нашего пейзажа. Зная это, они смело выпячивают широкие груди – впечатляют путников, поворачиваясь и хвастая сезонными нарядами, а то и в голом виде, ничуть не смущаясь. Они идут из-за горизонта показаться старому хмурому лесу-патриарху, отцу русской природы. А меж ними, тиха и скромна (не заметишь, пока не наступишь), в долинке не по росту пробирается речка Воля. Она мала, слаба, голос ее почти беззвучен, но только ее одну пропускает могучий лес под свою сень. Попав в Берендеево царство, Воля оживает: трется об узловатые корни и мелодично мурлычет. Откуда-то сверху доносятся вздохи и кряхтенье, но здесь, у лесного подножия, всегда тихо и тепло. Живые и мертвые, деревья стоят, сцепившись лапами, сплетясь корнями, обмотавшись прошлогодней паутиной. Здесь необоримо тянет в сон, и Воля задремывает на полянке, раскинувшись болотцем, давая растениям приникнуть к своим сосцам.

Но нельзя ей разлеживаться — долг велит потрудиться. Речку ждут в городке — она ведь у нас единственная. Бабе надо бельишко постирать, пацану — рыбки коту наловить, бате — трактор помыть. Воля польет огурцы, напоит усталую корову и унесет прочь ее обильные кашки... Много дел у нее, но самое трудное для маловодной речки — наполнять мутовскую запруду. Тамошние мужики что-то не рассчитали, делая себе купальню, и запруда растеклась вширь, затопив самим горе-ирригаторам картофельные огороды. Слить ее почему-то не стали, а оставили как есть, прозвав в насмешку «мутовским морем». Морские берега заколосились камышом, недра обжила кой-какая рыбешка, а водной гладью завладели местные гуси. Гуси-то больше всех благодарили бестолковых мутовцев: они спасались в «море» от собак, благоразумно избегавших чуждой им стихии. Покуда к запруде не привыкли, случались из-за нее разные истории. Однажды, например, Гришка Нечаев, забывшись, въехал в нее на самосвале и всю ночь, не умея плавать, просидел на крыше затопленного «зилка». Долго еще, купаясь, мальчишки «солдатиками» ныряли с этой крыши: этих-то удалцов не страшила мутноватая пучина запруды.

Кроме речки Воли и «мутовского моря» есть в городке еще несколько водоемов, в том числе и пожарный пруд при заводе. Но они недостойны серьезного описания: лягушка их переплывет, два раза брыкнув ногами. В целом местность, где мы живем, несмотря на общую сырость, можно назвать совершенно сухопутной. Аравийская безводная пустыня кончается безбрежным океаном, а наша безбрежная слякоть, увы, не имеет конца... Понятно, что при таком положении географических дел на улицах городка не встретишь просоленных моряков, вдали не гудят призывно пароходы и девушки не машут с пирса платочками. Романтика странствий нам несвойственна, ибо нам не от кого ею

заражаться. Правда, многие пацаны, прочитав случайную книжку или посмотрев боевик, представляют себя индейцами, пиратами, не то какими-нибудь неустрашимыми воинами. Иные воображают себя путешественниками и пускаются на плоту по мутовской запруде. Но, получив по башке деревянной саблей или промочившись в апрельской воде, они быстро избавляются от фантазий. Редкие из нас способны с детства поставить себе цель и, не убоившись, плыть за мечтой, как за гусем, когда другие уже поворотили назад. И редкие из редких впрямь доплывут, не захлебнутся... но они уже не вернутся обратно, а останутся на том берегу.

Вот Андрюха, старший из братьев Бабакиных, оказался таким редким человеком. Жизненный путь его начинался здесь, на берегу «мутовского моря», а закончится — где бы он ни закончился — слишком далеко отсюда.

Известно, что обитатели маленьких городков — большие коллективисты. Они чувствуют, что принцип «жить как все», древний, как сами их поселения, хранит их лучше крепостных стен. Нынче, правда, стало модным жить своим умом... что ж, вольному воля, однако не переоценить бы нам силу своих персональных умов; куда заведут они нас — Бог весть. А ведь жить как все — значит знать свое место в жизни, а быть может, и после нее — это дорогого стоит... При всем том наши коллективисты-горожане никогда не третировали ни калек, ни дурачков, то есть сделавшихся «не как все» не по своей вине. Особенно к дурачкам велика была терпимость: писателя нашего, Подгузова, даже полюбили, когда он сошел с ума. Он ходил по улицам и кидал в людей «галочки», сложенные из писчей бумаги, а народ — ничего, только посмеивался.

Андрюха Бабакин, конечно, не был ни писателем, ни даже читателем; в детстве он вообще казался нормальным мальчиком. Но свихнулся он все-таки на книжке: в двенадцать лет Андрюха заболел корью и, ле-

жа в полумраке зашторенной по указанию врачихи комнаты, прочитал ее — первую и, как оказалось, роковую в его жизни. Это был сборник морских рассказов, выроченный мамкой за картофельную сдачу. Окажись в заготконторе книженица про космонавтов, летел бы сейчас Бабакин к звездам; окажись о партизанах — пускал бы, наверное, поезда под откос. Такой уж у него проявился характер — упорный и романтический одновременно. Словом, благодаря этой книжке, будь она неладна, Андрюха заделался мореманом... и сразу, понятно, попал в разряд дурачков. Ребята над ним подшучивали, но без злости: тихий чудака никого не раздражал, разве что собственного батяньку, да и то когда тот бывал в подпитии: «Эй, Нахимов, — вязался батянька, — кончай свои кораблики рисовать; иди лучше у кур вычисти!» Андрюха, поднимая на него спокойные глаза, отвечал: «Угу...» — и без выражения на лице шел чистить курятник. «Эх, мать, какой-то у нас Андрюха неправильный, — вздыхал батянька. — Его в грязь посылают, а он хоть бы заартачился!» — «Бухтишь, старый, — возражала мамка. — Чем он тебе не угодил? Сам выпил и цепляисси...» — «Ты, баба, не бодайся, теленка свою не защищай, — пуще заводился батянька. — Ты скажи, чего он так смотрит — батю родного в упор не видит?» — «Да чего на тебя смотреть... Эка невидаль — напился и бухтит...» — «То ли дело Серега, — он встряхивал за загривок младшего сына, — парень простой, даром что переговариваться мастер... Так я говорю?» — «То-то ты его ремнем, что ни день...» — «Это на пользу... — Батянька любовно ерошил Серегоны волосы. — Он еще спасибо скажет... Да, Серый?»

Серый в таких случаях не «переговаривался». Ему приятны были батянькины похвалы, но и брата он жалел. В душе он чувствовал, что батя злится не на Андрюхин упрямый характер, а именно на чудинку его, на то, что не такой он, как другие пацаны. И добро бы дело

было в одних кораблицах, так нет: даже в простых житейских ситуациях Андрюха порой удивлял и собственного брательника. К примеру: шли они по тропке, и Андрей ступил нечаянно в говно; казалось бы, оботри ботинок о траву и ступай дальше, а он нет — развел философию, дескать, в других-то странах на дорожки не серят, только у нас, а все — наше свинство... И где он таких понятий набрался — это уж не морские рассказы, это он, стало быть, сам дошел... Честно сказать, понимания, а потому и дружбы у братьев особенной не было. Но кровная любовь превыше дружбы, поэтому Серега всплакнул вместе с мамкой, когда Дрюша уезжал в мореходку. Тайком ведь подготовился и документы послал, как шпион... Как их не понять: даже когда зуб гнилой изо рта вырывают, и то больно, а тут парень здоровый, неженатый из семьи уходит. Батянька очень переживал; он выпил больше обычного и натужно уместовал, обращаясь к своей папиросе:

— В семью ты, надо думать, не вернешься — плавать тебе у нас мелко. Значит, жисть наша не по тебе... А может, змей, тебя и Родина не устраивает?.. И-хо-хо... Ладно, сокол, плыви... Только хоть приехай нас с мамкой похоронить.

Потом его развезло, но если б и не развезло, то навряд ли дождался бы он от сына ответа. Андрюхин взгляд был спокоен, а думки... кто их знает, где гуляют думки беглеца с-под отчего крова? Может быть, мечтал о другой жизни — без вонючих курятников, без грязнозадых коров и пьяного невежества...

В мореходке Андрюха учился хорошо; ходил на паруснике в загранку. По окончании учебы взяли его на торговое судно... Обо всем этом он писал в письмах, а как оно было на самом деле — кто знает... Впрочем, наверное, так и было, как писал, неспроста же батяньку с мамкой однажды вызвали в кагэбэ подписывать какие-то бумаги. Однако, что бы с ним ни происходило — все

уже относилось к области воображения, а до нашей жизни не касалось. Другое дело Серега — он рос в городке, рос, как растет большинство наших пацанов: кое-как учился, в меру шкодничал, помогал родителям по хозяйству. Летом между девятым и десятым классами они с приятелями ходили «в поход», то есть в лес: ночевали в шалаше, напились, чем-то отравились и в очередь поносили, взбираясь на пень. Тем же летом он влюбился в соседку, Ленку Грибову; она разгуливала специально в таком сарафане, что, когда наклонялась у себя в огороде, все было видать. Правда, Серега к ней не «клеился»: она кадрилась с парнями постарше, — но мечтать о ней никто ему не мешал. Вообще, как и многие в его возрасте, Серега любил помечтать, особенно перед сном. Фантазии ему приходили одни и те же, и каждая в свой черед. Сначала, естественно, являлась Ленка: плача от любви, она целовала Серегу, потом сама догола раздевалась и давала себя трогать за все места. Потом они ложились в койку и делали что-то, о чем Серый имел неотчетливое представление. Мечтать про Ленку было приятно, но слишком волнительно, поэтому Серега избавлялся от Грибовой известным способом. Затем его мысленному взору являлся пиджак. Два года он упрашивал мамку купить ему пиджак, но каждый раз покупка откладывалась под разными предлогами. Все приятели его уже имели пиджаки, а некоторые — даже костюмы, и лишь Серый, как маленький, ходил в каких-то кофточках. Он подозревал, что мамка просто водит его за нос — не хочет, чтобы он вырослел, а то наденет пиджак и вслед за Андрюхой — поминай как звали... Мечта о пиджаке тоже не могла успокоить; Серега злился на глупую мамку, ворочался, и сон к нему не шел. Самая приятная и усыпляющая была третья мечта — про мотоцикл (потому, возможно, что была самая несбыточная). Красная «Ява» со спортивным рулем стояла в сарайке (поросенка — зарезать!); Серега ухаживал за ней, как за живым существом:

мыл, украшал, готовил питательную смесь из бензина с маслом. Два цилиндра ее «цыкали» так тихо, что никого не будили, когда Серый катал девчонок по ночному городку. В те времена мало у кого из ребят имелись мотоциклы: несколько стареньких «ижаков», «восходы» да «ковровцы», да одна «паннония», да трофейная с войны «бээмвуха» с одним «горшком»; и лишь у Сереги Бабакина была красавица «Ява», чье даже имя ласкало слух... Эта мечта разгоняла все тревоги, все неприятные мысли, и под нее он засыпал, как положено, молодым здоровым сном.

Однако пришло все-таки время решать с пиджаком: Серега окончил школу и собирался поступать в техникум. В школе мамку пожурили: почему, дескать, ваш сын аттестат в кофте получал, что за неуважение — не мог пиджак надеть, что ли? Мамка бедная готова была сквозь землю провалиться. «Все, — решила она, — куплю самый лучший, тем более осенью ему в техникум сдавать». Но не тут-то было: пиджаков в магазине, как назло, не оказалось — все раскупили; пришлось Антонину, завмага, просить, чтобы отложила, когда привезут. Но тут как раз получили они письмо от Андрюхи: он привез из загранки валюту и спрашивал, какого им прислать гостинца или чего нужного. Мамка возьми и отпиши: мол, Сережке пиджак бы надо, а то парню в техникум и не в чем поступать... И Андрюха, отдать ему должное, на родных не поскупился: прислал в большом ящике батяньке с мамкой гостинцев, а Сереге — дорогой американский пиджачино, за шиворотом которого была нашита тряпочка с надписью «уэса» и полосатым флажком. Лацканы у чуда по тогдашней заграничной моде были каждый шириной в лопату, а расцветка — в крупную яркую клетку. Материал — не сказать дурного — добротный, и пошив, как показало время, довольно крепкий; все бы хорошо, кабы не фасон да расцветка... Когда первое изумление прошло, пиджак помери-

ли на Серегу — оказался чуть на вырост. Мамка нацепила его на плечики, чтоб отвиселся, провела по нему рукой, да и расплакалась: как же, старший брат о младшем позаботился. Батянька же с сомнением рассматривал заморскую вещь:

— Не знаю, мать... Али мы совсем устарели... Не возьму я в толк, как такое носить.

Сергея тоже, мечтая перед сном, представлял себе другой пиджак. Честно говоря, он и не знал раньше, что на свете бывают такие пиджаки. Но предусмотрительный Андрюха вложил в ящик две красочные вырезки из иностранного журнала, где были сняты мужики в очень похожих клетчатых пиджаках, и с ними худые девки в платьях куда срамнее Ленкиного сарафана. В записке брательник пояснял, что культурные мужчины во всем мире теперь носят именно такие «джекиты» и никаких других. Сергей записку прочитал и удивился: вот те раз, Дрюша, а еще говорил, надо жить своим умом...

Но как бы то ни было, пиджак он получил, и одной мечтой у Сереги стало меньше. Между Ленкой и мотоциклом в мечтах его образовалась брешь, в которую полезли новые мысли — беспокойные и никак его не гревшие: о поступлении в техникум, об армии и вообще о предстоявших ему неизбежных переменах в жизни. Почему так заведено, что в самую болезненную пору линьки юноше приходится держать столько экзаменов? Змея, когда меняет кожу, хоронится в укрытии, а ему этого нельзя: служи! учись! трудись! женись! — только и слышит он от людей... В том году покрывлся Серега прыщами — будто какие кровососы искушали нежные щеки.

А тут еще это клетчатое недоразумение... Вместо того чтобы защитить, бронировать паренька, заморская одежда принесла ему одно горе. Серегино поступление в техникум казалось делом решенным: председатель комиссии Эльвира Юрьевна брала у мамки молоко. Она обещала, что если Сергей сумеет рассказать хотя бы те-

орему Пифагора, то может считать себя студентом. Однако вышло по-другому... В тот день с утра у него было нехорошее предчувствие. Видя его мандраж, батянька усмешливо посоветовал: «А ты, Серый, посцы... Лучше сцать перед боем, чем в бою». Серега так и сделал, но по выходе на улицу случилось странное: его облаял соседский Туман. Подлый кобель собрал друзей, и они провожали Серегин пиджак до самого конца Мутовок; гуси, завидя громогласную процессию, с гоготом кинулись в запруду... Он явился на экзамен, чувствуя себя идиотом, и ощущение себя оправдало. Преподаватели повели себя не чище дворового Тумана: лай подняли такой, что хоть беги, — словно перед ними не человек стоял, а один его пиджак. Математик Семикозов, их парторг, аж побагровел:

— Вы, молодой человек, не на танцульки пришли! Здесь вам советский техникум, а не буги-вуги! Ишь вырядился... — И он вспомнил ругательство из своей комсомольской молодости: — Стиляга!

Остальные преподы согласно загудели, лишь Эльвира Юрьевна молча грустила...

Только раз до этого претерпел Серега подобное унижение: в детстве, когда, играя с мальчишками в казаки-разбойники, провалился в старую выгребную яму и ему пришлось на глазах у всей улицы возвращаться домой по уши в дерьме. Интересно, что бы сделал на его месте Андрюха? Наверное, обвел бы всех спокойным взглядом — да и отбарабанил бы, как положено, по билету... Но Серега так не мог — он засветился всеми своими прыщами и сказал Семикозову с тихой яростью:

— Пошел ты в жопу.

После этого оставалось одно: пока они не опомнились, повернуться и сделать из техникума ноги. Вернувшись домой, Серега выкрал у батяньки припрятанную самогонку и напился...

Вечером его побили на танцах.

- Эй, Серый, где такой педжик дохрял?
- Андрюха прислал.
- Твой мореман? Он чё – мудака?
- А чё ты имеешь? – озлобился Серега.
- Гля на себя – чучело!

Перепалка перешла в драку, и пьяного Серегу побили, но побили не очень сильно – все-таки свои ребята. Они сами отвели его домой и прислонили к калитке. Там у калитки его вырвало – кровь и блевота смешались, запеклись на широких американских лацканах.

Спустя два месяца Серого забирали в армию. Осенний призыв – нет печальнее события и зрелища: раскисли улицы и бабьи лица, лысы головы вчерашних пацанов и обезлиствели липки в аллее перед горсоветом. У пьяненьких, как на похоронах, оркестрантов мокнули ноты, трубы жерлами собирают дождик...

Батянька силится на прощание сказать что-нибудь мужественное.

– Сын... – хрипло говорит он, держа Серегу за рукав. – Сын...

Дальше речь у него не двигается – батяньке срочно надо выпить, и папироса, вечный его помощник в речах, погасла под дождем.

– Да не скули ты, старая! – злясь на себя, он спускает «полкана» на мамку.

Но мамка не слышит. И что платок ее сбился на сторону, не замечает, и что стоит прямо в луже... Она давно и однообразно плачет.

Не случилось в Серегиней жизни более тоскливого дня. Как хотелось ему остаться тогда под мокрыми липками, остаться, вцепившись руками в кривые заборы, в эти домики, в землю, от которой отрывала его чья-то неумолимая сила. Но... хлопнул борт, рыкнул зеленый «Урал» и увез Серегу Бабакина прочь из маленького городка.

На целых два года.

Что такое армейская служба? Срочная форма небытия? А может быть, это жизнь донашивает мужчину вприбавок к девяти месяцам, проведенным в материнском чреве? Из городка нашего мало кто не служил, и всяк привозил из армии свое: одни — желтуху, другие — brave наколки и все — нескончаемые байки. А вот Серый вернулся молчуном — ничего мы и по сей день не знаем, что испытал он в эти два года. Дембельскую «парадку» его украшали три сержантские нашивки и две за ранения, на груди светилась медаль «За отвагу». Форма лопалась на его возмужавшем теле, а лицо посуровело...

В тот день он сидел за столом и молчал. Мамка, охая, кружилась по кухне, тыкалась во все слепыми руками и уже разбила одну тарелку. Батянька обмяк на диване, сопел, держа на руках Серегин китель с медалью.

— Что ж не отписал-то? — попрекнул он сына, благоговейно трогая нашивки. — Покажи хоть, куда тебя...

— Потом.

Батянька встал и двинулся к буфету...

— погоди, бать, не пей до гостей.

— Да... не буду, — смутился старик. И улыбнулся, переменяя тему: — Слышь, Андрюха-то наш в штурмана вышел. Пишет — жениться он думает.

— Молодец, — усмехнулся Серега. — В гости не собирается?

— Да, жди его... — Батянька на мгновение помрачнел, а потом вдруг улыбнулся: — Слышь, а пиджак-то его так и висит — хошь померить?

— А ну, давай, — Серый поднялся, громыхнув стулом. Американское сукно затрещало на могучих плечах.

— Сымай, не рви, — батянька счастливо засмеялся и похлопал сына по широкой спине. — Спортишь вещь заграничную.

Серега стянул с себя пиджак и встряхнул, разглядывая.

— А на что он мне теперь?.. — Лицо его тронула усмешка. — Ты, бать, лучше сделай из него чучело: ворон пугать в огороде.

БРАМС

Белорусскую пионерку Киру Буряк зверски замучили фашисты. В красном галстуке, весело распевая пионерские песни, шла себе девочка лесом, несла партизанское донесение. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили враги лютые, схватили, скрутили и уволокли в свой застенок. В застенке-то изверги и отвели душу — замучили нашу Киру до смерти. Что они с ней делали, мы не знаем: быть может, заставляли писать подряд четыре диктанта или пытали сложными дробями... А может, и другое что: тринадцать годков Кира спела на свежем воздухе да на деревенском молоке; придите в седьмой класс на физкультуру — сами увидите, какие там уже тетеньки через скакалки прыгают. Но Буряк все снесла молча и ничего фашистам не сказала, только нам, будущим пионерам и школьникам, завещала хорошо учиться.

Что в этой истории правда, знают лишь птицы в глухих белорусских лесах. Мы вообще ни про какую Киру слыхом не слыхивали, пока в городке не построили новую школу. Но вот когда ее построили, когда организовали в ней пионерскую дружину, тогда и поняли: дружина без имени — что полк без знамени. Это нам и в роно сказали, добавив, однако, что с именами в стране сложилась напряженка: дружин-то, мол, много — имен на всех не напасешься. Вали Котики, Володи Дубинины шли только в областные центры; районам отпускали в лучшем случае Павликов Морозовых, да и то не более одного в руки. «Так что вам... вам — вот» — и начальство, порывшись в своих святцах, откопало там, не в обиду ей будь сказано, упомянутую Киру.

И что было делать? Оставалось утереться таким знаменем и влачить положенное заштатное существование... Но нет, не тот был характер у школьного парторга Антонины Кузьминичны Бобошиной. С виду невзрачная — малорослая, кривоногая, — она способна была одолевать любые трудности: умела же она преподавать пение, будучи тугой на одно ухо. Конечно, Бобошину больше всех огорчило безвестное имя, но, раскинув мозгами, предприимчивая шкраба нашла выход. То, что она затеяла, в наши дни назвали бы раскруткой: если Кира Буряк пока что не может прославить нашу школу, прославим сначала саму Киру.

Бобошиной пришла в голову замечательная идея: создать в школе... музей нашей юной героини. Какое — музей пионерки, которая еще неизвестно, была ли на свете! На такое надо было решиться, но именно отвага часто ведет к успеху, прокладывая путь уму и логике. На ней-то, на логике, главным образом и создавался наш музей. Вспомним: куда шла, да не дошла Кира Буряк? К партизанам. Значит, можно построить партизанскую землянку в одну четверть от натуральной величины, а в ней посадить маленького усталого комиссара. А что несла пионерка? Донесение. Повесим копии разных донесений, в которых дотошные партизаны подсчитывали вражеские вагоны (заодно напомним о пользе арифметики). А кто сграбастал бедную девочку по дороге? Фашисты. Выставим пробитую немецкую каску, покажем, что стало с теми, кто глумился над нашими девочками... Много чего натащила в музей Антонина Кузьминична, разложив и развесив трудолюбиво: осколки снарядов, фотографии виселиц и даже пожелтевшие ученические тетрадки довоенной поры, исписанные хотя и не Кирой, но тоже пионерками, бегавшими, быть может, впоследствии хоть и не с партизанскими, но тоже донесениями. Недостаток сведений собственно о Буряк призвали восполнить нашего писателя Подгузо-

ва — он тогда еще был в своем уме и сочинил приличную книжку, даже с иллюстрациями. Были чтения. Выдержки из этой книжки Бобошина поместила в музей: внимательные посетители могли по ним изучать жизненный путь героини. Саму Киру в экспозиции представляли несколько бюстов курносой девочки, в которой, впрочем, свою дочь узнала бы при желании любая мать-славянка.

Словом, музей получился хорошим, даже образцовым. Антонина Кузьминична завела переписку с подобными музеями по всей стране, познакомилась с разными людьми, известными на поприще облагораживания юных душ (например, с композитором Бакалевским). Неудивительно, что в школу зачастили гости — по обмену патриотическим опытом. Кого у нас только не было: и заграничные пионеры в красно-синих галстуках, и пара поддатых космонавтов, и в том числе какой-то ансамбль южноамериканцев в пончо с гитарами и флейтами.

Эти латиносы были молодые маоисты, сбежавшие от кровавой хунты. Попав в СССР, они, понятно, отреклись от Мао, зато очень полюбили свою родину и пели нам по-испански народные песни, роняя слезы прямо на струны инструментов. Старшеклассницам бывшие маоисты понравились своей трогательной печалью и ненашенной смуглостью лиц. Сами же благородные изгнанники не сводили глаз с Наташи, «директора» школьного музея. Наташа, красавица и отличница, требовалась Бобошиной для представительства: вооружась указочкой и пленительными взглядами, чистым девичьим голоском давала она гостям пояснения про партизан и виселицы. Многие из похвал, переполнявших музейскую книгу отзывов, следовали в заслугу Наташиным щечным ямочкам, серебряному голоску и двум правильным ножкам в белых гольфиках.

Но был в нашей школе один человек, который ужасно не любил все эти Кирины поминки с гостями и концертами. Будь его воля, он с радостью «подзорвал» бы фальшивый музеишко вместе со страхолюдной Бобошиной, а уж что бы он сделал со смазливими горемыками в пончо, то не снилось никакой хунте. Не то чтобы он так ненавидел лицемерие — нет, в сущности, ему, как и всем нам, было наплевать и на сказочную Буряк, и на бобошинские патриотические молебны. Но зачем, скажите, Наташа, наивная, как красный галстучек на ее не по-детски оттопыренном школьном платье, зачем она так беззаботно гуляла в этом темном белорусском лесу? Зачем так охотно в кокетстве неведения дарила заезжим свою чистую прелесть? Он где-то читал, как взрослые скверные дяди и тети совершают какие-то непристойные обряды на девичьем теле, и нелепые аналогии лезли ему в голову... В общем, человека терзала ревность. О том, какие он сам совершил бы обряды на Наташином теле (если б было ему позволено!), об этом лучше умолчать. Но в том-то и беда, что ничего ему позволено не было — только вздыхать на пионерском расстоянии.

Звали человека Боря Брамс. Он учился в параллельном с Наташиным классе и давно уже следовал за красавицей тенью везде, кроме разве туалета для девочек. И хотя поклонников у нее хватало без Бори, Наташа все-таки заприметила кареглазого воздыхателя. Всякий раз, появляясь в отдалении, он надеялся остаться незамеченным, но подружки, составлявшие Наташину свиту, имели слишком острое зрение. Они шептали ей что-то на ухо, и улыбки ее делались еще очаровательнее, а ножки сами становились в первую балетную позицию... Как себя чувствует летчик, засеченный зенитками? Боря внутренне холодел, ноги его слабели... И тут Наташа выстреливала хотя и косвенным, но вполне прицельным взглядом... ба-бах! Брамс заваливался на крыло и, дымя, падал на вражеской территории.

Пытка продолжалась нескончаемо. Одноклассники подмигивали:

– Брамс, пошли в актовЫй зал, там «твоя» выступать будет!

– Она не моя! – вспыхивал Боря.

– Ага! – смеялись пацаны. – Не твоя – ее физик лапает!

И хотя Боря знал, что они врут, тоска сжимала его сердце...

Наташа, кроме своего «директорства», еще солировала в школьном хоре, которым руководила все та же Бобошина. Послушные девочки в белых передничках преданно смотрели на Антонину Кузьминичну, а она дирижировала, делая пальцами хватательные движения, будто щупала им грудки. Впереди, в коротком, слишком коротком платьице, одна стояла Наташа... Боря сидел внизу и под аккомпанемент ангельского пения слушал пакостные замечания мальчишек:

– Гля, Брамс, а у «твоей» трусЫ видно!

– И чей-то она заливается? Во, глазки строит... Боб, ты за ней не ходи: она вырастет – приституткой будет.

Конечно, можно было подраТЬся, попробовать отстоять Наташину (да и свою) честь, но он не делал этого по нескольким причинам. Во-первых, чтобы побеждать в драках, надо иметь маленькие злые глазки и толстые руки, а у Бори все было как раз наоборот. Во-вторых, он не хотел огорчить папу-Брамса, придя домой в синяках, – тот и так вечно ждал и боялся всяких неприятностей. А кроме того... в этом он сам себе не признавался – похоже, такое поругание было ему безотчетно сладостно. В любовном самоуправстве Борина фантазия совершала странные переносы: присвоив кокетливой нимфетке (то-то бы она удивилась!) чуть ли не образ жертвы, он и себе оставлял в удел право неупиваемого страдания. Стало быть, глумливые пакостники, а также Борины соперники, Наташины ухажеры

(по сути — плотоядные ничтожества), были даже полезны как источник трагически-насладительных переживаний.

Кроме двух фигур — своей и Наташиной — мучеников, прекрасных, хотя и печальных, остальные его воображение рисовало нечетко, как бы в тумане. Каково же было Борино неприятное удивление, когда из этого тумана выступил внезапно во плоти Сергеев. Случилось это на большой перемене. Сергеев из «В» класса физически был не крепче Брамса, но подошел со столь уверенным и угрожающим видом, что сердце Борино екнуло.

— Брамс, — спросил Сергеев с нехорошим хладнокровием, — говорят, ты к Наташке липнешь... ну, из музeya?

Боря вздрогнул и покраснел:

— А твое какое дело?

Глаза Сергеева стали маленькими и злыми.

— Дело такое... Если от нее не отвалишь, я тебя убью.

Так и сказал: не «побью», не «дам по морде», а «убью»... Боре стало страшно и... стыдно за свой страх. И неожиданно для себя, вместо того чтобы промолчать по обыкновению или отступить, он бросил на пол портфель и ринулся в бой.

Сражение произошло прямо в школьном коридоре, при музее, там, где на обитом кумачом фанерном постаменте возвышался огромный гипсовый бюст Киры Буряк. Чей зад, Сергеева или Брамса, толкнул постамент в пылу борьбы — неизвестно. Пьедестал зашатался, Кира кивнула, клюнула носом и с пушечным хлопком грянулась об пол. Гипсовая голова разлетелась на десятки кружащихся черепков. Бойцы оцепенели, но лишь на секунду: пока школа прислушивалась, пока Бобошина прибежала, маша крылами, будто раненая чайка, они успели удрать. Укрытием им послужил, конечно, туалет. Там, перевея дух и наспех заправившись, они снова скрестили

ненавидящие взгляды. Боря приготовился продолжить кулачную баталию, но Сергеев вдруг вытащил из кармана перочинный нож. Брамс в ужасе попятился...

— Не бойся, — усмехнулся Сергеев.

Он раскрыл ножик и... с силой полоснул себя по ладони. Брызнула кровь. Сергеев, побледнев, жег противника глазами.

— Понял? — хрипло спросил он.

— Чего... понял? — в страхе и изумлении пробормотал Боря.

— То самое... Не отстанешь от нее — тебе хана!

Брамс потрясенно молчал, а Сергеев, удовлетворившись произведенным эффектом, сунул руку под кран.

С этого дня с Наташиным образом стали происходить изменения. Он не то чтобы потускнел, но как-то стал отдаляться и, отдаляясь, все больше сливался с образом отчаянного Сергеева, так убедительно при помощи ножичка доказавшего свои любовные права. Постепенно для Бори наступало отрезвление... Нет, конечно, рана в его душе была глубока, но... день за днем она затягивалась, а с годами и вовсе покрылась твердым рубцом.

Тем же временем, то есть с годами, происходили изменения и с нашим музеем, то есть с образом Киры Буряк. И дело не в том, что неизвестные злоумышленники кокнули ее бюст в школьном коридоре. Просто какой-то дотошный отряд пионеров-следопытов обнаружил в некоей белорусской деревне... самое Киру Пантелеевну Буряк. Живую и здоровую, в виде румяной упитанной доярки. Своего партизанского прошлого она не отрицала, но книгу Подгузова читать не захотела, сославшись на неимение очков. Ехать же куда-то рассказывать о своем подвиге отказалась наотрез, повторяя что-то вроде: «Видчипытесь от мяни!»

Бобошина, узнав об этом открытии, понятно, не обрадовалась, но отнеслась к нему философски: ну жива

так жива, чего не бывает. Не менять же из-за этого экспозицию... Пусть себе доит коров и не высовывается. Однако чувствительный нос уже мог бы уловить легкий запах тления, пошедший от землянки с комиссаром и прочих любовно собранных липовых артефактов. Только упрямство мешало Бобошиной понять, что музей ее жив был, пока была мертва Кира Буряк. Наташа, сменившая к тому времени белые гольфики на капрон, стала всячески уклоняться от почетных «директорских» обязанностей. Наконец она прямо объявила Антонине Кузьминичне, что ей надоели сказки и что она не желает больше валять дурака. Плюнув таким образом своей наставнице в душу, вероломная девица с легким сердцем предалась более реальным занятиям, к которым склонял ее настойчивый Сергеев. Вслед за ней совершенно неожиданно ножку славному предприятию подставил писатель Подгузов: он отрекся от своей книжки и впервые впал в депрессию (впоследствии эти депрессии привели его к сумасшествию).

Все эти события, однако, не затмевали главного: и Наташе с Сергеевым, и Брамсу, и всем их однокашникам предстояло заканчивать школу. Головы их, естественно, полны были мечтаний, надежд, страхов и, конечно, разнообразных планов. Никто не хотел верить себя судьбе, а каждый собирался сам строить свою жизнь.

Но вольно нам придумывать жизнь в голове или на бумаге. На самом деле большинство птичек, вылетев из клетки, садится на ближайшее дерево. Скажем, Наташа, чьи таланты и красота позволяли предсказывать ей блестящую будущность, скоро удовольствовалась хотя и почтенной, но отнюдь не звездной ролью жены и матери. Они с Сергеевым, едва окончив школу, свили свое гнездо здесь же, в городке. Что касается Бори Брамса, то он мог бы стать, например, экономистом и сделаться впоследствии, как иные еврейские мальчики, финансовым воротилой. Или, уехав в Израиль,

призваться там в армию, закончить офицерскую школу и дослужиться до полковника. Или, на худой конец, выучась на гинеколога, вернуться в городок и работать у нас в поликлинике, как папа-Брамс. Но он не пошел в медицинский, потому что там был большой конкурс, а поступил в малопрестижный «хим-дым». К чести его сказать, учился он хорошо и, распределившись на наш химзавод, стал неплохим специалистом по углеродным композитам. Вскоре, «залетев» с одной из лаборанток, он женился, но продолжал изменять ей с другими сотрудницами, и папа его вынужден был устраивать им аборт. Одно время он и вправду хотел подать документы в Израиль, но раздумал, здраво рассудив, что и в городке ему живется неплохо, тем более что женщины здесь сговорчивые и все нужное при них.

КОЛЕСО

К югу от нас, за холмами, в ясную погоду по ночам наблюдается багровое зарево. Можно даже испугаться: уж не пожар ли это губит родимые леса? Но нет — так болит и рдеет небо над огромным городом. Это Москва; она не спит, бормочет и чешется в ночи под душным одеялом аллергически-румяного смога.

И ночью и днем Москва лихорадочно хлопочет, как сумасшедший, воображающий, что занят важным делом. Подобно большому элеватору, город пересыпает и сушит человек: из бункера в бункер, по транспортерам тротуаров, по подземным трубам, по коридорам, переходам... Лишь бы не ожили, лишь бы не проросли! Искусственные пневматические ветры, пахнущие одорантами и потом, всасывают и выдувают людские зернышки вместе с мусором, с плевелинами. Москвичи несутся, кувыркаясь, и бесчувственно соударяются, пороша друг друга перхотью. Одежды их пропитаны

противопожарным составом, иначе они загорелись бы от постоянного трения. Люди бегут, и ноздри их раздуваются словно паруса, ловя дыхательную субстанцию, кондиционированную миллионами бронхов. Только сохранять темп, только оставаться в потоке!.. Но что это?.. Неужто заминка?.. Какая-то дама засбоила, теряя ход, запрыгала, затрясла ногой... ах — это у нее упали трусики. Скорее же избавиться от пут! Досадная «деталь» упихана в сумочку, и дама мчится дальше налегке, наверстывает потраченные мгновения.

Да, столица похожа на эlevator, но — только похожа. В отличие от пшеничного зерна москвичи — продукт бесполезный, с таким же успехом город мог бы пересыпать песок. Да будь они хоть немного питательны, мы в нашем Подмоскowie ходили бы такие же толстые, как голуби с зернотока, летающие наподобие кур. Уж столько этих москвичей у нас усеваается — Москва просто сорит ими. Москва сорит москвичами, москвичи сорят мусором — и за что нам такое наказание? Они ведь еще и заражают почву. Хорошо, что столица пока подгребает в бункеры, не дает совсем разбежаться несчастным своим питомцам, не то пиши пропало — все бы пожрала москвоязвенная болезнь. И без того запаршивели поля бесчисленными дачными поселениями; земля будто покрылась ранами, и в этих открытых ранах точатся ожившие бледные москвичочки — бр-р.

Впрочем, их можно понять: здесь они впервые попадают на реальную сторону жизни. Трава тут зеленая, снег белый, и воздуха каждому полагается свежая порция безо всякой регенерации. И надо признать, оказавшись на природе, москвичи стараются приобщиться к белковой жизни и эволюционировать. Тяжелая работа (рубка пней на дачных участках) делает их речи мужественными, переходящими в рычание. Им становятся по зубам спелые корни, а иному, заматеревшему, можно бросить кусок сырого мяса — он вопьется в него

и сожрет, убежав в угол. Цивилизуясь, москвичи осваивают примитивные орудия труда, знакомятся с соседями и организуются в общины. У них появляется свободное время, и тогда у некоторых из них просыпается пытливым интерес к окружающему миру. Завернувшись в шкуры, взявши в руки посохи, они прощаются с соплеменниками и отправляются бродить по окрестностям.

Подобно неопытному дикарю, не знающему лестниц и пытающемуся взобраться на дом по стене, москвич не умеет находить в лесу проходные тропинки и прет напролом. Оттого лес ему кажется девственным и таинственным, а себя он мнит первым разумным созданием, вторгшимся в эти Берендеевы пределы. Каково же бывает удивление «первопроходца», когда, выдравшись из кустов на поляну, обнаруживает он следы цивилизации, существовавшей явно задолго до того, как он вылез из метро. Вот столбы без проводов, вот котлован, заросший бурьяном, вот колесный вагончик, клюнувший на один угол. Вот кирпичное строение с торчащей из земли ржавой покосившейся трубой. Что это? Спросить некого. Осторожно обследует путешественник странную поляну. Потом, прислонясь спиной к нагретой солнцем кирпичной стене, перекусывает, пьет из термоса пробковый чай. Напоследок заглядывает внутрь сооружения. Там — переплетение труб, и четыре топки немо вопиют обожженными зевами. «Наверное, котельная...» — чешет «сталкер» умную голову. Потоптавшись немного, он снимает штаны и садится на корточки. Свежая куча — вежа, граница освоенного пространства. Удачи тебе, исследователь; в следующий раз ты покакаешь, быть может, в том далеком лесу, что заманчиво синее на горизонте.

Но что же, однако, это за странная поляна? Откуда вагончик и котельная с пизанской трубой? Не инки же с ацтеками соорудили таинственный «комплекс». Если бы первобытный дачник не пер дуrom сквозь чащу, он заметил бы, что от поляны ведет все-таки дорога, хотя

и порядком заросшая. Он мог бы проследить, что дорога эта ведет к нашему городку, населенному отнюдь не ацтеками, а нами, нимало не вымершими россиянами.

Мы обитаем на этих землях очень давно. Тысячелетняя оседлая жизнь сделала нас мудрыми и неразговорчивыми. Нам нечего выяснять, ибо мы и так знаем все, что нам нужно. Нам не надо сообщать друг другу, как вкусно пахнет сено и как хороши осенние закаты: мы знаем. Мы безусловно знаем все окрестные поляны, и ту, с котельной, конечно, тоже: котельная и котельная — четверть века уже там стоит... Что еще выяснять? Ну, хотели построить пионерский лагерь, да не достроили: деньги кончились. До этого там была деревня Подушкино; к началу строительства ее выселили. Зачем выселили — непонятно, будто мало у нас было пустых полян. Деревню погубили, а лагерь, юноферму, не построили; выросли детки без песен и горна, не потрахались в беседках вожатые. Вот и вся история.

А начинали строительство, помнится, на широкую ногу. Первым делом возвели эту самую котельную. Странное было зрелище: стояла она одинокая и топила сама себя, похожая на корабль, заблудившийся в лесу. Или даже не на корабль, а на одно машинное отделение, потерявшее свой пароход. Деревню еще не снесли, но она уже опустела — оставался в ней только старый охотник, кривой на оба глаза. Фамилия его была Паутин, а прозвище — Паук. Непонятно, как он стрелял, но был добычлив: часто заходил он в котельную похвастаться перед кочегарами теплым еще зайцем. Курево у Паука вечно было на исходе, но кочегары (присланные из города рабочие) щедро снабжали его папиросами в обмен на самогон. Самогон у него не переводился, и тропка от котельной к его избушке стала главной улицей в Подушкине.

В числе прочих заводской комсомол отрядил на стройку совсем еще зеленого тогда Сергеева. Выпало ему

кочегарить в котельной на пару с опытным рабочим Бляблиным. Дело было зимой, в январе. В ясные морозные дни и вьюжными ночами трещали в топках деревянные бревешки — вчерашние елки да березы, повырбленные строителями. Жаром пышели трубы, дрожали от бежавшего по ним кипятка. Хорошо быть кочегаром: знай подкидывай в топку да приглядывай за манометром. А большую часть времени можно лежать на теплом котле и фантазировать. Сергеев мысленно пристраивал к котельной просторные корпуса — дворцы детских радостей с бассейнами и солнечными верандами. Туда по трубам бежала вода, горячая, как молодая кровь. Котельная оставалась живым сердцем детского городка. Сергеев, заслуженный старик, похаживал в ее святая святых, пошевеливал задвижками. В дверях появлялись пионеры и робели, почтительно салютуя. Он с важным видом врал им про то, как когда-то, не боясь лишений, они с покойным Бляблиным... стояли у каких-то истоков... Эх, надо отлить... Сергеев нехотя сползал с котла, накидывал телогрейку и шел «на двор», к трубе. Ночной мороз ошпаривал причинное место, остужал голову. Лес трещал, но не от огня, а от холода, а может быть, то кабан пробирался, обламывая стьлые ветки. Сергееву, делавшему свое одинокое дело, становилось грустно. Он поднимал голову, как собака, собирающаяся завывать, а там, в вышине, из далекого жерла трубы прямо к звездам отлетали белые клубы дыма — душами новопреставленных поленьев...

Но однажды при подобных романтических обстоятельствах с Сергеевым приключился небольшой конфуз. Он справлял в потемках малую нужду, когда внезапно неподалеку раздались скрип снега и звук, похожий на хрюканье... Кабан?! Парень похолодел от страха. Невооруженный, со спадающими штанами, он, конечно, имел мало средств к обороне. Что было делать? Собравшись с духом, Сергеев крикнул во тьму:

— Кышь!.. Пошел!

Ответом ему был... человеческий хрипловатый голос:

— Э-хе-хе... Не бойсь... свои идут.

И снова хрюкающий кашель, завершившийся плевком.

Сергеев взгляделся:

— Ты, что ли, Паук?.. А я подумал, кабан. Чуть не обделался!

— Кабан... хе-хе... нужен ты ему!

Паук захлопал лыжами по твердому месту:

— Здорово, малый!.. Супонь-то подбери, отморозишь.

— Я еще не... ты меня спугнул... — Сергеев повернулся к старику спиной. — А ты что это по ночам шарахешься?

— Да... не успел засветло. Вишь, зайчика добыл.

Заяц действительно был привязан у него к поясу.

— К вам иду погреться... У меня-то не топлено.

В котельной они вместе с Бляблиным посмеялись забавному происшествию. Покурили. Бляблин похвалил зайца.

— Хорош заяц, — сказал он. Потом раздумчиво добавил: — Обмыть бы его надо... слышь, дед?

— Устал я, — ответил Паук. — Мне еще печку топить... А вам налью, так и быть, если пацана командируеть.

— Пойдешь? — спросил Бляблин у Сергеева.

— Конечно, пойду, — ответил парень с готовностью, потому что был рад любому, даже маленькому приключению.

Так он отправился со стариком в экспедицию за самогоном.

Нежилая деревня зимней ночью выглядит таинственно и пугающе. Ни собачьего взбреха, ни дымка над крышами, ни огонька за ставнями. А кому ни света, ни тепла не требуется? Известно кому — только покойникам. Выбьешь дверь в избу, а там по лавкам мертвяки мороженые, крысами объеденные. Или посередь гор-

ницы удавленник висит, языком дразнится... Лезет в голову чертовщина, особенно если голова молода, глупа и охоча до выдумок.

Взошли они на Паутино крыльцо, обмахнули веником валенки. В сенях дед затеплил керосинку.

— Ладно, — сказал он. — Давай свою посуду.

Но Сергеев замялся:

— Погоди... Хочешь, помогу тебе печку растопить?

Дед усмехнулся:

— А сможешь?

— Я же истопник, — обиделся парень.

— Да какой ты на хрен истопник... — проворчал Паук. Однако согласился: — Ладно уж. Иди в сарай за полешками.

Растопили они печку, пошло по домику тепло, и Сергееву вовсе расхотелось возвращаться в котельную. Старик скинул наконец тулуп и переобулся в домашние валенки. Он набулькал «свово» в принесенную Сергеевым банку.

— На вот... — Он поставил банку перед парнем. — И ступай... Смотри, не спотыкнись дорогой.

Но Сергеев все медлил. Он поглядел в окошко, словно крашенное черной тушью.

— Дед... — спросил он.

— Ну?

— Тебе не бывает тут страшно... одному?

Паук покачал головой:

— Дак... Кого же мне бояться? У меня в одном стволе завсегда волчий патрон припасен. Если какой шатун заявится, угощу неслабо... — Он усмехнулся. — У меня в голове дырка еще с фронта и белый билет — убью, и ничего мне не будет.

Дед шелкнул толстым ногтем по банке:

— Раньше боялся насчет самогона. Я за это дело еще при Сталине сидел. А теперь ничего — послабже прижимают...

— Понятно... — Сергеев не то хотел услышать. — А мне что-то боязно через твою деревню возвращаться. Идешь как по кладбищу...

— Ах вон ты чего... Бояться тут нечего, но твоя правда... кладбище и есть.

Парень наконец набрался нахальства и спросил напрямую:

— Ты это, Паук... Может, плеснешь мне на дорожку?

— Для храбрости? — усмехнулся дед. И неожиданно легко согласился: — Ладно, раздевайся. Только пожрать у меня не готово.

Однако скоро старый охотник соорудил и «пожрать». Он достал из погреба картошку и банку заячьей тушенки:

— Не бойсь, не ондатра. Для гостей держу.

Они вместе начистили картошки, и через полчаса все запахи в избе побиты были упоительным ароматом настоящей пищи.

Трапезничали на дощатом столе, в свете керосиновой лампы. Парадом командовал генерал Самогон. Дед наливал сразу по полстакана и подкладывал Сергееву из чугунной сковороды.

— Кушай, малый, налегай, — приговаривал он. — У меня все свое...

Посреди ужина Паук спохватился:

— Эх! Да ты ж грибов моих не пробовал... Сейчас достану, пока не поели... А хошь, полезли со мной — я те погреб свой покажу.

Оба уже хмельные, они полезли в погреб. Спустившись вслед за хозяином, Сергеев изумился: погреб был не погреб, а огромный подвал, выложенный старинным кирпичом.

— Ни фиги себе...

— Вот тебе и «ни фиги»... ты давай, на меня свети, — старик передвигал какие-то банки. Вытащив наконец нужную, он повернулся к Сергееву: — А ты, малый, хоть знаешь, что тут раньше было?

— Где?

— Ну вообще... тут.

— Как что?.. Подушкино.

— Ни хрена ты, зайчик, не знаешь! Здесь фабрика была, дома двухэтажные. Рабочие жили, в амбулатории лечились... Все порушили... Эти-то избенки мы, считай, на развалинах построили, а теперь и им капец пришел... кладбище! — Он усмехнулся. — Про между прочим, на настоящем кладбище вы свою котельную построили.

— Ну и ну!

Они вылезли из подвала и продолжили ужин. Паутин разболтался, ударившись в воспоминания. Он плел небылицы про старую жизнь, про войну, про зону, про охоту. Сергеев вспоминал минутами об оставленном Бляблине... и забывал. Потом он задремал под дедов говорок, и ему привиделось, что он уже вернулся в котельную и получает втык от напарника. Старик, поняв, что говорит уже сам с собой, перевел парня на лежанку и укрыл вонючим тулупом. Сам же Паутин, задув керосинку, с кряхтеньем взобрался на печку.

Утром, плохо соображая, но чувствуя себя преступником, Сергеев плелся за стариком в направлении котельной. Кривой довольно бодро косолапил по тропке:

— Не бойсь! Я ему тушенки прихватил. Отмажем тебя!

Он обернулся:

— А хошь, чего покажу? Вчерась, помнишь, я про фабрику говорил?

— Ну?

— Пошли.

Они свернули с тропинки и, бороздя невесомый снег, скатились в залешенную низинку.

— Смотри!

Паук стал обмахивать рукавицами нечто, похожее на сугроб. Из-под снега показалось... огромное чугунное маховое колесо, выступавшее над землей только

малой своей частью. Когда-то оно и впрямь приводило в движение фабричные станки.

- Видал? – гордо спросил дед. – Читай, что написано.
- «...и сынъ», – разобрал Сергеев на обode.
- То-то... У него и отец был, да в болото укатился.
- Ясно... – парень улыбнулся.
- Ни хрена тебе не ясно... – Паутин поморщился.
- Ладно, пошли сдаваться твоему Бляблину.

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ...

Хорошо жить в рабочем квартале, под крылом родного завода. Будильника здесь не требуется: встаешь по гудку, а если, к примеру, вечер перебрал – все одно не проспийшь. Пятиэтажка панельная в семь утра наполняется такими звуками, так содрогается, что, кажется, и мертвый из гроба встанет. Этот грозный шум означает: встает, подымается рабочий народ – кто к станку, кто к рулю... И не определишь, кто пердит, кто сморкается – все сливается в мощном гуле. Звенят шкафы, ревет в унитазах вода, скорый топот тяжелых пяток заставляет прыгать люстры. За окошком уже слышно: скрип-скрип... потом скрип-скрип-скрип... снежный скрип нарастает и сливается, так что может почудиться, будто с горы лавина или оползень. Посмотришь на улицу – и сердце зайдет в радостном изумлении: как же нас много! Ровным, широким потоком идут рабочие, оставляют за собой густые шлейфы дыма, словно ход им дает паровая машина; инженеры выпрыгивают в толпе, как горбуша, спешащая на нерест...

Хорошо, между прочим, жить в десяти минутах от проходной: и утром не опоздаешь, и в обед успеешь сбегать щец холодных навернуть, и, главное, вечером завсегда до дому дойдешь – в крайнем случае донесут товарищи.

Однако Ване Шишкину эти блага жизни присвоены не были, потому что ездил он на завод аж из деревни Короськово. Пойти на завод надоумила Ваньку мать его Пелагея. Все зудела:

— Ступай, Ванька, в завод работать, ить сопьесси в деревне-то, как отец твой.

Вот простота! Будто в заводе не «сопьесси»... Все талдычила:

— Ступай, Ванька, не то век будешь коровам хвосты заносить. И денех колхоз не плотит... А в заводе из тебя, дурака, человека сделают.

Тут права была Пелагея. Рабочий человек тогда был самый уважаемый: тебе и почет, и заработок, и в Евпаторию бесплатная путевка. Только рабочую закваску... ее с молоком матери всосать надобно — железо не каждому в руки дается, его чувствовать нужно. А сколько знаний требуется: и допуски, и посадки, и в чертежах разбираться! Инженер прибежит, шлепнет бумажный ворох на верстак, а ты мозги ломай... Кроме того, рабочий человек, не в пример крестьянину, чистоплотный: если баба, скажем, в ванне белье замочит или карпа магазинного туда плавать пустит, он сейчас ей втык сделает: «А ну, — скажет, — освобождай немедля — или где я, по-твоему, должен жопу мыть?» Не то что у них в деревне: погадит в огороде и не всякий раз еще лопухом подотрется.

Так что поначалу нелегко пришлось Ваньке в цехе. Работу, конечно, давали ему что попроще: стружку убирать, кирпич перетащить... В колхоз посылали по разнарядке — вот смеху! — к себе же в деревню, как городско-го; уж он там три нормы делал... Но постепенно Шишкин у нас прижился; народ мы добродушный: отчего же, коли из себя не строишь — живи. К одному его не могли никак приучить — ноги мыть. И так ему намекали, и этак: «До чего ж ты, Ванька, вонючий... Посмотри, у тебя черно между пальцами». А он только улыбался и отвечал: «Мы деревенские, у нас ваннов нету». — «Да ты

хоть в душ сходи — рядом же с раздевалкой!» — «Куды... там народу полно», — ежился Ванька. Это он, значит, стеснялся голым в коллективе показаться, а вонять ему стыдно не было... деревня, одно слово. Между тем смердел Шишкин безо всяких шуток — даже не так сам, как почему-то его шкафчик. Вокруг этого шкафчика была мертвая зона, как на химическом полигоне: три справа от него и три слева стояли пустые. Как-то зашел в раздевалку начальник цеха Бубнов Анатолий Иванович, понюхал воздух и прослезился. А потом как гаркнет:

— Чей шкаф?! Вы что, мать вашу, здесь покойника держите, что ли?

Из-за Ванькиных ног вышла однажды конфузия. Послали его раз в бухгалтерию столы двигать, так одной нервной бухгалтерше плохо сделалось. Больше его в инженерный корпус не командировали... В общем, непросто с ним было: терпеть приходилось и запах его, и невежество деревенское, и, главное, непроходимую крестьянскую тупость.

Но и Ваня терпел немало по милости мамки Пелагеи. Каждый день страдание доставляла ему дорога из Короськова в город и обратно. Особенно зимой: выйдет он затемно — а поле перемело, тропинок нет и вешки все ветром повалило. Таранит Ваня снег брюхом, как кабан, но кабан-то зверь могучий, не сын алкаша деревенского. До большой дороги идти и идти... и вот она уже видна, и видно, как по ней проносятся машины, но пока догребешь до нее, все силы оставишь в проклятом поле. А после надо работать... В цехе дурак, не дурак — работу любому найдут, дураку еще и с верхом прибавят. Первое время Шишкин никак не мог привыкнуть к заводскому шуму: станки воют, болванки грохочут, шланги шипят, инструмент пневматический взвизгивает так неожиданно — в штаны наложишь. А поверху ходит кран, страшный, как поезд, и все норовит крюком тебе голову снести. Поначалу от этого шума Ваня все время

засыпал: только присядет, смотришь – у него глаза, как у петуха, снизу пленочкой затягиваются.

Боялся он всего: кара проедет – он отпрыгивает, пресс вздохнет – он вздрагивает. Больше всего почему-то страшил его кран; так, наверное, куропатка опасается всего, что сверху налетает. Но судьба распорядилась ему именно с краном работать. Вообще-то стропить ему не полагалось, на то были обученные стропальному искусству опытные рабочие. Но какой уважающий себя стропальщик станет таскать цеховую байду с мусором – ее и прозвали-то «парашей». Так что нацепили Ване на руку красную повязку, как дружиннику, нахлобучили желтую каску и показали, что надо делать:

– Сюда кряк... сюда кряк... Майна, вира – сообразишь? И туда, на трактор вываливаешь. Да она сама все знает... Фью-у-у!!! Зи-инка-а! Заснула, что ли?!. Гляди, вот этот с тобой будет!

На том кончилось учение, началось мучение. Во-первых, Шишкин не умел свистеть, во-вторых, и голоса такого, чтобы цех переорать, не имел. Да он и стеснялся кричать: ему казалось, все на него глазект, все, кроме противной Зинки. А «параша» между тем полная, и трактор с телегой ждет... Вот встал Ваня на видное место и крикнул:

– Э!

Зинка даже голову не показала.

– Ау!

Ноль внимания.

Мимо проходил Славка Корзинин:

– Ты чего аукаешь – здесь тебе не в лесу.

– Дык вот... мусор надо... – забормотал Шишкин.

– Новенький? Ясно... С ней поостроже надо – вот смотри: Зи-инка-а! Пизда ленивая! Кончай спать, давай работать!!

Сей же миг в кабине крана показалась Зинкина голова. Протерев глаза, крановщица деловито посмотрела

вниз и, ловко задвигав рычагами, со снайперской точностью опустила над «парашей» малый крюк. Ваня немело, с помощью Корзинина, накинул «паука» и зацепил им байду.

— Вира! — крикнул он, покосившись на «наставника».

— Чего?! — переспросила Зинка.

— Поднимай, еж твою двадцать!! — заорал Славка и показал рукой.

— А... Поняла! — закивала крановщица и пугнула Ваньку звонком. — Отойди, придурок, зашибу!

Он еле успел отскочить.

— Ладно, давай сам, а то не научишься, — Корзинин хлопнул его по плечу и пошел дальше.

Первую «парашу» Шишкин, конечно, вывалил на себя, но хорошо хоть, что не убился. Потом он немного приспособился, но все равно цеховая наука давалась ему с трудом. Единственное, чему Ваню не пришлось учить, — это пить водку. Правда, и тут он мужиков насмешил, когда они его первый раз с собой взяли... Выпивали рабочие или наскоро в раздевалке, или не спеша «на природе». Этих «рюмочных-распивочных» в городке тогда не было; зачем, когда кругом столько «бугорков», и рощу пионеры насадили, и стадион завод отгрохал... Ну вот, взяли они Ваню с собой на стадион, расположились на трибуне; внизу пацаны мяч гоняют, а мужики культурно после работы выпивают. Ваня от людей не отстает... Закурили... Тут Шишкин всех и огорошил:

— А когда, — говорит, — драться пойдем?

Мужики изумились:

— Ты что, Вань? Тебя обидел кто?

— Нет... Дык выпили же... — отвечает Ваня.

Вот оно что! Видать, у них в Короськове без драки не пьют — экий дикий народ... Мы, понятно, тоже не прочь иногда «помахаться», но с толком и по делу, а это что же — просто выпил и давай?

Но ничего, приучили Шишкина и отдыхать по-людски. Вообще он за год немного обтесался: приоделся, разговорчивей стал, и даже, кажется, меньше стало от него пахнуть... а может, это мы к нему привыкли. Вот только бабы у него не было ни постоянной, ни какой-нибудь. В деревне у них, он рассказывал, доярки все на возрасте, а в городе кто ж ему даст, такому недо-тепе, — он и сам это понимал. Между тем стали мужики замечать, что заглядывается Ванька на нашу Милку-нормировщицу. Нормировщица — это такая должность, резать рабочим расценки, поэтому будь на Милкином месте хоть с шестым номером, все равно бы ее никто не любил. Мужики, завидя ее, заводили всякие шуточки и всяко над ней насмеялись, чтобы она ушла поскорее со своим секундомером. Однако если посмотреть непредвзято, то женщина она была ничего и к тому же, кажется, разведенная. Но почему это Ваня так на нее запал — загадка... Возможно, из-за имени, ведь так в деревне коров называют. Ну а уж коли заметили мужики, что он Милку глазами провожает, пошли шуточки и в его адрес. Частушку пели, хоть и не в рифму она выходила: «Как завижу мою Милку — сердце бьется об ширинку...» Шишкин отмалчивался... Наконец кто-то спросил его, когда она мимо проходила:

— Хороша баба... Стал бы, Вань?

— Чего? — не понял Ванька.

— Ну... Милку трахнул бы?

Шишкин помолчал, постепенно краснея, и ответил:

— Нет.

— Это почему же? — спросивший удивился. — Ведь она тебе нравится.

— Дык... — Ванька замаялся, — не дасьтъ она мне.

Хохот стоял в цехе минут пять.

И все же, видать, случай этот настроил его мысли более определенно в отношении нормировщицы. Люди заметили, что он, превозмогая себя, стал мыться

в душе, а в цеху при Милкином появлении краснел и начинал фасонить: однажды даже громко выругался матом, чего раньше с ним не случалось. Но на Милку его заходы, ясно, не действовали, а на мат она обернулась и сказала:

— Свинья!

Так что до кадрежки дело у них не дошло... А может, и было у них какое объяснение, кто знает, потому что однажды Ванька, прогуляв с обеда, напился. Он напился, шлялся по городку, а вечером, встретив Кашлева с Корзининым, добавил с ними еще... Была зима, пурга; Кашлев с Корзининым замерзли и пошли по домам — получать от жен положенный причесан. А Шишкин... Шишкина нашли только через два дня в короськовском поле под снежным сугробом. Из города-то ушел Ванька, а домой не вернулся, такие дела...

История в чем-то и поучительная. Не слюбился парень ни с Милкой, ни, в общем-то, с заводом, ни с городом. И мы его, скажем честно, не особенно полюбили. А все почему? Понудила его неразумная Пелагея идти через это поле... Останься он в своем Короськове — другой бы был и рассказ о нем.

ДРУЗЬЯ

Мужская дружба в ее, разумеется, естественном виде — явление столь же распространенное, сколь и непонятное. Каких только странных альянсов не возникает за бутылкой и без нее под влиянием таинственной силы дружеского тяготения.

Вот пример: несколько уже назад отсюда во времени жили-были и работали в одном цеху два слесаря-сборщика — Попов и Савельев. Не бывало, казалось, на свете столь непохожих людей. Попов — мужчина полный, основательный, неторопливый. Савельев — сухощавый,

подвижный, характером горячий. Попов имел партбилет и, стараясь понравиться начальству, не пропускал ни одного собрания. Савельев, напротив, с начальством вечно ругался, а пустые заседания терпеть не мог. Он говорил, что его даже в детстве не приняли в пионеры, потому что батя его отдал Богу душу на каком-то канале. Совпадали они только местом работы, профессией да еще возрастом: обоим уже перевалило на шестой десяток, что для русского мужика, притом работяги, считалось немало. Еще их объединяла общая для наших слесарей страстишка к дегустации некоторых спиртосодержащих смесей. Водка в те времена считалась напитком праздничным и скорее дамским, а в ежедневном ходу у трудящихся были заводские бесплатные побочные продукты химического производства. Назывались они по-разному, потому что разными были рецепты их приготовления: «Борис Федорович» («БФ»), «Сучок», «Ветродуи» и так далее. Но суррогаты пили все, а дружили так крепко, как Попов с Савельевым, немногие.

Вкалывали они, конечно, на пару — оба по шестому разряду, оба уважаемые люди. Шестой разряд в сетке для слесарей самый высокий, «старику» просто полагался. Но пока добирались до этой карьерной вершины, друзья, увы, подзабыли многую слесарную премудрость. Чертежи они всегда разбирали с трудом, больше полагаясь на память, а вот ее-то и повыветрило временем и «Ветродуем». Прикинут на глазок, где сверлить и как да что... ан промахнулись! Выходил брак. Начиналось разбирательство: кто напортачил? Попов? Не может быть — он член партии, опора и надежда цехового начальства. И виновным назначали Савельева — вот тебе и КТУ*, вот тебе и премия... Мастак злорадно скалился: «Один ноль в твою пользу!» — и ставил ему минус

* КТУ — ежемесячная премия, начисляемая согласно так называемому коэффициенту трудового участия.

ноль один на специальном стенде. Тогда-то Савельев и показывал свой характер: ругался, брызгал слюной и грозился все начальство вывести на чистую воду. Но его никто не боялся, разве что мастер держался временно подальше от его горячих кулаков. А на следующий день Савельев и сам уже не помнил обиды: хлопал мастака дружелюбно по спине и, нацепив очки с резинкой, старательно портил очередное изделие. Хитрован Попов, увиливая от ответственности, подводил базу, объясняя, что оплачивает свою неприкосновенность членскими взносами. Но Савельев и так никогда на него не обижался, потому что на друга обижаться нельзя.

Зато с бабой своей он ругался без устали: Савельевы вели промеж себя почитай уже тридцатилетнюю войну. Додирались они иногда прямо в цеху, потому что работала Райка тут же, кладовщицей в ИРК*. К их скандалам привыкли, и никто на участке не удивлялся, встретив Райку с густым «бланшем» под глазом. Савельеву бы взять пример с Попова: там в семье царила тишь да гладь, ни драк, ни ревности — полное взаимопонимание. Поповская Валька работала в буфете и приносила в дом не меньше мужа. Все знали, что в интересах дела, особенно по молодости, она давала себя щупать нужным людям, однако никто бы не припомнил, чтобы Попов поднял на нее руку. Впрочем, оба друга баб своих любили и называли их за глаза ласково «наши кастрюли».

Материальное положение в их семьях тоже резко различалось, несмотря на одинаковую зарплату. У Попова имелись мотоцикл с коляской, огород, большой настенный ковер. Савельевы же вроде и суетились: то капусту квасили, то картошку запасали, а все у них были дыры в хозяйстве — вечно до полочки занимали. Попов только с виду казался неповоротливым — он всегда знал, где что на заводе лежит не у дела: высмотрит, при-

* ИРК — инструментальная рабочая кладовая.

прячет да и шасть через забор. И ни разу не попался. А Савельев однажды только хотел ножовку вынести (на свою же рабочую карточку у Райки выпросил!), да поперся с ней через проходную и влип.

Таковыми они были разными, Попов и Савельев, но их объединяло настоящее таинство мужской дружбы. Не только в аванс или получку, а и в обычные дни часто находилась у них повод прогуляться после смены в пионерскую рощу. Друзья завели такую специальную грелку, в которой выносили этот «повод» с завода. Роща начиналась вскоре за заводским забором — ее и высаживали в качестве санитарной зоны между химзаводом и городком. Вечерние косяки работяг процеживались сквозь зеленый фильтр, пьющие оседали, застревали в кустарнике, как рыбешка в китовом усе, и в результате их бесчувственные тела меньше потом засоряли улицы городка.

Наши друзья шли на собственное, давно ими облюбованное укромное место. Распитие грелки требовало сосредоточенности и не терпело посторонних глаз. Все разновидности заводского пойла чрезвычайно трудно усваивались организмом и только при помощи специального набора приемов, выработанного годами тренировок. Молодежь с третьим-четвертым разрядами просто раз за разом блевала, повторяя «заходы», прежде чем «приживется» очередная порция. «Старики» же, выучась искусно управлять своими внутренностями, могли даже обходиться почти без закуски, пользуясь разве что березовым побегом или сорванным здесь же в роще листиком щавеля. Пили Попов с Савельевым из «дежурного» стакана, который с собой не уносили, а оставляли в роще, вешая вверх дном на древесный сучок. Зимой и летом стакан неизменно встречал товарищей на привычном месте, вызывая у них приятное ощущение устойчивости бытия. В часы неторопливых попоек лишь этот ржий стакан, давно утративший былую прозрач-

ность, составлял им испытанное общество. А на полянах гомонили шумные компании: заводчане приходили в рощу порой целыми бригадами и оскверняли вечер производственными разборками, переходившими иногда в рукопашную. Часто и наших друзей зазывали на лихие сборища, но они отказывались: им уже милей были покой и тихая беседа. О чем? О жизни: о бабах, о детях, о старости и о многом таком, что можно доверить только рыжему стакану... Они разговаривали так тихо, что, наткнувшись в сумерках, их можно было принять за два шелестящих дерева, и однажды, собственно, так и случилось...

Шла как-то вечерней рощей собирательница Любка (по фамилии то ли Лапутина, то ли Лазутина). В одной руке несла Любка авоську, а в другой – палку. Палкой она, что-то ища, шерудила в траве, а найденное складывала в авоську. Искала она, конечно, не грибы, не ягоды, а пустые бутылки – это и был ее промысел. Шла Любка, тыкая своей палкой, как слепая, и надвигалась прямо на Попова с Савельевым, которые, замолчав, с любопытством за ней наблюдали. Вдруг вместо дерева палка стукнула по мужской ноге.

– Ай! – вскрикнула Любка, отпрянув.

– Чего орешь? – строго спросил Попов.

– Очинно испугалась... – Баба смущенно улыбнулась, показав немногочисленные зубы.

– Не бось, не укусим.

Любка уже оправилась. Чуток постояв, она сказала:

– Здрасьте...

– Здорово, здорово.

Она еще помолчала, затем поинтересовалась:

– Мужчины, у вас «пушнины» нету?

– Чего?.. Нету. Видишь, из грелки пьем.

Но баба не уходила, а продолжала застенчиво переминаться. Наконец она отважилась:

– Ребята, а я вас знаю...

– Ну и что? – равнодушно отозвался Попов.

— Любка я... И жену твою знаю...

— Ну и хуй с тобой.

Она боролась с застенчивостью:

— Вы мне это... двадцать капель не плеснете?

Друзья переглянулись:

— Из нашего стакана? Иди ты...

— Зачем из вашего, — заторопилась Любка, — у меня свой есть.

Они переглянулись опять.

— Ну что, плеснем ей? — предложил Савельев.

— Ладно, давай... — согласился Попов. — Только, ты слышь, у нас заводской, — предупредил он бабу.

— А мне ништяк! — просияла она. — Спасибо, мальчики!

В другой раз они бы ее отшили, но тут дали слабину: видно, были уже «втертые». Любке налили, потом еще, и завели с ней снисходительный разговор.

— И как же дошла ты до такой жизни? — спросил ее Савельев.

— До какой? — не поняла Любка.

— До такой... Бутылки собираешь... и зубов вон у тебя не осталось.

Она замигала глазами, хрюкнула носом да и заплакала:

— Ы-ы-ы... Много я горя видела...

— Какого еще горя? Небось все по этому делу... — Попов, усмехнувшись, щелкнул себя по горлу.

— Ох, не знаете вы жисть мою... ы-ы... — скулила она, размазывая слезы.

Друзья выпили еще по полстакана, отдышались, помолчали. А баба все не унималась.

— Экая слезливая попалась... — Попов задумчиво посмотрел на Любку. — Что с ней делать?.. Слышь, Савельев, вроде не старая еще... Может, отдерем — что ей за так наливали?

При слове «отдерем» Любка перешла на вой и в страхе поползла прочь.

— Эй, дура, ты куда? — удивились они.

— Чего я вам сделала? — заголосила баба. — Я вам что, не даю? Ебите, если хотите, а драть-то зачем?

— Ээ, да ты и правда дура! — засмеялись мужики. — Мы ж про то и говорим! Ползи обратно...

Алкоголь и потемки — лучшие гримеры: что-то они такое сделали с собирательницей бутылок, что даже Попов с Савельевым соблазнились на грех. Разложив безотказную Любку, они ласкали ее одновременно и каждый по-своему. В то время пока практичный Попов, здоров несвежий подол, направился напрямиком в ее грешные недра, Савельев — кто б мог представить — целовал ее в беззубые уста!

Долго ли, коротко совершалась их оргия, но наконец угасла. Как угас и день — роща погрузилась во мрак. Попов, пошатнувшись, встал с лесной подстилки, помочился и бережно спрятал свое «хозяйство». Сделав дело, он склонился, вглядываясь в лежащие тела... Савельев с Любкой спали, обнявшись, будто юная пара, утомленная любовью где-нибудь на цветочном лугу. Попов хотел разбудить друга, но передумал; усмехнувшись, он отнял руку и выпрямился. Он постоял в задумчивости, потом вздохнул и побрел один, ощупью находя в темноте дорогу.

Савельев очнулся на рассвете; тело его свело от холода и сырости. Он с трудом сел и огляделся. Любки не было; рядом с ним валялись только рыжий стакан в роще и пустая грелка. Савельев нарочно задрожал, пытаясь согреться, и задвигал плечами. Из-за кустов неожиданно выбежала собака, гавкнула и скрылась. Он еще немного посидел и попробовал встать; голова его закружилась, и Савельеву пришлось прислониться к дереву. Стоя так, он увидел сквозь ветки медленно бредущую по роще женскую фигуру; вглядываясь в траву, женщина что-то искала...

— Люб!.. — хрипло позвал Савельев.

Женщина услышала и пошла на голос. Когда она приблизилась, он понял свою ошибку: это была не Любка, а его жена Райка.

— Ты чего тут делаешь? — спросил он, протирая глаза. Она ответила не сразу, а сделала паузу, глядя сурово в упор на перепачканного супруга.

— А ты как думаешь? — молвила она мрачно.

Райка еще постояла, потом круто повернулась и пошла прочь. Савельев отлепился от дерева и нетвердым еще шагом стал ее догонять. Они шли домой в молчании, хлюпая промокшей от росы обувью.

— Рая! — вдруг подал голос Савельев.

Она обернулась:

— Ну чего тебе?

— Ничего...

Он не стал говорить, а про себя решил, что больше никогда не будет с ней драться.

НАПРАСЛИНА

Весело начинается рабочий день на заводе. Если ты не с бодуна, если не успел с утра полаяться со своей «коброй» — хорошо! Но и то не беда — пройдешь вахту и все с себя отрясешь: на заводе другой мир, и ты, как в сказке, обернешься здесь другим человеком. Сколько таких примеров: там, за забором, ты Иван-дурак, а тут у тебя другая ипостась — Иван Иваныч, знатный фрезеровщик. Вторая после проходной переправа — раздевалка: в ней окончательный раздел с забором; сбросив неуклюжую «гражданку», здесь ты облечешься в природную свою шкуру — робу, повторяющую любовно все причуды твоей анатомии.

Раздевалка, «бытовка», наполняется с утра мужскими голосами. Раздаются приветствия, хлопают звонко ладони, спины гулко бухают. Залязгали железные

шкафчики. Вот оголились первые торсы, запрыгали по войлочным коврикам лохматые ноги. Голоса весело перекликаются, густые и тонкие, хриплые и чистые, но трудно угадать, какой голос в каком устроен теле. Тел здесь тоже полный ассортимент: всех степеней атлетизма, полный набор конопушек и родинок, вся география волосатости. Шеи пока благоухают, но скоро, скоро трудовой пот вымоет из пор лосьоны... Ноги ныряют в промасленные «комбезы», тулова облакаются в рубахи, давно позабывшие свою расцветку. С притопом надеваются тяжелые ботинки-«говнодавы»; мало проветрившиеся за ночь, они с силой выдыхают хозяевам в нос... Готово? А вот и звонок к началу смены.

И пошла лавина по коридорам, по переходу в цех — можно даже испугаться. Эй, кто там в белом халате, посторонись, не то запачкаем, толкнем ненароком... Прогрела лавина, и вдруг — как последний камушек: топ-топ-топ... Догоняй, не опаздывай, не отрывайся от коллектива!

Ждет тебя твой зеленый друг — токарный, фрезерный, зубонарезной — только что не ржет приветственно. Обметен, прохладен, слегка попахивает железом со сна... Сейчас, дружок, уже скоро... Мастер, что у нас на сегодня?.. Лягут сами ладони на отполированные рукоятки — пуск! И он запоет, и душа твоя запоет! Звонко зашелестев, брызнет стружка; нежная, чистая, покажется обнаженная сталь — как головка ребенка между ног роженицы, как залупа в бережной мужской руке. Вы вдвоем сделали третьего; его увезут на тележке, куда — неизвестно, где проведет он жизнь — незнамо... но сейчас это ваше дитя, и ты любовно принимаешь на руки его теплое тельце.

Хорошо начинался день в цеху. Колокольню звенели болванки; трогался кран и выл, набирая ход; там и сям подавали голоса станки и люди... Баулин любил это время. В чистой спечовке, в неизменном берете он степен-

но проходил станочным междурядьем, кому кивая, кому пожимая шершавую руку. Минуя «птичник» (загон-вышение посреди цеха), он солидно «ручковался» с начальством. Задания Баулин получал персональные, ибо токарь был классный, мастера перед ним заискивали:

— Вот, Степаныч, смотри, что инженера удумали... Как — сделаем такую хреновину?.. А?

Степаныч, надев очки, склонялся над чертежом.

— Ну как?.. Смогём?..

Баулин отвечал не сразу. Сняв берет, он гладил ладонью лысину, чесал задумчиво за ухом... Потом усаживал берет обратно и тогда только, нахмурясь, цедил:

— Попробуем...

Его «попробуем» означало, что он сделает. Мастер облегченно вздыхал:

— Ну и слава те... Ты только не спеши, это тебе на всю смену задание.

На последние слова Баулин хмурился и с достоинством возражал:

— Поучи дедушку кашлять!

Как среди деревьев дуб распускается последним, так и Степаныч едва ли не последним в цеху запускал свой станок. Но уже когда приступал он к работе, ничто не могло его отвлечь, разве обесточка завода. Рабочее место и инструмент свой Баулин содержал в исключительном порядке. Сама его железная тумбочка говорила за себя: всегда аккуратно выкрашенная, снабженная большим висячим замком; дверца ее изнутри была оклеена не женскими задницами, а таблицами допусков и посадок. Станок Степаныча, такой же немолодой, как его хозяин, не знал чужой руки и никогда не ломался. Баулин не подпускал к нему ни сменщиков, ни наладчиков, и все в цеху знали: не хочешь скандала — не подходи к баулинскому станку.

За хороший труд и выслугу лет имел Степаныч орден — «Знак почета». Не раз профком награждал его

грамотами и путевками. Но... будь ты хоть трижды орденоносцем, хоть членом парткома, не стоит забывать, что ходишь под Богом. В подтверждение этой мудрости однажды и с Баулиным случилась оказия.

Работал он как обычно: творил какую-то замысловатую деталь. Вдруг в проходе между станками показалась Томочка-экономистка, выбранная недавно председателем цехкома. Она пробиралась, переступая туфельками через лежащие на полу заготовки и боязливо сторонясь гудящих машин. Рабочие весело посвистывали ей вслед, и только один Баулин не обращал на Тому внимания, хотя направлялась она именно к нему.

— Петр Степаныч! — Голос ее за шумом станков казался писком.

Он не обернулся, а лишь махнул рукой: обожди, мол. Дамочка еще постояла и, набрав воздуха, опять закричала:

— Петр Степаныч, пожалуйста!

Баулин досадливо крутнул головой и выключил станок. «Концами» он не спеша вытер руки и, сдвинув очки на нос, строго поверх посмотрел на Тому.

— Ну? — недовольно буркнул он.

Под мышкой цехкомша зажимала папочку.

— Грамоту принесла? Давай...

— Нет, Петр Степаныч, не грамоту... — Она оглянулась и понизила голос: — Тут неудобно... Бумага на вас... Вы поднимитесь, пожалуйста, в контору.

— Что еще за бумага? — посуровев, переспросил Баулин, но, покосившись на рабочих, быстро пообещал: — Ладно, приду.

Спустя полчаса он поднялся в ее кабинетик. Вид у него был сердитый, и, не дав Томочке открыть рта, Степаныч с порога заругался:

— Вам что, ешь вашу, делать нечего?! Бумажка, поди, прошлогодняя из вытрезвителя... Порвали б, и дело с концом!

Но цехкомша, слегка порозовев, возразила:

— Нет, Петр Степаныч, не из вытрезвителя... Вы сами почитайте...

И она, раскрыв свою папочку, подала ему несвежий тетрадный листок, отмеченный, однако, каким-то входящим номером. Степаныч, нацепив очки, принялся разбирать корявые строки. Писалась бумага, наверное, с неменьшим трудом, чем прочитывалась:

Мы жители деревни бывшая Мутовки ныне относимся к горсовету Козлова М. М. и Курипанова М. К.

ЗАЯВЛЯЕМ

Оградите молодую семью. Николаева Анна по улице 2-я Мутовская дом 3 пользуется что муж проводник развела притон. Ваш коммунист Баулин несмотря что на Городской Доске Почета ходит к этой Аньке. К ней по-соседски пришли сказать что у ней корова съела нам капусту. А он сидит в трусах и мне сказал пошла вон. Примите немедленные меры к таким которые позорят Доску Почета а Витька у ней слабосильный и сам поучить не может.

Баулин побагровел и гневно засопел. Томочка смотрела испуганными глазами.

— Из парткома переслали, — сообщила она почти шепотом. — Говорят: разберите на профсоюзе...

Степаныч, удерживая злость, что-то соображал... Наконец до него дошло, и он взорвался:

— Что они там уху ели?! Я им разберу, ёшь иху... И ты тоже хороша, «Тома из цехкома»... навыбирали вас!

Она чуть не заплакала:

— Я-то чем виновата?

— На какой это я доске висю... вишу, по-твоему?

— Как на какой — на нашей...

– От дура! То-то, что на нашей! А здесь написано: на городской! Ты читать умеешь? – Он бросил бумажку на стол.

– Там же фамилия стоит: Баулин...

– Я что, один в городе Баулин? У нас Баулиных пол-улицы!

Действительно, в том году его не представили на городскую доску, потому что там и так висели двое Баулиных – пропитчик из первого цеха и директор техникума. Степаныч велел Томочке впредь думать правильным местом и гордо покинул кабинетик, оставив цехкомшу одну, обескураженную и недоумевающую. Следствия проводить не стали, и мутовское заявление дальнейшего хода не имело...

Однако происшествие получило неожиданное продолжение. Неизвестно каким образом история с «заявой» добралась до ушей баулинской жены, Дарьи Гавриловны. Она не дослушала объяснения, на какой доске висит ее супруг, а сразу избила его чем пришлось под руку, именно – половой тряпкой. Тряпка оставляла на Степанычевой лысине грязные следы, а он только бормотал: «Даша... Даша...» – и тщетно прикрывался руками. Задав перцу Степанычу, Дарья Гавриловна не успокоилась и на следующее утро совершила карательную экспедицию в Мутовки. Найдя Аньку Николаеву в собственном доме, она сделала то, что не получалось у слабосильного Витьки: схватив Аньку за волосы, Дарья крепко била ее мордой о кухонный стол. Гавриловна хотела переколотить всю посуду, но Анька, пуская из носу кровавые пузыри, так убедительно отрещивалась и верещала, что знать не знает ейного мужа, что кухня уцелела. Отдышавшись, бабы помирились и уже вдвоем, наведавшись к клеветнице Машке Козловой, от души ее отметили, чтобы у нее вовек отпала охота к подметному творчеству. Соавторшу ее, Курипанову, не нашли (ее счастье!), пото-

му что она, услышав соседкины вопли, где-то спряталась и отсиделась.

Историю эту Сергееву рассказал в курилке сам Петр Степаныч. Закончил он ее печальным вздохом и словами:

— Вот, брат, какой вышел анекдот...

Сергеев помолчал, затянулся и, скосив глаза на зашкворчавшую сигарету, заметил:

— Но ведь дыма без огня не бывает... а, Степаныч?

— В каком смысле?

— Ну... признайся — небось и правда ходил к этой Аньке?

— Ну и что? — удивился Баулин. — А кто к ней не ходил? Не на всех же кляузы строчат... Вон, Томочка наша у начальника со стола не слезает, и что? Мы ж не станем на них писать!

— Нет, конечно. На своих, как можно?

— Я и говорю... В коллективе все по-людски, а там... хоть не ходи за проходную. — И Баулин потер много-страдальную лысину.

ПЕРЕЕЗД

Вечерело медленно и незаметно, безо всяких там зорь и закатов — у нас так бывает. Как в кино — механик убирает диафрагму: убирает, убирает, и все — до завтра. Вуаль, муар... как это называется? Словом, на городок нисходили сумерки. Дали становились неясными, расплывались, будто зрители, расчувствовавшись, прослезились к концу сеанса.

Финальную сцену дня и впрямь наблюдало у переезда довольно много людей: водители скопившихся автомашин, их пассажиры и, конечно, сам машинист маневрового тепловоза, второй час уже загораживавшего дорогу. Высунувшись по пояс из кабины и мужественно

нахмурясь, машинист напряженно вглядывался куда-то по ходу состава, словно вел его на большой скорости. Наконец, получив таинственный знак, он скрывался в кабине; тепловоз давал энергичный свисток, трогался, и прицепленные к нему три вагона принимались возбужденно лязгать. Шоферы бросались к машинам; вспыхивали фары, дорога окутывалась дымами заговоривших моторов... Увы — шлагбаум не хотел открываться, и через минуту из леса показывались знакомые вагончики, толкаемые все тем же проклятым тепловозом; машинист, не меняя мужественной осанки, смотрел теперь в обратную сторону... Канитель эта началась еще засветло, а сейчас уже и машинист, и тепловоз его были почти неразличимы в густых сумерках.

Городок привык к своему переезду, но неудобства от него нельзя было не замечать. Переезд служил всегдашним поводом для местного злословия. В самом деле: самосвалам приходилось вываливать раствор, чтобы не «закозлился» в кузове; скорая помощь часто бывала совсем не скорой, а иногда уже и не помощью. Даже похоронные процессии попадали из-за переезда в нелепое положение: скорбящие от нечего делать разбредались по обочинам, а покойники оставались одни, и хоть им-то спешить было уже некуда, лежали, казалось, с выражением скуки. Конечно, пешие жители и беззаконные мотоциклисты пересекали «железку», когда хотели, на свой риск, однако все же городок платил немалую ежедневную дань переезду, а стало быть, каждому, кого проносили мимо скорые и дальние поезда.

Сидя в остывающем автобусе, Никишин изнывал не столько от ожидания, сколько от неумолчного трепаса своего соседа. «Вот повезло... — с тоской думал Васильич. — Навязался, перец...» Фамилия «перца» была Зачёс; когда-то они с Никишиным вместе работали, но уже лет двадцать не попадались друг другу на глаза. Теперь Зачёс восполнял пробел в Никишинских знаниях

об его, Зачёсовых, обстоятельствах. Из рта его дурно пахло, и вонь эта гармонировала с его речами: «Сеструха — сука... невестка — блядь... смерти моей ждут...» — доносилось до Васильича. Он отвернулся к окну, но Зачёс, навалившись, приник и продолжал смердеть ему в лицо: «Ждут, чтобы я дом им подписал... А вот им! Что они вложили?» — «Тебе-то на том свете дом не нужен будет... — пробормотал Никишин. — Пусти-ка, я выйду...» Зачёс с сожалением его выпустил. Качнув автобус, грузный Васильич выбрался на воздух. Беззвездное небо совсем уже погасло. Шоферы, собравшись в кучку, что-то, смеясь, травили и даже не взглядывали в сторону переезда. «Сколько же еще простои́м? — с досадой прикинул Никишин. — Нет, надо домой возвращаться, все равно Катьку уже спать положили...» Он постоял еще немного, потом сплюнул под ноги и побрел восвояси.

По улицам городка тянуло приятным запахом дровяного дыма. Во всех домах уже затеплились окна, и по цвету их можно было сообразить, мимо чьего дома ты идешь: занавески горожане не меняли по многу лет. Люди собирались под крыши, а собаки, отпущенные на ночь, выходили на улицы и церемонно здоровались друг с другом. Их взбрехи там и сям, обрывки людского говора, мигание разноцветных окошек — все показывало, что городок одушевлен, наполнен тихой, но повсеместной жизнью. Лишь громада собора, тяжело поправшая монастырский холм, нависала немо и слепо, едва пропечатываясь на темном небе. На его уступах и на месте порушенного купола вместо крестов росли целые березы, мощную кладку изъязвило лихолетье. Собор и присные церкви стояли заколоченные, мрачно и даже величественно пережидая стрясающую с ними беду.

Туда, в сторону старого монастыря, держал путь Никишин. Как ни странно, жизнь не вся покинула это место: там, в бывших монашеских кельях, в здании быв-

шего странноприимного дома, в стенах и даже в бывшей Надвратной церкви обитали люди. Подобно насекомым, мышам либо иным паразитам, заселяющим безнадзорные и погибающие строения, они, впрочем, с благословения властей обжились тут давно. Когда это случилось, то есть когда советская власть закрыла монастырь и первые поселенцы из числа приезжих пролетариев поместились в теплых еще кельях, в далекой стране Испании шла гражданская война. Видимо, поэтому место, принявшее людей, так похожих на беженцев, жители прозвали Мадридом. Парии среди горожан, мадридцы всегда жили обособленно. Из больших городов пришельцы занесли в Мадрид дурную привычку решать все споры кулаками, а то и при помощи ножей или кастетов. Поэтому район этот быстро приобрел дурную славу, так что даже теперь, спустя четыре десятилетия, горожане старались без нужды в Мадрид не наведываться.

Однако Никишин не боялся мадридского жиганья. Он был свой человек в этих трущобах, знал тут каждого, и все знали его. К тому же, несмотря на пожилой возраст и развившуюся с годами тучность, он еще вполне мог постоять за себя: кулак его способен был свалить если не быка, то уж хорошего теленка без сомнения. Страх не страх, но какую-то робость внушали ему вовсе не хулиганы, а — стыдно признаться — человеческие кости на «куликовом поле», миновать которое ему предстояло. Это место когда-то было монастырским кладбищем; потом про него забыли, а недавно бульдозерист, ровнявший тут для чего-то площадку, обнаружил, что из-под ножа у него полезли черепа и части скелетов. Бульдозерист смекнул неладное и пошел к начальству, прихватив с собой для доказательства один череп.

— Давай, вызывай милицию или там кого хочешь, — заявил он своему прорабу, — а я так работать не буду.

Мне на том свете неохота из-за них сковородки лизать! — И он постучал пальцем по желтому черепу.

Начальство, однако, не было столь суеверно — кладбище все же перекопали. Какое-то время кости вперемешку лежали на земле, и тогда народ прозвал это место «куликовым полем». Потом кости собрали в кучу, подогнали самосвал, погрузили и увезли в неизвестном направлении. Но собирали безвестные прахи неаккуратно, как у нас собирают колхозную картошку: там и сям вновь и вновь из земли показывались то чьи-то ребра, то берцовая кость. Люди боялись ходить нехорошим пустырем, и даже Никишин, как было сказано, шел через бывшее кладбище с неприятным чувством.

Солидный возраст и полнота не подспорье для пешехода. К тому же Васильич сделал глупость, решив обойти пустырь по краю. Он попал ногой в какую-то яму, потерял равновесие и неуклюже упал на землю. Из сумки его выкатилась, заголосив, неваляшка, купленная для внучки. Неваляшка поднялась, уставясь на Никишина круглыми глазами, а он продолжал лежать, соображая, сильно ли повредился. Полежав с минуту, Васильич потрогал свою ногу... и крикнул от боли:

— Ух, ё!..

Никишин отдышался и уже членораздельно выругался...

В это время Манефа тоже возвращалась домой. Она гораздо лучше Васильича ориентировалась в темноте, не страдала лишним весом и одышкой, а потому добралась без происшествий. Большая коммуналка, в которой они жили, устроена была в Надвратной церкви. Дверь, ведущая внутрь монастырской стены, никогда не закрывалась; Манефа легко и привычно взбежала по потертым шатким ступеням на второй этаж. Попасть в квартиру тоже не составило труда: стоило ей громко объявить о своем приходе, как обтянутая драным дерматином дверь открылась и ее впустили.

— А Васильича нет дома, — сообщил Санька и, обернувшись, крикнул вглубь квартиры: — Мам, Манефа пришла — ее кормить?

— Не надо, у нее лежит, — отозвался равнодушный женский голос.

Манефа нежадно поужинала на кухне и принялась ждать Никишина. Она давно уже изменила кошачьему обычаю гулять по ночам, предпочитая мирный сон на животе у Васильича или, если он слишком расхрапится, на шкафу... Но хозяин все не шел. Запертая дверь в их комнату была единственным препятствием, преодолеть которое самостоятельно Манефа не могла. Оставалось только сидеть и ждать, когда послышатся тяжелые шаги и знакомое сопение.

Между тем коммуналка, наполнившись почти всеми своими обитателями, начинала ежевечерний фестиваль: из-за каждой двери, закрытой, приоткрытой, а то и без стеснения распахнутой, доносилась своя «постановка». Вот Нинка грозит Саньке ремнем, если тот не выучит к завтраму «стих»... Вот Генриетта Марковна ругает своего Адика-студента за то, что запустил триппер... Вот баба Нюся расследует, откуда в ее борще взялся черный таракан... Манефа сидела, безучастно жмурясь, и только хвост ее порой укоризненно вздрагивал при слишком громких человеческих вскриках.

Хлопнула дверь дяди Они; благоухая, как всегда, лошадиным навозом и керосином, извозчик прошел по коридору, едва не наступив на кошку.

— Не сиди на проходе! — ругнул он ее.

Иона зашел в сортир и, не успев еще закрыть дверь, громко пустил ветры. Керосином от него несло потому, что они вместе с мерином Щорсом работали на нефтебазе: развозили по городку керосин, Ионе давно пора было на пенсию, а Щорсу — на живодерню, но, поскольку расставаться им не хотелось, приходилось таскать каждый день эту бочку с мало кому уже нужным нефтепродуктом.

Васильич все не возвращался. Манефа легла на живот, подвернув передние лапы. Место дяди Они в сортире занял Адик-студент с газетой, которую коммунальная интеллигенция употребляла с двойной пользой. Мать его, Генриетта Марковна Шварц, преподавала в сельхозтехникуме немецкий язык, а двадцативосьмилетний Адик, хотя и работал грузчиком в овощном магазине, учился заочно в каком-то институте. Однажды Генриетта по нечаянности дала Адикю в сортир газету, в которой принесла из хозмага порошок-синьку. Квартира не забудет, какой концерт закатил на кухне нервный студент, матеря мамашу и показывая присутствующим свою синюю задницу.

Много разных происшествий случалось в квартире за сорок лет... Люди рождались и умирали, подсматривали друг за другом, завидовали, то ненавидели, а то жалели своих соседей, иногда даже любили... Порой даже о чем-то мечтали... Но они никогда не молились, хотя жили пусть в разоренном, но все-таки монастыре. В последние годы все помыслы их соединились в одном желании: поскорее отсюда уехать. Уже шли отделочные работы в новом доме на пустыре (к счастью, не «куликовом»), видимом из окон Надвратной церкви, — туда их собирались переселять. Мадридцы давно жили «на чемоданах»: не вставляли стекла, не чинили испорченные краны, не вкручивали перегоревшие лампочки. Даже старый Иона мечтал о персональном сортире, где можно было бы сколько хочешь ждать, пока капризный кишечник не примет правильного решения.

Только Манефа не хотела перемен, хотя, возможно, как свойственно животным, чувствовала их приближение. Просто потому, что у кошек и людей разное представление о хорошей жизни, и потому еще, что животные, как бы трудно им ни жилось, никогда не хотят перемен и не умеют к ним приготовиться.

В тот вечер Манефа хотела одного: чтобы поскорее вернулся Васильич. А он в это время сидел на краю «куликова поля» и не мог встать, чтобы хоть как-то доковылять до дому. Вдруг из темноты показались две человеческие фигуры:

— Фу, ебть... Как ты нас напугал!

— Вы меня тоже, — проворчал Васильич.

Двое склонились над лежащим Никишиным:

— Толь, кто это?

— Да наш... Васильич, в церкви живет.

— А чего валяется — нажрался, что ли?

— Нет, кажись...

— Ногу я подвернул, — объяснил Васильич, — идти не могу.

Его подняли и поставили на здоровую ногу:

— Ну ты и боров!

— Сумку... — попросил Никишин.

— Сумку, сумку... Чего ты здесь поперся?

— По дурости, — он усмехнулся, — через покойников идти побоялся.

— Ага, вот и мы тоже... Толян говорит: «Давай обойдем...»

Они помогли ему добраться до дому. Тяжко прыгая и пригибая их плечи своим весом, с матом и стонами Васильич взобрался по лестнице.

— Спасибо, мужики... Без вас бы я не дошел.

— Не на чем... стакан плеснешь при случае.

Все обитатели квартиры высунулись на шум из своих дверей.

— Ах ты господи! Васильич, что с тобой случилось?

Все забежали, засуетились, а Манефа, юркнув в открывшуюся наконец дверь, запрыгнула от греха на шкаф. Через некоторое время все жильцы собрались у Никишина в комнате. Его положили на диван; Нинка, строго хмурясь, бинтовала ему ногу эластичным бинтом. Разложив на столе медицинский справочник, руга-

лись Генриетта с Адиком. Иона наливал в лафитники водку — Васильичу и себе. Одна баба Нюся осталась без дела и крутилась, всем мешая своим толстым задом и причитая:

— Ах ты господи! Говорила я: нечисто место, нельзя там ходить...

Манефа, свесив голову со шкафа, сторожко следила за происходящим, силясь понять, что случилось. Маленький кошкин мозг работал на полных оборотах, но вырабатывал лишь общее чувство тревоги...

На следующее утро, подпираемый Адиком с Ионой, Никишин выбрался из дому. На улице поджидал «транспорт»: Щорс, успевший уже накидать «яблок», начинал выказывать нетерпение и, фыркая, выгонял паром мух из ноздрей. При виде экипажа Васильич с сомнением пробормотал:

— Меня на такой тачанке весь город засмеет...

— Не хошь ехать — иди пешком! — обидчиво возразил Иона.

Никишин забрался на телегу, привалившись спиной к вонючей бочке.

— Ч-му-у! — повелительно произнес Иона и шлепнул Щорса вожжами по задку. — Ну, пошел!

Дорогой Васильич встретил немало своих знакомых, и все они как один веселились, разглядев в телеге Никишина. Он старался сохранять невозмутимость и отвечал на приветствия, заикаясь в такт прыжкам злосчастной колесницы. В санчасти они нашли нужный кабинет, и, проковыляв в него, Васильич увидел знакомого доктора, Пал Петровича Животова. Доктор потянул носом, но ничего не спросил, а велел Никишину разуться, закатать штаны и лечь. Васильич, пыхтя, стал снимать ботинок и покосился невольно на медсестру Галку, принесшую папочку с его болезнями. У нее был короткий халатик и красивые голые ноги, при виде которых он застеснялся. Никишин неловко лег на хруст-

нувшую под ним кушетку. Его икры были толстые, бледные, в узлах вен, как у неудачно рожавшей бабы...

— М-да... — сказал Пал Петрович, — эту ногу надо на рентген.

Он присел на кушетку и потрогал пальцами вздутые вены:

— А вообще-то у вас ноги не болят? Вон какой варикоз...

— Как не болеть... Конечно, болят, — сдержанно ответил Васильич и опять покосился на медсестру. — А ты постой сорок лет у станка, и у тебя заболят. У нас это обычное дело... Да у твоего отца, Пал Петрович, небось такие же ноги были.

Животов вздохнул:

— Я понимаю, но лечиться все же надо... Галь, ты сходи пока... Смирнова принеси.

Когда Галка вышла, они еще поговорили о никишинских болезнях. Потом вспомнили Животова-старшего, умершего в прошлом году. Потом, избавляясь от грустной темы, Пал Петрович улыбнулся:

— Видел я недавно ваших... Внучку к нам приносили... как ее?

— Катя.

— Да, Катя... Ну, ступайте на рентген... Вас довести или есть кому?

Рентген показал, что перелома нет. Однако доктор выписал Никишину мазь, велел ногу бинтовать и из дому минимум неделю не выходить. Гужевая экспедиция проделала обратный путь. Адик с Ионой взвели бедолагу наверх и отправились каждый по своим делам, а Васильич с Манефой с этого часа перешли на Санькино попечение.

Дети навещали Никишина, но урывками — оно и понятно: у них работа, дела, Катька... Дочь приехала — прибралась, постирала; зять продукты привез, обсказал заводские новости. Привозили внучку, Васильиче-

ву радость, но ей пока что интереснее была Манефа, чем собственный дед... Словом, родные у него были вроде десерта — приятно, но мало. А постоянные, настоящие нужды помогал Васильичу удовлетворять приятель его по коммуналке, десятилетний Санька. Никишин не стеснялся просить его об услугах: пацан и газету принесет, и в магазин слетает, и Манефу покормит... Санька рос без отца и тянулся к большому и сильному «дяде Васильичу»: вместе они ходили за грибами, играли в шахматы, вместе смотрели по телевизору футбол. Между прочим, Васильич тоже однажды выручил Саньку, отбив его у мадридской ватаги, — да так отбил, что, не рассчитав, вывихнул Генке Ключеву руку. Отец этого Ключева хотел идти разбираться, но, узнав, что разнимал Никишин, сам еще добавочно вложил несчастному Генке.

Санька подолгу сидел у Васильича. Иногда он приходил с тетрадками и делал у него уроки, а иногда только делал вид, что делает уроки, а по сути скрывался у Никишина от Нинки. Часто брал он у Васильича бинокль, сдвигал дрыхнувшую на подоконнике Манефу и, уперевшись локтями, изучал городок внизу и стройку, шевелившуюся на пустыре.

— Васильич, — спросил он однажды, — а когда мы переедем, ты будешь меня к себе брать?

— Я-то буду, да ты сам, наверное, не придешь, — ответил Васильич.

— Почему? — не понял Санька.

— А потому, парень, что жизнь там совсем другая пойдет... В таких домах каждый сам по себе живет.

— Нет, дядя Васильич, — возразил Санька убежденно. — Уж я-то к тебе всегда буду приходиться.

— Посмотрим... — Васильич вздохнул. — Ты-то, может быть, и будешь приходиться... а что мне с Манефой делать?

— Как что? С собой возьмешь.

— Нет, брат, кошки к одному дому привержены... Уж так устроены — вот беда.

Манефа при звуках своего имени повела ушами, но смысла разговора не уловила: слова «беда» она не знала.

Итак, Никишин с больной ногой сидел безвылазно в своей комнате. В отсутствие Саньки и по ночам, когда не спалось, он тоже от нечего делать наблюдал за ходом строительства пятиэтажки. Дом — их будущее жилье — уже подвели под крышу; в последнее время картина на стройплощадке сильно изменилась. Неутомимый кран, весь год маячивший на пустыре, замер. Его мажорная стрела, столько времени то приветственно, то указующе тыкавшая в разные стороны, вдруг бессильно упала, а потом он и сам, словно в изнеможении, сложился и лег на землю. Кран разобрали и увезли, и даже разобрали и увезли рельсы, по которым он ходил. Появился бульдозер; насадно тужась дизелем и взвизгивая блоками, так что доносилось до Васильича, он стал ровнять территорию. Слепым жуком трактор тыкался в края стройплощадки и полз обратно, соскребая и снова намазывая глину, но, похоже, на этом пустыре ему не попадались ничьи кости. Грузовики начали завозить доски, стекла и прочие материалы, лакомые для воровства и пропития. Рабочие уже не успевали красть по ночам и тащили даже среди бела дня на виду у собственного начальства, которое само не отставало от подчиненных и вывозило «товар» целыми машинами... Никишин отлично видел в бинокль все эти безобразия, но, бессильный их пресечь, только фыркал, как лошадь, и ругался, ища поддержки у Манефы.

— Нет, ты посмотри, что творится! — негодовал он. — Вот сволочи! Ведь у кого крадут — у нас крадут, ты понимаешь?

Но Манефу татьяба строителей не волновала, как и вообще все, что происходило на том пустыре: это была не ее территория, и там хозяйничали другие кошки.

У соседей своих Васильич тоже не находил понимания: в целом люди, не склонные к философии, они, однако, держались той доктрины, что в России, сколько ни вой, все равно что-нибудь останется.

А Никишин все переживал, все расстраивался — видно, приближение старости и вынужденное безделье делают человека таким раздражительным. Но, между прочим, тучным людям нервничать вредно и даже опасно... Однажды во время очередного ночного бдения он твердо решил, что напишет по поводу воровства строителей куда следует; Васильич даже успел сообщить об этом своем решении Манефе. Но в этот момент в его ноге, в одной из больших вен, оторвался тромб; движимый током крови, тромб поднялся по телу вверх и закупорил сосуд, питающий головной мозг. Васильич захрипел и потерял сознание; голова его упала, ударившись об оконное стекло. Через мгновение Никишин умер. Его тело поползло и, шумно свалившись со стула, осталось лежать на полу. Манефа удивилась, что он лег спать в таком странном месте, но спрыгнула с подоконника и взобралась на остывающий живот. Она почесалась, зевнула и, свернувшись калачиком, стала задремывать...

Спустя пару дней после похорон в Мадрид заехали Никишинские дочь с зятем и товарищем зятя, у которого была машина. Они забрали Васильичев телевизор и хотели захватить бинокль, но бинокля в комнате не оказалось. Санька расплакался и признался, что это он взял бинокль. Нинка закричала на него и хотела его побить, но дочь Никишина улыбнулась и разрешила мальчишке оставить бинокль себе — на память о дяде Васильиче. А зять еще прибавил к биноклю Никишинские удочки: «Мне они ни к чему, — пояснил он, — сам-то я не рыбак». Остальное имущество родственники разрешили разобрать соседям, попрощались с ними, уехали и больше в Мадриде не появлялись. Кое-что из вещей взяли себе тетя Нюся и дядя Оня. Нинка решила, что

им с Санькой, получивши бинокль, претендовать больше не на что. Генриетта ничего не взяла, зато договорилась с соседями, что, пока они не переедут, Адик будет иногда ночевать в Никишинской комнате «с девушкой». «Ладно, — сказала Нинка, — но пусть он тогда и Манефу кормит». На девять дней, как положено, квартира поминала покойного. Все выпили, закусили и говорили о Никишине только хорошее.

— Ах ты господи! — сокрушалась, всхлипывая тетя Нюся. — Так и не дождался, сердешный, переезда...

А Иона рассудительно возразил:

— Не скажи... Он-то как раз уже переехал...

Спустя не более полугода весь Мадрид стали переселять. Щорс с телегой делал одну ходку за другой, и скоро трущоба опустела в ожидании дальнейшей участи. А участь ее была, можно сказать, отрадная... Описав длинную и долгую кривую, будто объезжая какое-то препятствие, история воротилась на знакомую дорожку. В монастырь вернулись монахи; началась потихоньку реставрация. Насельники, засучив рукава, вместе с наемными рабочими трудились, восстанавливая обитель, жгли на заднем дворе рухлядь, оставшуюся от съехавших нечестивцев.

Теперь уже с балкона новой пятиэтажки Санька в бинокль рассматривал монастырь, и окна их бывшей квартиры, и знакомую тропинку, ведущую на холм. Вот по тропинке пробежал кто-то серой тенью... Санька собирался:

— Mam, я скоро!

Нинка вздохнула:

— Смотри, осторожнее... — и добавила: — Кулек в холодильнике не забудь...

В Надвратной церкви царила разруха, но это была разруха перед созиданием. Чтобы вернуть помещению вид храма, следовало сначала лишить его жилого вида. Двое рабочих перекусывали, сидя на остатках чьего-то

дивана; пол кругом усеян был битым кирпичом и всяким хламом. Вдруг среди этого мусора появилась худая серая кошка. Осторожно лавируя между обломками, она подошла к рабочим и, посмотрев на них с боязливой надеждой, хрипло мякнула. Один из рабочих нахмурился:

— Опять ты здесь! А вот я тебя кирпичом...

Кошка отскочила.

В это время мальчишеский голос позвал:

— Манефа!

Кошка встrepенулась и побежала на зов.

— Эй! — рабочие увидели Саньку. — А ты что здесь делаешь? А ну марш...

— Дяденька, я только кошку покормлю, — взмолился мальчик.

Рабочие удивились:

— Твоя, что ли, кошка?

Санька высыпал Манефе объедки и объяснил:

— Это Манефа... Мы тут жили...

— М-да... — рабочий изучающе посмотрел на Манефу. — А что же вы ее с собой не забрали?

Санька выпрямился:

— А вы разве не знаете, дяденька? Кошки к одному дому привержены — вот беда.

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ

Зной в здешних краях сущее наказание: в жаркие дни мы даем столько сока, что хоть туши нас без масла. Если кому из нас проглотить фитиль, то отличная выйдет свечка — так много сала запасают наши северные угробы. Продлись жара подольше, мы бы распаялись, как чайники: отвалились бы наши руки-поги.

Но Степанова его ноги держали крепко. Мерно бужали по тротуару кирзачи сорок седьмого размера, разве чуть медленнее, чем с утра. Все-таки жаркий выдал-

ся на стройке денек... Жаркий во всех смыслах: сегодня им выдали аванс, а в ближний гастроном как раз завезли кур. В результате не обошлось без скандала. Каждая бригада отрядила по человеку — купить на всех, потому что к вечеру кур уже бы не осталось. Но куры, естественно, оказались разных достоинств — они же не кирпичи, чтоб быть одинаковыми. Поэтому в коллективе не нашлось равнодушных, когда их стали делить. Голые измученные тельца бесконечно перекладывали словно в пасьянсе, надписывая им спины чернилами. Куры к тому времени уже покорились судьбе, чего не скажешь о людях: две штукатурщицы средних лет не удержались-таки от драки. Битва началась в вагончике-бытовке, а когда он стал тесен, противницы вывалились наружу. Они хлестали друг дружку теми самыми курами, которые, по счастью, были уже мертвы и ничего не чувствовали. Рабочие бросились разнимать отчаянных штукатурщиц, но сами чуть не передрались. Пришлось уже Степанову дать несколько затрещин, чтобы всех остудить и вернуть спор в словесное русло. Вся эта суета вместе с жарой утомили Федора, и потому после работы он пошагал напрямик в сторону дома, не слушая шуршания аванса в просторном кармане своих штанов. Его курица с синей надписью на спине «Степанов» совершала последний полет в авоське, утешаясь, возможно, тем, что не уйдет из мира безымянной.

Жил Федор в одном из кварталов шлакоблочных заводских двухэтажек. Они уцелели у нас — городища забытых пятилеток, пышно обвалованные разросшимися ивами и сиреневыми кустами. Эта зелень, а также цветы и грядки в палисадниках, обнесенных симпатичными кладбищенскими оградками, искупали убогость построек. Все заборы, столбы и сарайки были там пизанского происхождения: не стояли прямо, а кивали и кланялись на разные стороны. Местные туземцы тоже нередко кивали и кланялись, особенно возвращаясь

после дня трудов; так когда-то израненные воины, сгибаясь, брели домой, чтобы умереть на родном пороге. Каждый из этих увечных имел собственный неповторимый ход к своему вигваму. Один двигался диагональными точными перебежками от столба к столбу; другой пер напралом, кося крапиву нечувствительными членами; третий, делая шаг в минуту, застывал, уточняя свои координаты, и оглашал окрестности продолжительным ревом, словно паролод в тумане.

Но Степанов был прям и трезв. Его аванс без пересадок прибыл домой в брючном экспрессе. Федору, богатырю и колоссу шлакоблочного царства, пришлось нагнуться только при входе в подъезд. Дом, казалось, дал осадку, приняв его на нижнюю палубу, и весть о степановском прибытии гулко разнеслась по всем восьми квартирам. Жил Федор внизу; кухонное окно, которое он немедленно распахнул, выходило во двор. Жена еще не вернулась с фабрики, но Степанов не стал ее дожидаться, а отправив курицу в зилковский «морг», вынул оттуда же кастрюлю со щами. Когда еще Маша придет и сготовит ужин, а Федору требовалось заморить червячка. Он поставил кастрюлю на подоконник и, пробив в застывшем жире прорубь, начал, стоя, с наслаждением хлебать холодные щи.

За окном, у которого полдничал Степанов, под кривым дубочком врыты были во дворе стол и две лавочки. Это сооружение предназначалось в основном для игры в домино или лото, но в тот ранневечерний час трое мужиков резались на нем в карты. Слышно было, что играли в «секу», известную еще в народе как «трынка». Чернявый жиган в наколках по прозвищу Харжа на пару с каким-то своим приятелем «крутили на бабки» степановского соседа Витюху. Витюха был пьян, это означало, что сегодня он тоже получил аванс, и Федор с усмешкой подумал, что нынче Витюхиной бабе аванса не видать. Неожиданно игроки заспорили: как ни «хо-

рош» был Витюха, но заметил, что его надувают. Разоблаченный Харжа не пытался долго оправдываться, а перегнулся через стол и умелым коротким ударом двинул Витюху по зубам. Бедняга как сидел, так и опрокинулся навзничь, задрав над лавочкой плетеные сандалеты. Дело принимало скверный оборот, и Степанов, вздохнув, отставил кастрюлю. «Что за день такой...» — подумал он со вздохом. Федор утер губы кухонным полотенцем и пошел во двор.

Харжа с приятелем шарили по карманам отключившегося Витюхи.

— Эй! — крикнул им Федор.

Жиганий напарник быстро оценил обстановку.

— Харжа, ноги! — проговорил он и пошел прочь. Но жигану стало запахло удирать. Он сверкнул черными глазами и ощерился.

— Канай, бычара! — захрипел он нарочито, чтобы голос показался страшней. — Канай отсюда — ты ничего не видел!

Степанов был в тапочках.

— Пы-поди-ка... — поманил он Харжу.

Харжа встал и двинулся к Федору.

— Биться хочешь?! — зарычал он угрожающе. — Сейчас ты у меня на «перо» сядешь...

Жиган умел сам себя довести до бешенства: у него даже пенка на губах показалась. Он вытащил из кармана выкидной нож, но... нежданно блатная игрушка подвела: лезвие не вышло. Федор ударил, и чернявая башка прыгнула как мячик, чудом не оторвавшись от Харжиного тела. Степанов разжал кулак и пошевелил пальцами. Харжа валялся у его ног без признаков сознания. Федор взял его за брючный ремень и, вынеся на улицу, бросил в кустах. Вернувшись во двор, он поднял Витюху, отряхнул и рассовал ему по карманам выпавшие деньги.

Отведя Витюху домой, Степанов вернулся к себе, убрал щи в холодильник и достал с шифоньера баян. Все-

гда, когда он бывал не в духе, Федор музицировал; Маша об этом знала и не мешала ему, а только просила закрываться в спальне. К тому же ее выручала профессиональная глухота: работала она ткачихой.

В этот день Маша тоже урвала курицу. Войдя в прихожую, она обессиленно плюхнулась на стул и сразу сбросила босоножки:

– Ну и жарница! – Она помяла руками свои ступни. – Представляешь, у нашей Спириной сегодня был обморок!

Федор отложил баян и мрачно усмехнулся:

– Здесь у двоих ты-тоже... обморок был.

– Что? – не расслышала жена.

– Ничего... Я кы-курицу отхватил.

– И я! – Маша счастливо рассмеялась.

Маша радовалась, что отдыхают ее наболевшие за день подагрические шишечки, что муж дома и что у них теперь целых две курицы. Она умела радоваться по самым незначительным поводам – с такими людьми легко живется, если они не слишком болтливы. За Машей водился этот грешок, к тому же говорила она, как все ткачихи, слишком громко. Но сегодня, увидев Федора с баяном, она оставила на потом все фабричные новости и отправилась пока что на кухню совещаться с курицей об ужине.

Любовь Степанова к музыке, увы, была безответной. Однажды он прочитал объявление, что городок формирует «сборную» по художественной самодеятельности для выступления на районном смотре. Как ни отговаривал его Сергеев, упрямец в назначенное время явился в клуб на пробы. Там сперва отгремел наш ВИА «Кварц», а потом началось заслушивание солистов. Дошла очередь и до Степанова. Он сыграл какое-то вступление со многими очевидно незванными нотами, потом наклонился к микрофону и мощно проревел:

– И где мне взять ты-такую пе-е-есню?!

Реакция в клубе была оглушительной в смысле всеобщего продолжительного хохота. К счастью, наша многотиражка это выступление не комментировала; она обрушилась почему-то на «Кварц», съязвив, что «его игра потрясла стены зала, но не сердца слушателей».

Неудачу они с Сергеевым заливали спиртом. Федор сокрушенно чесал в затылке, сопел и наконец нашел объяснение провалу:

— Эх, не ту я пы-песню приготовил...

— Брось, — возразил Сергеев, — ту, не ту — какая разница? Ты одним пальцем три кнопки нажимаешь... Тебе, Федь, с такими ручищами только в барабан стучать.

Федор обиделся:

— Сы-сам ты барабан... А ежели душа просит?

— Ну... ежели душа... — Сергеев отступился. — Ладно, шут с ней, с музыкой. Ты лучше «соври» что-нибудь.

Сергеев знал, как сменить тему: подобно большинству заик, Степанов любил в подходящей компании побалагурить. Просить его рассказать про какой-нибудь «случай» из жизни обычно дважды не приходилось. Так и на этот раз: Федор задумался, постепенно проясняясь лицом. Машинально при этом он открывал банки с Машинными припасами, отковыривая железные крышки одними пальцами (вот где они были хороши!). Наконец он улыбнулся:

— Хошь, расскажу, как я кы-кофе пить научился?

— Валяй.

— Вот ты га-воришь, я плохо на баяне играю. Зато сам ны-научился — я ведь са-моучка, до всего сам дохожу... погоди, давай сперва вы-вмажем...

Федор влил в себя полстакана «невоженого» спирта и слегка прослезился.

— Так вот, — продолжил он, проморгавшись. — Родом я, ты знаешь, деревенский. Пы-подушкино, такая деревня была... Как паспорт получил, в гы-город подался, в училище. Жили в общежитии с па-цаном одним. Стипу-

ху мы получили пы-первую... Он говорит: «Давай пропьем». А я ему: «Па-годи. Водку мы да-и так сто раз пили. Давай лучше кы-кофе купим, как га-род-ские. Ты его пробовал?» — сы-прашиваю. Он: «Нет». И я ны-нет. Купили пачку, а как его жи-жрать-то? «Давай сварим». — «Ды-давай». Сварили в ка-стрюле, а вода чичерная и во-няет. Мы эту воду сы-слили и опять вскипятили. Опять черная. Несколько ры-разов пришлось кипятить. Потом лы-ложками тую гущу съели... Гы-гадость! С тех пор кы-кофе не люблю.

Сергеев слушал с удовольствием.

— Ну признайся, что соврал, — улыбнулся он.

— Вот те кы-крест!

— Там же на пачке инструкция написана, как пить.

— Да? — удивился Степанов. — А мне ни к чему: я при-вык сы-сам до всего...

Врал он или нет, но этих баек про самого себя имелось у Федора в запасе множество, и в каждой он выходил примерным болваном. «А что, — усмехался он, — меня ребята с детства пы-пеньком прозвали». Впрочем, жил «пенек» не хуже других и в реальной жизни впро-сак попадал редко, если не брал в руки баян.

Однако русскому человеку ни от чего нельзя заре-каться. Если уж ляжет ему особая карта, то никакой природный ум не помешает ему свалить дурака. Степа-нову чернявым валетом выпал Харжа, или «черт безро-гий», как нарекла его в сердцах Маша.

В тот вечер солнце уже почти закатилось, когда се-мейство собралось ужинать. Сын, Петька, смыл улич-ную пыль, причесался и стал похож на человека — чего не сделаешь, чтобы пустили за стол. Федор отложил ба-ян и потянул носом воздух... Есть минуты, когда все высшие звуки и голоса должны умолкнуть, иначе они звучали бы кощунственно. Пусть один лишь призыв ку-риной плоти торжествующе разносится по квартире. «Мужчины, руки мыть!» — вот где настоящая музыка!

В угаре кухонного капища заключается великий союз между женщиной и курицей, и прекрасная птица со слабой предает себя в жертву человеку... Все в сборе. Утвержден на столе графин с мандаринными корками на дне — строгий церемониймейстер. Раззолоченные картошины перешептываются на сковороде, широкой, как дворцовая площадь. Вокруг толпится мелюзга: опята, огурчики, капуста с клюквой. И вот звучит фанфарный скрежет отверзаемой духовки: царица ужина приветствует собрание высоко поднятыми ногами. Нет слов описать ее избыточные формы... Кто признал бы в ней сейчас сутулое создание, что когда-то равнодушно торговало собой в гастрономе?

Итак, они сели за стол. Уже роздано было мирное оружие; уже графин, кланяясь, поделился с двумя лафитниками; уже взрезанное куриное чрево испустило благовонный пар... Как вдруг за окном раздался хриплый голос:

— Эй, Пенек! Выходи, бычара, — побазарим!

Маша и Петька вздрогнули. В страхе они посмотрели на окно, потом на Федора. Его большое лицо сделалось чужим, недомашним:

— Пы-поганец! Знать, не у-нялся... — и голос был чужой, грозный.

Федор встал.

— Федя, чего им от тебя надо?.. Не ходи! — В Машинном вскрике прозвучало столько тревоги, что Петька, скривившись, заплакал:

— Папка, не ходи!

Но Харжа опять захрипел из темноты:

— Пень, ссышь, что ли? Выходи!

Теперь ничто бы не остановило Степанова.

— Сидите ды-дома, я скоро, — велел он Маше с Петькой и — страшный — пошел во двор.

Но жиган караулил его, спрятавшись за подъездной дверью, и, когда Федор выходил, ударил его по голове

топором. Косо сверкнуло лезвие, и Степанов больше услышал, чем почувствовал, как лопнул его череп. Сознание его померкло, но он не упал: огромное тело, покачнувшись, осталось на ногах. В изумлении и ужасе Харжа, вместо того чтобы добить великана, бросил топор и побежал прочь. Несколько мгновений спустя сознание к Федору вернулось; он почувствовал кровь, стекавшую по лицу. Кровь залила уже один глаз, но вторым он увидел убежавшего Харжу и попытался пойти за ним. Он сделал шаг, но земля чуть не ушла из-под его ног. Федор постарался сосредоточиться и собрать свою волю. Наконец у него получилось: широко расставляя ноги, он-таки двинулся вслед за жиганом.

Жил Харжа недалеко, за несколько дворов. Найдя в темном подъезде хлипкую дверь, Степанов не стал стучать, а, надавив плечом, сломал ее и ввалился внутрь. Первое, что он увидел, — себя, отраженного в мутном зеркале в прихожей. Лицо его было залито кровью, а в голове, там, где залысина, зияла большая пузырящаяся трещина. Он шагнул ближе — в трещине виднелась розоватая мякоть. «Мозги», — подумал Федор. Он попробовал сжать трещину рукой, но у него не получилось. Тем временем из затхлых недр жиганьего гнездилища показалась на шум растрепанная Харжина сожительница Любка. Она вытаращилась в испуге.

— Это чё?.. Это чё?.. — заверещала она. — Где Харжа?

— Вот что мне твой Хы-харжа сделал... Па-смотри... — Федор показал ей свою голову.

Любка, отшатнувшись, заголосила:

— Сволочь!.. Его теперь посодют из-за тебя!..

И дверь сломал — кто чинить будет?!

Слушая ее, Степанов начал потихоньку оседать. А Любка все вопила, переходя в плач:

— Ведь у меня детей трое — кто кормить будет?! А-а-а-а...

Тут Федор потерял сознание — уже надолго.

Весть о том, что Харжа зарубил Степанова топором, быстро разнеслась по городку. Слухи скоро облетают наш городок, но часто бывают полны взаимоисключающих подробностей. Одни говорили, что Федор убит; другие — что он лежит в больнице. Кто-то врал, что он превратился в полного идиота и инвалида; кто-то — что обещал найти Харжу хоть под землей и обратно в землю закопать... Кому верить?

Душа Степанова действительно изошла из его широкой груди и долго блуждала. Где она путешествовала — неизвестно, но в итоге вернулась обратно, туда, где ей жилось лучше всего. Душа вернулась, Федор вздохнул и открыл глаза. Ему предстояло многое вспомнить, но в общем и целом его уже можно было забирать из реанимации. Оказавшись в общей палате, он затребовал баян, но ему не разрешили — сказали: «Выздоровеешь — иди в лес и там играй».

Сергеев пришел как-то его навестить. Еще не войдя в палату, он услышал хохот.

— А, зы-здорово! — обрадовался Федор. — А я им тут рассказываю, как кы-кофе пил... помнишь?

Сергеев улыбнулся:

— Ну вот, а мне говорили, ты дураком стал.

— Почему сы-стал? Я сы-здетства ды-дурак...

А спустя полгода Степанов с Харжой встретились в суде. Жиган сидел за загородкой и играл желваками. Судья вызвал Федора на свидетельское место и спросил:

— Потерпевший, что вы можете рассказать о происшествии?

Степанов помялся:

— Да что сказать... Оба вы-виноваты.

— То есть? — не понял судья.

Федор почесал шрам и потупился:

— Ты-товарищ судья, вы его это... па-жалейте... Трое детей — кто кы-кормить будет?

ОБЛОМ

То взвывая, то сбрасывая обороты, нарезая фарами морозную мглу, КУНГ* армейского образца качался и кланялся российским полям. Машина шла курсом на коровники. В холодном коробе кузова, цепляясь руками за что попало, перекатывались, словно два мороженых пельменя, Сергеев с Афанасьевым. К выхлопному чаду, стоявшему в фургоне, стали уже примешиваться запахи силоса и навоза: акробатическое путешествие подходило к концу.

Наконец, тряхнув пассажиров в последний раз, КУНГ остановился у ворот кормоцеха. «Объект» таинственно и тускло светился изнутри; в атмосферу сквозь прорехи сооружения выбивались на разные стороны нечаянные струйки пара.

Из кабины машины на грязный снег бодро соскочил Петухов, заводской уполномоченный по сельскому хозяйству. Он с усилием открыл замерзшую дверь фургона и поманил на улицу своих пленников:

— Давай, вылазь... Околели, небось? Сейчас согреетесь...

Он ввел их под сумрачные своды и, став на краю огромной черной лужи, мерцавшей посреди цеха, принялся выкликать какого-то Лешу.

— Сейчас выйдет, — пообещал Петухов своим спутникам. И точно: вонючий туман, заполнявший помещение, сгустился, и на противоположный берег лужи ступил мужчина в кирзовых сапогах и ватнике. Это был начальник кормоцеха Алексей Иванович. Петухов громко доложил ему о прибытии пополнения и подтолкнул новобранцев к водяному урезу. Леша ничего не ответил. Он выслушал уполномоченного, стоя на своем берегу неестественно прямо, и вдруг, будто памятник, низверг-

* КУНГ — кузов универсальных нормальных габаритов.

нутый с пьедестала, плашмя рухнул в черную жижу. Густая волна пересекла цех и плеснула гнилью Сергееву на ботинки.

— Ух ты... — Петухов едва успел отскочить.

Секунду он изучающе глядел на плавающего начальника и продолжил, обращаясь к своим протеже:

— В общем, сами тут разбирайтесь, мне еще на ферму надо... Леша вам объяснит, как и что, — он кивнул в сторону лужи.

Уполномоченный черкнул что-то в красной папочке и был таков. А Сергеев с Афанасьевым принялись изучать свой участок ответственности на кормовом фронте. Кормоцех представлял собой сквозное помещение с воротами, куда трактор с телегой мог въехать и выехать не разворачиваясь. Транспортер подавал в телегу парящую кормовую массу, приготовлявшуюся в двух котлах, которые также служили местом для спанья двум Андрюшкам — механику и трактористу. Городским же присланным спать не полагалось, они обязаны были нести нелегкую вахту у дробилки — бешеного зубастого барабана, крошившего для котлов мороженую соломку. Сергееву с Афанасьевым полагалось кормить дробилку ее жоревом и успевать выуживать из соломы посторонние предметы — в основном гайки и шплинты почивших в полях комбайнов. Иногда все же гайка попадала на барабан, и он, теряя очередной зуб, но с большим азартом лупил по ней изо всех своих пятнадцати тысяч оборотов. Опасная лапта эта привела к тому, что в пристройке, где стояла дробилка, не было уже ни одного целого окошка, а крыша во многих местах зияла пробоинами. Измельченная солома по рецептуре должна была в котлах соединяться с добавками: солью, витаминами, комбикормом... но увы — встречала там одну лишь соленую воду. Увеличить соломе пищевую ценность не удавалось потому, что все нужное было заблаговременно украдено коренными жителями централь-

ной усадьбы. Запаренную в кипятке солому грузили на тракторную телегу, взвешивали и везли на ближайшую ферму. Там бригадирша, морщась, подписывала Андриюшке накладную, но... несъедобный груз, по обоюдному согласию, ехал снова на весы. Дорогой часть воды из дырявой телеги вытекала, и вес получался меньше; тракторист ехал на следующую ферму... Когда масса в телеге начинала замерзать, ее вываливали в овраг.

Почему коровы в совхозе «Смычка», даже умирая, не хотели жрать пареную солому — отдельный вопрос. Откуда такая завышенная самооценка, если в Европе, по сообщениям ТАСС, коровы ели переработанные старые газеты и притом умудрялись давать много жирного молока? Вообще, коровы доставляли много головной боли советской власти: плохо было у коров и с удоями, и с привесом. А без молока и говядины — известное дело — не то что социализма не построишь, просто ноги протянешь. Проблемой занимались лучшие ученые страны и, скажем прямо, безо всякого успеха. Простая, казалось бы, логика: чем больше у нас поголовье скота, тем больше молока и мяса... Ан нет! Поголовье росло, а прилавки в магазинах все пустели... Постепенно аграрии поняли: что толку в поголовье, если головы эти устроены вместо крутобоких тел на шатких подгибающихся подобиях штативов. Если животное плохо кормить или совсем не кормить, то хрен оно тебе даст молока или говядины. Одно было непонятно: почему вдруг в нашей необъятной стране, где так много «в ней полей», не стало хватать травы для прокорма поголовья? Даже заработавшие по всей стране кормоцехи не спасали положения... И тогда... ученых осенило: да ведь виноваты они сами — подлые коровы: растеряли генофонд, выродились и умеют теперь только переводить народные корма в говно! Обсудили и решили: другой причины быть не может. Тогда все вздохнули с облегчением — стало ясно, что делать: старое, бесполезное по-

голове надо пустить под нож, на костную муку для нового, мясного и удоиногo. Или, что проще, привить нашей выродившейся скотинке утраченные качества путем разумного скрещивания. С кем скрещивать, вопрос не стоял: на скудных европейских лугах паслись те самые коровы, которые добирали к рациону старыми газетами и давали столько молока, что фермерам приходилось сливать его в реки. Мы же в ту пору чуть ли не в реки сливали нефть — обмен напрашивался сам собой: мы им — наше черное золото, они нам — хороших производителей; пусть поработают с нашими буренками — молока-то у нас мало, а газет завались. Однако вопрос встал в другом: кому, в какие хозяйства этих нефтебыков выделять? Но с этой задачей — выделять и распределять — советская власть справляться умела. С учетом каких заслуг и тонких обстоятельств — неизвестно, в наказание за грехи или наоборот, но, между прочими, и наш совхоз получил разрядку на быка.

Это известие, насчет импортного производителя, намного опередило его самого — «Смычка» загудела. Однако если для простого народа это был лишь повод к усиленным пересудам, то для начальства все обстояло куда хуже. Предстояло решить кучу проблем: как развеять флаги и транспаранты, как встретить руководство и иностранную делегацию (думали почему-то, что с быком приедут ихние колхозники по обмену опытом). А как встречать самого быка — где разместить, кого им крыть... Кого крыть валютным быком, был существенный вопрос — его обсуждали на трех совещаниях. Сначала телок рассматривали в паре с доярками, потом поврозь, но, как ни рядили, ничего не выходило: телки в большинстве плохо держались на ногах, многие доярки тоже, и все не имели представительского вида; о том же, чтобы доярка смогла как следует произнести приветственную речь, и мечтать не приходилось. И тогда кому-

то в голову пришла гениальная идея: телку взять из личного подворья зоотехника Василь Васильича, а дояркой пусть выступит его жена Аида Егоровна (по прозвищу Иуда), работавшая совхозным бухгалтером. Телка звалась Красавой и полностью соответствовала своему имени: рослая, тучная, со звездой во лбу, норовистая, как кобыла. Она едва ли нуждалась в улучшении своей породы, зато очень годилась для представительства. Аида Егоровна была ей под стать — кто-то пошутил, что ее бы надо крыть первой, но потом, подумав, сам себе возразил: для нее, дескать, и так в правлении быков хватает...

Между тем, несмотря на переполох, «Смычка» продолжала жить обычной жизнью. Каждое утро тряский КУНГ подвозил Сергеева с товарищем к воротам кормоцеха. Немного оттаяв в его влажном тепле, заводчане расталкивали Андрюшек, дрыхнувших на котлах, и отыскивали Алексея Иваныча, чтобы тот нажал пусковую кнопку. После долгих понуканий крестьяне с ворчанием запускали котлы и дробилку, а сами откупоривали очередную «бомбу» бормотухи и садились играть в карты. Стол, на котором они играли, выпивали и закусывали и на который по временам роняли свои буйны головы, покрыт был слоем вещества, похожего на асфальт. Сергеев, ковыряя ножиком, находил в «асфальте» рыбные кости, бутылочные пробки и разную другую дрянь, спрессованную временем и локтями совхозных тружеников... Постепенно весь коровий бухенвальд оживал: оглушительно треща, проезжали трактора — в сторону неблизкого магазина; сновали женщины с деловитыми лицами и с папочками под мышкой: бригадирши, учетчицы, весовщицы... Вообще все местные жители, за редким исключением, состояли при должности, а на черных работах и там, где нечего было украсть, Сергееву все больше попадались знакомые физиономии горожан — как и он, невольников, присланных сюда тоже по разнарядке, но, в отличие от быка, не на племя.

Дневная жизнь сельчан протекала в сплетнях, мелких сварах и обычных заботах: воровстве, пьянстве, заполнении липовых накладных и проставлении условных значков в учетные журналы. Заводские, под присмотром уполномоченного Петухова, давали какие-то нормы, орудя вилами и лопатами, но они радовались уже тому, что эта их совхозная повинность имеет свой срок. А вот кому каторга присуждена была бессрочная, так это тому самому несчастному поголовью — бедным коровкам, с голодухи не имевшим порой сил облизать рожденных ими телят, рожденных непонятно зачем...

Тем временем на встречу с совхозными горемыками ехало совсем другое животное — ухоженное, упитанное, знающее себе цену. Правда, бык не знал, куда его везут, — он думал, что на очередную выставку, потому что на бойню ему, как производителю, не полагалось. Он неспешно жевал качественный комбикорм (никаких газет!), аккуратно испражнялся и вспоминал родную Фламандию. Здешние дороги его раздражали: трейлер подпрыгивал, заставляя пассажира перебирать ногами; бык недовольно крутил головой и мычал... Звали его Кариф фон Циринаппель, по национальности он был бельгиец.

А «Смычка» готовилась, и готовилась с размахом... Хотя, узнав, что иностранных делегаций не будет, все вздохнули с облегчением, все равно для собственного употребления развешаны были флаги и кумачовые лозунги; убрали только оркестр да плакат, призывавший к ядерному разоружению... Начальство приехало на трех «Волгах» и, коротая время, выпивало в правлении, в кабинете директора, поглядывая во двор на топтавшийся на морозе местный народец. Главным был Отрощенко, инструктор обкома по сельскому хозяйству; деятели районного звена глядели ему в рот. Директор «Смычки» Пал Палыч Тришкин и допущенный парторг Зюзин нарезали начальству колбаску... Наконец

вдалеке показалась машина: мощный иностранный тягач, разметая белую пыль, влек по заснеженной дороге расписную фуру с драгоценным грузом. Бархатно рыча, «вольво» круто развернулся на площади перед управлением.

— Пошли, — нехотя приказал Отрощенко.

Дожевывая, начальство гурьбой подалось на площадь.

Вся центральная усадьба, стар и млад, собралась поглазеть на чудо. Подойти к машине боялись: кто знает, что выкинет чужеземная зверюга. Вперед вышли опытные скотники, плечистые братья Бобковы, с толстыми веревками на изготовку... Но тут из кабины тягача прыгнул шофер в оранжевой курточке; приветственно помахав сельчанам рукой, он дернул какой-то рычажок, и задняя стенка трейлера, откинувшись, мягко опустилась на землю. Шофер взбежал по ней как по трапу и через минуту вышел из фуры с производителем, ведя его на поводке, будто болонку. Зрители онемели; даже Отрощенко изумленно поднял брови.

— А где же... бык? — пробормотал Тришкин.

Рогатый бельгиец не доставал двуногому до плеча!

Отрощенко нахмурился.

— Это что за еб твою мать? — строго спросил он у своего помощника.

— Все правильно, Георгий Кузьмич, — молочная порода... — извиняющимся тоном пояснил очкастый помощник.

— А... молочная... — Отрощенко успокоился.

В толпе между тем начались ропот и смешки:

— Ну и ну! У меня козел больше еного быка...

— А мы ему Красаву приготовили... Он же ей до шахны не достанет!

Народ веселился все больше — надо было брать ситуацию под контроль.

— Тихо вы!.. Разговорчики! — крикнул Пал Палыч. — Пора бы знать: порода молочная, ему рост ни к чему... У него вся сила в этом... в другом совсем.

— Да... — смеясь, согласились в толпе, — только что яйца у него великие!

— Ну, то-то...

Далее полагалась речь. Краснощекая псевдодоярка Аида, вручив шустрому бельгийскому шоферу хлеб-соль, подошла к начальству. Осенив Отрощенко густо накрашенными ресницами, она повернулась к народу. Инструктор, выпятив нижнюю губу, уставился на ее тугие икры в ладных сапогах: несмотря на мороз, Аида была в капроне.

— Давай, Иуда, ври скорей про спасибо партии, а то замерзли! — крикнул кто-то в толпе.

— Кто это там?.. — Парторг Зюзин тревожно вытянул шею. — А, пьяные... — И покосился на начальство.

Речь Аида сказала хорошо: звонко, привставая на цыпочки и оттопыривая напоказ свой и без того высокий зад.

На этом, собственно, торжественная часть закончилась. «Вольво», посигналив на прощание и изящно буксанув, укатил, теряя по дороге пацанов, цеплявшихся за его хвост. Начальство подалось в столовую на банкет, прихватив с собой Аиду Егоровну. Мужу ее, Вась Васичу, доверили доставить продрогшего производителя в приготовленное стойло. Завистливо проводив глазами удаляющуюся задницу супруги, он вздохнул и обернулся к быку.

— Как хоть его зовут?.. — пробормотал зоотехник, разворачивая документы. — Ишь, медалей — как у генсека... Кариф фон... бля, не пойму... Цири... попель какой-то.

Стоявший рядом Колька Бобков засмеялся:

— Цирипопик!

Так быка и прозвали — Цирипопиком. К Карифу в совхозе отнеслись пренебрежительно, несмотря на

медали и бельгийское происхождение, — за малый рост и необычайный нор. Только Зина Босомыкина, комсорг молкомлекса, приставленная за ним ухаживать, любила иностранца; Зина звала его Кариком за карие глаза. Бык тоже к ней привязался; если б не их дружба с русской скотницей, неизвестно, как бы он переносил свалившиеся на него тяготы быта в дикой северной стране. Зина грудью отстояла у односельчан красивые мешки с импортным комбикормом, приехавшие вместе с Карифом, но они, увы, закончились. Тогда она, смея сказать, стала воровать ему комбикорм из крольчатника, а еще, словно для поросенка, выпрашивала объедки в столовой. Мыла она его хоть и без шампуня, но тщательно и с любовью — Кариф умел это оценить.

Однако время шло; бельгиец проедался в «Смычке», а к делу так и не приступали. Кариф понимал, что пригласили и везли его в такую даль не за карие глаза. Он был здоров, могучие тестикулы лопались от первогоклассного семени, а местные разгильдяи будто о нем позабыли. Но о производителе не забыли, просто он еще не знал, как у нас долго делаются дела... В конце концов у них с Красавой состоялись смотрины. Блатную телку поместили в соседнее стойло, отделенное невысокой перегородкой, через которую животные могли познакомиться. Если Цирипопик вызвал у наших насмешку своими малыми размерами, то Красава, напротив, восхитила быка своей статью: ему, профессиональному ебарю, такие великолепные партнерши еще не попадались. Все в ней будило желание: рост, формы, даже белая звездочка во лбу... что уж говорить про запах — природный запах плоти, не оскверненный ни парфюмерией, ни слишком частым мытьем. Зина, стыдясь, наблюдала, как развивается этот международный роман; он был ей не слишком приятен. Со стороны девушка видела, как «ведут» ее друга уловки рогатой кокетки, а обольщала Красава мастерски: то делала вид, будто

Карифа не замечает, то задирала верхнюю губу и фыркала, якобы от волнения.

Во дворе фермы тем временем начались приготовления. Для бельгийца строили помост наподобие эшафота, чтобы он мог в нужный момент дотянуться до Красавиной вульвы. Подмости сколачивали на широкой площадке, словно специально, чтобы все желающие могли поглазеть, — предстоявшее таинство превращалось в аттракцион для населения центральной усадьбы.

В назначенный час вокруг «лобного места» теснилось множество зевак; даже Сергеев с Афанасьевым не сдержали вахты и, побросав вилы, пришли из кормоцеха полюбопытствовать. Картина впечатляла: скотники осаживали народ; перед помостом похаживал плотник Гордеев с топором за поясом; всклокоченный Вась Васич бегал на ферму и обратно, сообщая что-то Пал Палычу, стоявшему недвижно в бурках и каракулевой шапке... Наконец вывели Красаву: она мотала головой, мычала и пыталась лягаться. В толпе зашушукались: «Ишь, дурь играет... Откормила Иуда за совхозный счет...» Как несчастная телка ни пыталась сопротивляться, ее привязали к помосту, рога расчалили веревками — Красаве оставалось только страдальчески косить глазами на бесстыдную публику. Карифа вывела Зина. Сколь ни привычен был бельгиец к общественному вниманию, но публично совокупляться ему раньше не приходилось. Он застеснялся и, быстро-быстро замахав ушами, подался было назад. В толпе засвистели. Зина, сама розовая от смущения, все же уговорила Карика взойти на помост... «Какая дикость! — думал бык. — Устроили из работы цирк...» Но вот его ноздри уловили манящий знакомый аромат: «О-о... Какая, однако, прелесть... какой цветок...» Зина подвела Карифа, стараясь сама не глядеть на Красавин срам... И тут, неожиданно для окружающих, фон Циринаппель коротко взревел и, оттолкнув девушку, взгромоздился на беззащитную Краса-

ву. «Ай да Цирипопик! — пронеслось между восхищенными зрителями. — Сам, без уговоров!..» Из телочьего горла вырвался продолжительный стон — Фламандия торжествовала! Однако... о ужас! Гордеевский помост внезапно затрепал, зашатался и обвалился на глазах остолбеневшего народа... Кариф рухнул и, барахтаясь в обломках досок, кричал, пытаясь встать на ноги... Красава, оборвав путы, побежала; по ногам ее текла кровь... Зина рыдала, закрыв лицо руками...

Катастрофа была в том, что, падая, Циринаппель сломал себе член. Производитель, стоивший в валюте больше, чем весь наш несчастный совхоз, сделался ни на что не пригоден. Такой беды в «Смычке» не случилось со дня ее основания. Всякое бывало: растраты, неурожаи... трактора топили в пруду по пьяни... однажды смерч повалил несколько сараев и доску почета — но подобного никто не мог припомнить. Ну пусть бы ногу себе сломал, пусть бы две, так нет же... такое уж, видно, наше везение. Народ судачил, пытаясь отыскать исторические примеры, но ничего не выходило. Один только случай и вспомнили — это когда ветеринар Кукушкин, напившись, вышел во двор поссать, да упал и зашнуровал штаны, а конец-то в штаны не убрал и отморозил.

Тришкин запил, в правлении не показывался; все ждали, что его вот-вот снимут, и гадали, кого назначат на его место. Гордеев стал героем — его жалели, везде угощали вином и сочувственно наставляли, как вести себя в тюрьме. Старики утешали: «Не горюй, Генка, везде русские люди живут. Матвеич, дык, на зоне грамоту выгучил...» Генка встряхивал чубатой головой: «А, ништо мне! Хорошие плотники везде нужны». Но время шло, а никого не снимали и не арестовывали. Исстрадавшийся Пал Палыч решил сдаваться сам... Придя в правление, он закрылся в своем кабинете и долго сидел, собираясь с духом; тщетно пытался он найти слова самооправдания: неотвратимый конец карьеры видел

ся ему в ужасных подробностях. «Будь что будет!» — решил он наконец и в гибельном кураже потянулся к телефону.

Звонил он в райком, заму по сельскому хозяйству Яровому. Голос его дрожал:

— Сан Саныч, это Тришкин...

— А... здорово, Палыч! — узнал Яровой. — Ты куда это пропал, почему не был на конференции? Запил, что ли? Смотри, на ковер пойдешь...

— Я... нет... — залепетал Тришкин. — Сан Саныч, у меня бык...

— Не слышу... какой бык? Чего ты там блеешь?!

— Бык импортный... ну этот, производитель, чтоб ему... упал и хуй себе сломал... Я не виноват, Сан Саныч, — они недомерка нам подсунули!

— Что сломал?.. — несколько секунд до Ярового доходило, после чего трубка разразилась скрежетом: Сан Саныч хохотал.

— Ну уморил! Ну Тришкин!.. Всем расскажу... — немного успокоившись, он хитро спросил: — А что, Палыч, небось, уже сухари засушил? Ладно, не трусь... Я вам всем говорю: ездить надо на конференции — тогда бы знали, мудаки, текущий момент... Эти быки у всех уже сдохли, а у тебя только хуй сломал... ха-ха, ну, не могу!.. С быками, брат, покончено, теперь у нас на свиноводство упор, понял? То-то... Ну давай там, пей рассол и ко мне: получишь инструкции и письмо ЦК.

Пал Палыч вытер пот. Посидев с минуту, он достал из сейфа бутылку, сделал из горлышка несколько больших глотков и позвал секретаршу:

— Ната... — голос еще не слушался. — Наташка!!

В дверях показалось испуганное лицо.

— Заходи, не бойся... чего уставилась? Найди мне Зюзина, это раз... Погоди... Теперь с этим, мать его... — Он внезапно налился гневом. — Короче, быка бельгийского зарезать и в столовую! Поняла?

Секретарша исчезла. Пал Палыч прошелся по кабинету, с удовольствием ощущая, как «забирает» его водка.

— Вот оно что! — сказал он вслух. — Сдохли! Стал быть, слабо им наших трахать... Ну и хрен с ними, а мы проживем еще.

ЯБЛИНА

Бело-голубой ЛиАЗ с притороченным сзади запасным скатом был одним из полдюжины наших городских «скотовозов». Железный трудяга, хоть и не имел присущих теплокровным вредных привычек, болел, однако, множеством профессиональных автобусных болезней. Причиной их были возраст и ужасные наши дороги. Его изношенная гидроавтоматическая трансмиссия почти не преобразовывала натужное гудение мотора во вращение колес. Часто на подъемах (особенно том, крутом, называемом «Козьей горкой») пассажирам приходилось вылезать и плестись за ним подобно похоронной процессии, вспоминая прибаутку про цыган и «студебеккер»*. Водитель Сергей Иваныч, сам уже ветеран ПАХа**, страдавший астмой и геморроем, радовался всякий раз, когда им удавалось без приключений добраться до конечной остановки. Все время короткого отстоя Сергей Иваныч копался в сопящих и лязгающих внутренностях автобуса, кашляя и шепча матерные заклинания. Мотор он не глушил всю смену из опасения, что машина больше не заведется. Хуже всего водителю приходилось зимой: по пять раз на дню у ЛиАЗа замерзал пневмокран, из-за чего «скотовоз» заваливался набок, будто кляча, собравшаяся околеть. Дороги тоже не давали скучать: в те годы, чтобы проехать по на-

* «Цыгане шумною толпой толкали в гору «студебеккер»».

** ПАХ — пассажирское автохозяйство.

шим улицам, требовался опытный лоцман. Ям было очень много, и располагались они с изощренным коварством, маскируясь под невинные лужицы. Однажды, отъезжая от остановки, Сергей Иванович «зевнул», и автобус угодил задним правым колесом в глубокий свежий провал. Машину швырнуло вправо, и кондукторша Любовь Петровна, сидевшая на своем возвышении, вывалилась наружу вместе с окошком.

В тот раз Любовь Петровна не пострадала, но Сергею Ивановичу досталось крепко на орехи. Неудивительно, ведь тетя Люба была подлинным командиром экипажа и главным человеком на борту. Кто капитан на корабле, становилось ясно при первых раскатах ее голоса, покрывавших и шум мотора, и гомон пассажиров. Свежевтиснувшиеся «необилеченные» граждане вытягивали шеи, пытаясь увидеть, откуда извергаются эти вулканические громы. Грудь и весь телесный тети-Любин состав соответствовали могучему голосу. Легко, будто пшеничные колосья, раздвигала Петровна теснящихся пассажиров, делая просеку в их непроходимой, казалось бы, чащобе.

— Плотим за проезд! — нечеловечески гремело над головами, и граждане, обрывая на себе пуговицы, лезли в карманы за пяточками.

И не дай бог зазеваться:

— А ну, плотим!! Чего рожу отворотил?

Трон ее, в виде особого сиденья, возвышался справа перед задней дверью. Занимать его не смел никто, даже наглые по беременности молодые бабы. «Обилетив», то есть даровав новым подданным автобусное гражданство, тетя Люба водружалась на свой престол, поглощая его без остатка царственным телом. Бюст ее и низлежащие части плотно облежала «куфайка» прочней носорожьей шкуры, ноги ниже колен заправлены были в два ведра. Еще раз окинув пяточковое стадо строгим взором, кондукторша благословляла напарника кивком:

— Трогай!

Глаза Сергея Иваныча в далеком кабинном зеркале готовно мигали. Бормотание мотора переходило в вой, с автобусными дверьми делались судороги. ЛиАЗ уже отплывал от остановки, булькая выхлопом, как речное судно, а пассажиры все пинали упрямые створки. Наконец, устав сопротивляться, те со злобным шипением схлопывались. Тяжко переваливаясь и западая колесами в дорожные ямы, наш автобус продолжал свой нелегкий маршрут.

Есть расхожее представление, будто водитель и кондукторша должны быть непременно мужем и женой. Но Сергей Иваныч был женат на диспетчерше Светлане Семеновне, а Любовь Петровна жила одна с двумя взрослыми дочерьми. Тем не менее по работе, несмотря на тети-Любин крутой характер, они не конфликтовали, дружно давали план и в ПАХе числились на хорошем счету. Имея такого кондуктора, Иваныч мог совершенно укрыться от мира в своей кабине и думать только о геморрое и текущем карбюраторе. Зато после вечерней смены он на пустом ЛиАЗе всегда по-товарищески подвозил тетю Любу до дома.

Автобус, пыхтя в тесноте двора, с трудом разворачивался, облизывая языками фар изнутри спящие жилища, и уползал в гараж на отдых и еженощную починку. Однажды, проснувшись от его вздохов и бормотания, Сергеев отогнул занавеску и увидел, с каким трудом даются Петровне последние метры до подъезда. Думая, что ее никто не видит, она шла медленно и даже позволяла себе прихрамывать на правую ногу. В руках тетя Люба несла две сумки с харчами, которых дожидалось ее семейство: Маринка с Ленкой и младенец Вовик. Вовика неожиданно для всех родила недавно Маринка, дав младшей, еще не «залетавшей» сеструхе постоянный повод для насмешек. Она сама совершенно не помнила, кто и при каких обстоятельствах ей «вдул», и ждала, когда Вовик подрастет, чтобы выяснить, на кого он будет похож. Одно Сер-

геев предполагал уверенно — что случилось это в темноте, потому что обе тети-Любины дочери были редкие страшилы. Петровна, в отличие от Маринки, точно знала, чьими порождениями они были: одно время она сожительствовала с неким мужичком, имени которого Сергеев не помнил. Потом, правда, мужичок исчез — соседки говорили, сбежал от побоев.

Так и жило бабье семейство, время от времени оглашая пятиэтажку шумными сварами по всяким важным и неважным поводам. Петровна еще имела силу, чтобы одержать верх над своими исчадиями, но часто после трудных побед впадала в меланхолию и тогда наутро, если была не в рейсе, шла в гастроном за «Анапой». Спасительный напиток, в зависимости от завоза, имел то красноватый, то буроватый оттенок, но всегда хорошо утолял душевную боль. Однако Петровне мало было достать вина — оно лишь отворяет душу, а на кого ее излить? В будень, да еще поутру, где найти страдающему понимания и сочувствия? Положим, одну бутылку тетя Люба осушала у себя дома, в компании бессмысленно мемекающего Вовика. Но потом, когда уже наворачивалась в глаз первая слеза, — потом ей требовался собеседник посерьезней. Бабки-пенсионерки и молодухи-декретницы — единственные, кого можно было застать днем без дела, в собеседницы не годились: они не пили, и вообще Петровна презирала их «куриное» общество. На ее счастье (и на его беду!), у соседа ее, Сергеева, был в цехе скользящий график. Раз в месяц, а то и чаще, обстоятельства выстраивались в роковом совпадении: тети-Любина меланхолия приходилась на сергеевский выходной.

Бум-бум-бум! Она стучала в дверь ногой, потому что руки у нее были заняты. Бум-бум-бум!

- Открывай, Сергеев, чего притих! Это я, Петровна!
- Сергеев озирался в поисках штанов и орал в ответ:
- Иду, иду! Не ломай дверь!

Он впускал ее со вздохом. Если на одной руке у тети Любы сидел неумытый Вовик, а в другой между пальцами зажаты были два «флакона», если она приперлась без тапок, в одних чулках, то что это могло означать? Думать нечего: Петровна опять в печали, а у него опять погорело свободное утро.

— Твоей-то нету? — осведомлялась соседка. — На работе? Ну и хорошо... Подержи ребенка, пойду поссу...

Сергеев с тревогой провожал ее глазами. Однажды она упала у него в уборной и обрушила висячую полку.

Петровна без церемоний располагалась на кухне и до краев наполняла выставленные Сергеевым стаканы:

— Ничего не говори... Давай сразу.

Вслед за ней он молча покорно выпивал. Они трясли головами и нюхали шоколадные конфеты. Проходила минута. Наконец Петровна с горькой усмешкой спрашивала:

— Слыхал концерт сегодня ночью?

— Угу... — кивал Сергеев.

— Проститутки, в гроб меня вгонят! Что одна, что другая...

Он закуривал.

— Наплюй ты на них. Пусть живут своим умом.

— Своим — чего? Вот это они только и могут своим умом! — Она подбрасывала коленом сопливого Вовика.

Выпивали еще по стакану. Тетя Люба опять умолкла, рассматривая свои вытянутые под столом ножищи с шишковатыми ступнями.

— Дай-ка папиросу...

Она мощно затягивалась. Большое пористое лицо ее краснело все сильнее, из глаз, почему-то на нос, выкатывались слезы. Минут пять, пока тлела сигарета, Петровна беззвучно рыдала, потом оглушительно вымаркивалась в Вовкин слюнявчик, давила в пепельнице окурок и наливала по новой. Внезапно взгляд ее прояснялся.

– А правда, ну их в жопу! Давай, сосед, за все хорошее...

Разговор переходил на другие темы. Пока владела языком, Петровна жаловалась то на полетевшую вчера полуось, то на козла-механика, то на колонновское начальство, которому она на собрании «все как есть выскажет». (Сергеев в это время прислушивался к ворчанию «Анапы» в своем животе.) Тетя Люба крыла «гребаные» дороги, бракованные «запчасти» и... советскую власть, которая развела весь этот бардак. Постепенно ругань ее становилась все более непечатной и безадресной. Вовик, теряя терпение, начинал скулить и выгибаться у нее в руках. Но тут, видимо рассчитав время, за ним приходила мамаша. Поздоровавшись без улыбки, Маринка топала напрямик на кухню (она никогда не улыбалась, будучи не накрашена, хотя и макияж мало добавлял ей очарования). При виде Петровны дочь кривилась:

– У-у... Опять нажралась! Не видишь – ребенок у тебя усрался!

Тетя Люба поднимала на нее взгляд, полный пьяного презрения:

– Он не у меня усрался, а у тебя – ты его наебала! Не плачь, Вовик... мамка твоя – проститутка! И вторая блядь растет... Шалашовки! Я вам еще устрою танец с саблями!!

Она начинала опасно гневаться, и Сергеев старался ее успокоить:

– Хорош, Петровна, не то ты мне все тут перебеешь...

Поколебавшись, тетя Люба смирилась:

– Ладно, ради тебя... Один ты человек... Ну-ка, помоги мне...

Далее следовала долгая «депортация», трудная, как постановка в док подбитого линкора. А Сергееву предстояли еще два тяжелых разговора: один с унитазом, другой с женой, когда она вернется с работы.

И все-таки, несмотря на все издержки, они с Петровной продолжали приятельствовать. Однажды во время очередных посиделок, на той стадии, когда тетя Люба, покончив с запчастями, принялась, как обычно, хулить советскую власть, Сергеев перебил ее неожиданным вопросом:

– Послушай, Петровна, за что ты так ее не любишь – советскую власть? Ругаешь ее, как напьешься, а ведь она тебя вырастила. Сама же рассказывала, что ты из детдома.

Петровна пресеклась, будто даже отрезвев, и внимательно посмотрела на Сергеева. Тот улыбался.

– Дай папиросу...

Она задумалась.

– Рассказать тебе? Ладно, расскажу. Ты болтать не станешь... а хоть и болтай, насрать, теперь не страшно, – она затынулась. – Во-первых, я не Любка.

Сергеев удивился:

– А кто же ты?

– Яблина.

– Кто?!

– Яблина. Ты не смейся, это имя такое, польское.

Меня в детдоме переименовали.

– Зачем?

– Затем... Мой отец был шпион.

– Польский, что ли? – Сергеев опять не сдержал улыбки.

– Так они говорили... Но я тебе правду скажу: ни хрена он был не шпион!

– Не пойму я тебя: то шпион, то не шпион...

– Не верю я, понял? Мы тоже кое-что соображаем! Польша ведь наша страна – такие же коммунисты правят. На хрена ж нам друг у друга шпионить?

– Но ведь тогда Польша не была...

– Была, не была... – перебила Петровна. – Я постарше тебя, а ты этого не коснулся. Тогда план спускали,

как у нас в автобусном, столько-то народу шлепнуть к такому-то числу. Вот его и шлепнули...

«Яблина» подавила всхлип и сжала кулак:

— А меня они, суки, спросили?! Может, я в семье хотела жить, а не в детдоме!

И все-таки она разрыдалась.

Плача и сморкаясь, Петровна не заметила, как вошла ее дочь.

— ..? — Маринка вопросительно посмотрела на Сергеева.

Он пожал плечами.

— Ну ладно, ма... Хватит тебе, пошли домой... — Маринка взяла Петровну за плечо.

Но тетю Любу было не унять — она обхватила дочь за широкий зад и, уткнувшись лицом ей в живот, продолжала реветь.

БЕЗОТЦОВЩИНА

«В том году ниспослано было Провидением Божиим наказание — эпидемическая болезнь холера. По исчислению многих, эта болезнь в иных селениях поражала от девяти десятого, и не столько старых и слабых, сколько крепких и сильных. Так малая простуда или стакан выпитой холодной воды в жар, или босою ногою ступить на холодную росу, производили холеру...»

Пожелтевшие листки монастырской летописи покоились в витрине краеведческого музея. Витрина стояла у стены, Сергеев стоял у витрины... А в центре зала шумело собрание, не имевшее отношения к краеведению: разнополые, разновозрастные граждане, жужжа возбужденными голосами, с жаром что-то учреждали. Они тревожили музейные своды восклицаниями типа: «Соберем всех мыслящих людей городка!..» или «Не отдадим культуру на поправление!..» Мыслящие граждане за-

рделись от энтузиазма; активисты наделяли остальных эмблемами какой-то новой партии. Некоторых из «тусовки» Сергеев узнавал в лицо; его тоже узнавали:

— Привет, Сергеев! Как хорошо, что ты с нами! Возьми эмблему...

— Нет, нет... спасибо... — Он стал протискиваться к выходу. — Я здесь по другому делу...

Он вышел на улицу. Во дворе музея припаркованы были два ржавых велосипеда и один «москвич». Затянувшись свежим осенним воздухом и чуть постояв, Сергеев не спеша двинулся вниз по аллейке, ведущей от монастыря. Древесную листву, пассеруемую закатным солнцем, лениво пошевеливал ветерок — чтобы не пригорала. Россыпь городских домиков под холмом подернулась золотистой дымкой; многие, словно надев пенсне, поблескивали окнами. Общий покой нарушали только грачные вопли: который уже день птицы хлопотали и суетились, готовясь в эмиграцию; собравшись большими стаями на деревьях, они истерически гаддели и бомбили прохожих слизью своих тревожных опорожнений.

Навстречу Сергееву, разметая опавшую листву и пыхтя, торопливо поднимался молодой человек в коротковатом плащике. Это был Вадик Кочуев.

— Привет, Сергеев! — издавек поздоровался Вадик. — Ты из музея? Наши собрались уже?

— Ваши? — Сергеев усмехнулся.

— Наши, наши... Уф! — Вадик, не останавливаясь, сунул ему руку и пробежал, обдав его запахом пота и одеколона.

— Поспеш! — крикнул Сергеев ему вслед. — Без тебя там кворум неполный...

Кочуев, без сомнения, входил в число наших «мыслящих людей». Но попасть в их среду и в ней утвердиться ему помог случай. Как-то, еще в советские времена, зашел он в столовский буфет в поисках пива и встретил там Юрика Арзуманяна, дизайнера и потомка армян-

ских аристократов. Вообще-то Юрик работал художником-оформителем у нас на заводе, и, поскольку приближались ноябрьские праздники, он всю неделю перед тем рисовал и подновлял плакаты. За свой ударный труд Арзуманян получил премию — пятьдесят рублей и теперь сидел и пропивал ее в гордом одиночестве. Однако, увидев Вадика, он решил развлечь себя беседой.

— Алло, Кочуев! — обратился он в своей несколько надменной манере. — Садись со мной, будем водку пить.

Простоватый Вадик, слегка робевший дизайнера и уважавший его за знание многих иностранных слов, послушно сел. Водка делала Арзуманяна снисходительнее и несколько уравнивала молодых людей в статусе: они хорошо, как товарищи, посидели и были выдворены из буфета по его закрытии. Предусмотрительно захватив с собой бутылку, они продолжили дружбу в каком-то подъезде, откуда их тоже выставили, но более грубо. В результате, оставшись без приюта, они уже поздней ночью побрели по безлюдному проспекту Красной Армии. В силу тщедушного сложения обоих приятелей развезло, особенно армянского потомка. Падал мокрый снег. Главная улица городка была украшена к предстоящим торжествам... Арзуманян цитировал плакаты собственного изготовления и сатанински хохотал. «Антихрист торжествует!!» — орал он в темные окна. То и дело он оступался, попадая ногой на конец размотавшегося шарфа. У Вадика у самого одна штанина обмерзла в блявотине, но соображал он получше товарища и пытался его урезонить. Наконец он взмолился:

— Тише, Юрик... Заберут же, как пить дать!

Арзуманян отстранился. Гневно и презрительно он уставился на Кочуева, а потом неожиданно метко плюнул ему на пальто.

— Смерр-дяка! — отчеканил аристократ. — Запорю!

В эту минуту на проспекте показался милицкий «уазик»; он медленно ехал, шупая тьму фарами. Пьяные

струсили и, спотыкаясь, побежали прятаться к деревянной трибуне. Когда грозная «канарейка» проехала, они вылезли и проплясали ей вслед что-то вроде канкана.

— Улетай, туча! — хохоча, пропел Вадик.

Юрик полез на трибуну держать речь, но он уже совсем «прокис»: язык не слушался, слюни, вытекая изо рта, висли на воротнике. Он еле спустился с трибуны и обнял Кочуева, чтобы не упасть. Наконец они оба повалились на землю; сил подняться уже не было... Диссиденты заползли под трибуну и уснули, прижавшись друг к другу и дрожа.

Утром их, совсем окоченевших, вытащил милицкий наряд. По-хорошему, им следовало дать пинка и отправить по домам, но Арзумян неожиданно взбунтовался.

— Опричники! — закричал он. — Да здравствует Учредительное собрание!

— Вот оно что... — Старшина почесал под фуражкой. — Ладно, будет вам собрание... Поехали к дяде Толе.

Капитан Самофалов, в просторечии дядя Толя Самосвал, пользовался в городке большим авторитетом. Никто у нас не имел такой толстой шеи и таких громадных кулаков — один кукиш его был размером с детскую головку. Самосвал не отличался веселым нравом, но никому бы и на ум не пришло с ним шутить: когда проходил он тяжким шагом по улице, даже собаки поджимали хвосты и разбегались по дворам; казалось, само солнце пряталось от греха за тучку... Встретиться с дядей Толей глазами — и то было опасно: прямой взгляд он мог принять за вызов, и тогда глазастому приходилось плохо.

— Поди-ка сюда... — манил его Самосвал толстым пальцем.

— Ну чего?.. Чего я сделал? — начинал канючить несчастный.

— Ты чего это на меня смотришь... герой?

— Я на вас?.. Я нечаянно... — лепетал «герой» в надежде улизнуть.

— Поговори еще... — Самосвал качал в себе гнев, медленно соображая, к чему бы придрататься. — Умный, что ли, очень?

— Что вы, дядь Толь, какой я умный, вы ж меня знаете...

— Угу... всех я вас знаю... А то давай протокол составим?

Жертва ежилась от нехорошего предчувствия:

— За что?.. Дядь Толь, не надо...

— Ну, смотри...

Казалось, Самосвал смилостивился, и птичка порывалась улететь...

— Нет, постой... Все-таки составим... — И дядя Толя бил неблагонадежного в ухо — вполсилы, но так, что тот делал, чтобы не упасть, четыре шага в сторону. Это и называлось у Самосвала «составить протокол».

На Арзуманяна с Кочуевым он составил на каждого по полновесному «протоколу», а потом, взяв обоих за шкурки, самолично отволок в КПЗ, где они и провели праздничный день седьмого ноября. Чтобы заключенные не повесились в камере, у них вынули шнурки из ботинок и ремни, а заодно и содержимое карманов. Но они нашли какой-то камушек и им начертали на стене узилища несколько бранных слов в адрес советской власти и персонально капитана Самофалова.

На волю Вадик вышел того же дня вечером, но уже закаленным противником режима: у него появился новый товарищ, который открыл ему глаза на многое... Прямо из заточения, трясясь от неизбытой абстиненции, они явились к Кочуеву домой в надежде найти нужное им лекарство у Вероники, Вадиковой мамыши. Вероника была добрая женщина; она помазала кремом их синяки и, сбегав к соседке, заняла у нее спирта.

В результате Юрий остался у них ночевать — в эту ночь, и в следующую, и так далее... Ночевал он в одной кровати с Вероникой, на несколько месяцев сделавшись, как ни смешно это звучит, для Вадика чем-то вроде «папы». Настоящий его отец помер давным-давно, выпив по оплошке чего-то «не того». Потом у Вероники был еще один муж, но и тот где-то сгинул, правда, заживо. Словом, была она женщина хоть простая, но, что называется, со сложной судьбой. Даже подруги ее удивлялись: «Чтой-то, Вероника, к твоему берегу то говно прибьет, то палку?» Впрочем, свойство это — притягивать такие предметы — совсем не редкое у наших женщин... Конечно, замуж за Арзуманяна она не помышляла, хотя стала регулярно брить ноги и купила в дом еще одни тапочки, рассудив, что они пригодятся во всяком случае.

Однако речь наша не о Веронике, а об ее сыне Вадике. Сделавшись условно «усыновленным» хотя бы и ровесником своим Юриком, он и впрямь возымел к нему почти сыновние чувства. Арзуманян же, не отвергнув этих чувств (хотя отчасти, быть может, развлекаясь), занялся его воспитанием. Заметив, что пасынок его тянется к культуре, особенно в ее вербальных проявлениях, он щедро делился с ним собственным немалым багажом. Это позволило Вадике уже вскорости щеголять перед Вероникой и проходящими к ней товарками многими новыми словами и выражениями. Некоторые «триады» (то есть тирады) он не стеснялся заучивать за Юриком наизусть. Частенько, правда, слова по пути от ушей Вадика к его языку получали повреждения и выходили уродцами: появлялись «дрездоранты», «трифидельки» и «метродутели» с ударением на «ду». Но лиха беда начало... Арзуманян ввел его в интересный круг наших «мыслящих людей», которых в те времена несвободы объединяла общая нелюбовь к капитану Самофалову. Именно в этом кругу, на кухнях, когда

на верандах, смотря по погоде, прошел Вадик свои университеты. Спустя некоторое время он мог уже свободно рассуждать о баптизме, босохождении, парапсихологии, еврейском вопросе и многом другом. Главной же темой их разговоров была, конечно, «действительность», то есть место и время, в котором их угораздило родиться и, страдая, жить. Мыслители находили действительность ужасной и мечтали о переменах.

Не секрет, что культурно развитому человеку нелегко живется в маленьком провинциальном городке. Вадик сменил работу, потом еще и еще, но нигде не находилось дела под стать его умственным запросам. В итоге, окончив двухмесячные курсы, он устроился фотографом в Дом быта — все-таки не слесарь и не лаковар. Однако по причине, вероятно, его неприязни к нашим обывателям из-под руки его вместо человеческих лиц выходили порой такие рожи, что их пугались даже в паспортном столе. На личном фронте у Кочуева тоже не клеилось. Женский вопрос, который перед ним естественным образом ставила природа, он еще как-то решал, но создать семью не получалось, несмотря на Вероникины понукания. Девушки в городке были глупы и неначитанны, интересы имели сугубо мещанские. Правда, и в «мыслящем» кругу попадались женские особи, но внешность у них была такая, что они могли без опасений сниматься у Вадика. Возможно, он проявлял излишнюю разборчивость и, как часто случается с разборчивыми женихами, в результате пошлым образом «залетел». Ленка, Вероника подружка, оказавшись в тягости, открылась кочуевской мамаше, и, посоветовавшись, женщины решили аборт не делать, а «окольцевать» бедного Вадика. Что и было ими проделано при безвольном сопротивлении незадачливого сластолюбца. В новой для себя роли отца семейства Кочуев проявился с самой дурной

стороны: из всех мужских обязанностей он усвоил только одну — лупить Ленку за дело и без дела. Она хотя и давала успешно ему сдачи, бегала тем не менее жаловаться к Веронике: «Опять меня всю исцарапал, посмотри, — как я на работе покажусь?» Вероника ма-зала ее зеленой и философски утешала: «Ну где ж ему было научиться бить по-настоящему? Сама знаешь — безотцовщина...» Ленка сокрушалась: «Хоть бы, гад, деньги давал или спал со мной хоть по праздникам... Тут поневоле заблядуешь!» Но Вероника не соглашалась: «Грех тебе жаловаться, — возражала она, — ты поживи бобылкой, как я, — тогда узнаешь, каково это...» — «Да я уж нажилась...» — кручинилась исцарапанная Ленка, и бабенки проливали по нескольку слезинок.

За этой бытовухой, за деторождением, за посиделками под портвейн, культурными и не очень, за ежедневным добыванием и проеданием насущного куска шло время. А время, между прочим, несло перемены, которых домогались наши мыслители. Капитан Самофалов состарился и вышел на пенсию; он редко показывался в городке, а все больше сидел в своем садике и слушал, как с деревьев падают яблоки, — ему казалось, что кто-то кидает камни через забор. Проспект Красной Армии переименовали в проспект Демократии и хотели ликвидировать в городке все памятники советским вождям, однако обнаружилось, что общественность опередили сдатчики цветмета и первыми покончили с наследием прошлого. Других пунктов в программе мыслящей общественности не оказалось; к тому же везде, где она пыталась о себе заявить, всякий раз получала по соплям, только уже не от Самофалова, а от каких-то новых мордovorотов с цепями на шеях. Один лишь Арзуманян преуспел в новой жизни: он завел торговую палатку на нашем рынке и разъезжал на иномарке, купленной на деньги своих армян-

ских родственников. Он думать забыл о Вадике с Вероникой, и Кочуев давно износил его тапки.

Отставные наши мыслители, вновь укрепившись в отрицании действительности, развлекались участием в каких-то общественных объединениях, благо теперь им в этом никто не препятствовал. Местом своих сходок они полюбили назначать почему-то наш краеведческий музей. Однако и здесь у них назревал конфликт, только уже не с властями и не с «крутыми» в цепях, а с монастырем, пожелавшим вернуть себе помещение, но, похоже, и этот соперник был общественности не по зубам...

Вот, кстати, в монастыре зазвонили... Сергеев спустился с холма. Встрепенулся ветерок, решив, как видно, впервые за целый день прибраться в переулках: помел в канавы опавшую листву и обертки от жвачек. Проходя мимо глухого облупившегося забора, Сергеев вытянул шею и, обнаружив в саду хозяина, поприветствовал:

– Здравствуйте, дядя Толя!

– Здоров... – хмуро ответил Самофалов.

Старый мент стоял под деревом в телогрейке и синих галифе, задумчиво вертя в руке яблоко. Яблоко это только что стукнуло его по темечку, но не породило в голове никаких теорий. Самофалов лишь констатировал, что яблоко червивое и незрелое. «А хорошо бы гусеницу отгеть выковырнуть, а его обратно на ветку посадить...» – пробормотал он, но, усмехнувшись собственной глупости, отшвырнул яблоко прочь.

Сергеев тем временем шел уже дальше и через пару переулков встретил Веронику с коляской. За руку она вела старшего внука. Сергеев поздоровался и с ней:

– Как дела?

– Да какие мои дела... – Она поддала коляску. – Вот мои дела.

– А Ленка где?

— А... — Вероника неопределенно махнула рукой. — Шляется где-то. А Вадька на какое-то собрание побежал...

— Я его видел...

Вероника чуть помолчала и с чувством сказала:

— Главное — что? При живых родителях — и опять безотцовщина растет, вот что мне обидно...

ПРО ЛЮБОВЬ

Всякая лошадь по мере приближения к дому ускоряет шаг. Даже старый мерин Щорс, возвращаясь к себе на нефтебазу, гнал, что твой орловский рысак. Он предвкушал покой в конюшенном сумраке, припахивавшем керосином, и то особое дремотное полузабытье, сладостное для потрудившейся лошади.

Но надо заметить, что и время при известных обстоятельствах ведет себя сходным образом. Едва заklubится вдалеке кладбищенская роща, тучкой севшая на пригорок, его уже не унять. Почувяв кладбище, окаянное время прямо-таки переходит на рысь, словно спешит в свое заветное стойло.

Для Кузоватова, чем старше он делался, тем быстрее мелькали годы-версты — так, что некогда стало привыкать к их порядковым номерам. Дни укоротились настолько, что он не успевал заводить часы. Эта заводка часов превратилась в почти что непрерывный процесс — неудивительно, что головка его «победы» полысела подобно собственной голове Василь Трофимыча. Циферблат часов с допотопными «лупастыми» цифрами порыжел и пошел мелкими трещинами, гравировка на задней крышке стерлась, так же как стерлись наколотые синим буквы «В-А-С-Я» на кузоватовских конопатых пальцах.

«Победу» эту подарила ему жена в честь первого года их совместной жизни. Вася, помнится, пожурил ее

за безрассудно потраченные хозяйственные деньги, а потом, разобрав на крышке гравировку, рассмеялся. «В. Т. Кузоватову от любящей жены». — «Эх ты, балда! Так только на венках пишут». Жена тогда надулась, сказала: «Не нравится — выбрось!» Но вот уже пять лет, как она в могиле, а часы все ходят. И надпись на венке не она ему, а он ей заказывал... Такие дела.

Тщетно пытаясь ухватить корявой подагрической щепотью скользкую головку, Кузоватов каждое утро давал себе слово снести часы в починку. Но известно, как делаются дела у стариков: то пенсию задержали, то на улице скользко, то в боку закололо. Проходил месяц за месяцем, а он все собирался. Однако бывают в году такие дни, когда кто-то свыше посылает старикам команду встать со своих лежанок и заняться делом. Это хорошо заметно на автобусных остановках: ни с того ни с сего высыпают деды с бабками, сидят рядами на лавочках — вдруг занудобилось им всем куда-то ехать. Куда же? А вот, к Маше — давно у нее не была... А другая — в церковь... А третья — на рынок... А тот «перец» с клюшкой за грибами собрался — дойти бы ему до лесу...

В такой-то день — майский, погожий — решил наконец и Кузоватов исполнить свое намерение. Надел он пиджак с медалью, взял выходную палку с инкрустацией и отправился в поход. «Победа» путешествовала в ремонт на руке Василь Трофимыча, но в кармане его на всякий случай лежала от нее коробочка с пожелтевшей инструкцией и заводской гарантией, закончившейся сорок пять лет назад. Несмотря на то что Кузоватов твердо решил не отступать и не ворочаться домой, не наладив часов, его не отпускали сомнения. «Не ровён час, что-нибудь испортят халтурщики... Или ничего не сделают, а только денег сдерут...» Но он сам себя ободрял: «Пусть попробуют! Проверю досконально, и если что не так, до начальства доберусь. Кузоватова в городке знают... найду на них управу!»

К Дому быта Василь Трофимыч дошаркал в довольно воинственном состоянии духа. Войдя в холл, он долго оглядывался, потом, стуча палкой, двинулся вдоль стен, читая все объявления. Какой-то молодой человек в синем халате спросил его:

– Дедуля, что вы хотели?

Старик неприязненно на него посмотрел:

– Какое такое «хотели»? И теперь еще хочу... Часы где тут чинят?

Молодой человек ткнул пальцем в окошко с крупной надписью: «Ремонт часов». «И как я сразу не увидел?» – подосадовал Кузоватов. Он подошел к окошку и заглянул внутрь. Сквозь стекло он разглядел обрамленную седыми кудрями плешь часовщика, сосредоточенно ловившего пинцетом что-то невидимое на залитом светом столике. Простояв с минуту и не дождавшись, чтобы мастер поднял голову, Василь Трофимыч покашлял. Эффекта это не дало. Тогда он постучал по стеклу пальцем. Часовщик, не отрываясь от своего занятия, про бурчал:

– Там звонок есть.

Тут только Кузоватов заметил сбоку от окошка кнопку звонка и надпись: «Вызов мастера». Он почти со злобой нажал на кнопку, и в камерке у «часового» раздался прихотливый сигнал в виде соловьиной трели. Он-то и возымел нужное действие: голова за стеклом поднялась, и вместо лысины Кузоватов увидел обращенное к нему лицо с лупой в глазу.

– А что, милок, так не видать меня было? – раздраженно начал Василь Трофимыч, но часовщик неожиданно его перебил:

– Кого я вижу... Трофимыч! Спрашивается, что ты молчишь?

Приглядевшись, и Кузоватов признал мастера – это был Иосиф Урбах.

– Надо же! Ёська! Сколько лет...

Ёська сделался само радушие:

— Чего же ты там стоишь? Давай заходи, в моем офисе есть стул.

Кузоватов отыскал дверь, толкнул ее — и оказался как бы по ту сторону границы. Теперь он уже был не простым посетителем, а приятелем мастера со всеми вытекающими привилегиями.

— Вот уж не думал, что ты еще работаешь, — радовался он, входя. — Думал, ты давно или помер, или в Израиль уехал...

— Ты прав, — Урбах усмехнулся. — Теперь все хорошие часовые непременно либо там, либо там... Но ты меня слишком рано хоронишь.

Живой и очень толстый, он сидел на хлипком вращающемся стульчике, все время страдальчески скулившем и взвизгивавшем под его грандиозным задом. В «офисе» было тесно и пахло Урбахом. Повсюду недружно шелкали разнообразные часы, и каждые вели свой собственный счет времени. На полках словно пойманные блохи, накрытые стеклянными колпачками, лежали микроскопические часовые детальюшки. Ёську в определенном, видимо, строгом порядке окружали натканные в специальных гнездах и ровно разложенные крошечные молоточки, отверточки и всякие другие инструментики. Было непонятно, как этот громоздкий человек управляется с такой мелочью. Казалось, чихни он посильнее — и все тут разлетится так, что не соберешь вовеки.

Трофимыч пристроил в углу свою палку и сел на свободный табурет. Урбах накрыл своих блох на столе колпачком; стул его с болезненным криком сделал пол-оборота:

— Ну, рассказывай... У тебя, я понимаю, сюда важное дело?

— Да, брат, беда... Головка у меня стерлась.

— Головка, говоришь?.. — Ёська ухмыльнулся. — Это имеет объяснение в нашем возрасте... Ну, давай, что ты принес.

Кузоватов протянул ему свою «победу».

— О да! — Урбах уважительно взял часы двумя пальцами. — Это механизм. В один прекрасный день за такую «победу» отец меня... добрая ему память.

Он вытащил из часов ремешок:

— Что это?.. «В. Т. Кузоватову...» Именные?

— Ты читай... Видишь: «...от любящей жены». Даша подарила, на нашу первую годовщину.

— Я извиняюсь, у тебя тут все салом заросло. Ты их когда-нибудь чистил?.. Кстати, как твоя Даша?

— Даша-то? Шестой год как схоронил...

— Что ты говоришь! — Урбах сокрушенно покачал головой. — Это невысказано...

— Рак, что ты хочешь...

— У нас совершенно погубили всю экологию... Мира будет потрясена...

— Не спросил... Что там она? Не болеет?

— Смешной вопрос! Как может Мира не болеть, дай Бог ей долгих лет... — Урбах усмехнулся: — Я скажу тебе другую вещь. У нас с ней одна болезнь на двоих.

— Это как? — не понял Кузоватов.

— Наша дочь. Она уже пять лет живет в Америке и вышла замуж за пидораса.

— Постой... У нее же был муж.

— Этого Гошу она там бросила. Он со своим дипломом сторожит кегельбан и шлет нам письма. Он хочет вернуться, когда накопит на дорогу.

— А нового ты за что ругаешь?

— Почему ругаю? Я сообщаю тебе факт: у них пидорас уважаемый человек и называется «гей».

— Гей?

— Ну да, гей.

— Пидорас?

— Ну да, что я тебе толкую!

Кузоватов почесал лысину:

— Тогда я не понял... Зачем пидорасу жена?

— Мы с Мирой тоже задавали такой вопрос... Может быть, с ней надо ходить на приемы? Ведь он адвокат и живет в Голливуде, где снимают кино.

— Адвокат?

— Ну да, адвокат. Дочь пишет, там полно этих геев и им нужны адвокаты. В Америке без адвоката, я извиняюсь, никто покакать не ходит.

Урбах в продолжение разговора успел разобрать часы:

— Знаешь, им надо задать хорошую профилактику.

— Кому?.. — рассеянно переспросил Кузоватов. — А, да, конечно... — Он думал о другом: — Странно, Ёся... Ты говоришь, как будто это нормально.

— Что? Ты о пидорасе? У них это нормально. В Америке даже есть такой закон, я знаю, чтобы принимать на работу одного гомосека, одного негра, ну и там... женщину.

— А еврея?

— Нет, евреи как все идут, — Урбах хмыкнул. — Если не пидорасы, конечно.

Старики замолчали. Иосиф погрузился в работу; при этом он не мог не сопеть, но соблюдал осторожность, чтобы не сдуть чего-нибудь со стола. Его толстые пальцы действовали аккуратно и точно. Кузоватов наблюдал за ним с одобрением. Он и сам всегда любил порядок в каждом деле. Бывало, соберется починить, например, настольную лампу, так обязательно прежде примет рюмку, чтобы рука стала тверже. Газетку подстелит, инструмент приготовит, кошку выгонит, чтобы на стол не прыгнула. Жену тоже выставит в другую комнату: Даша, царство ей небесное, никогда не могла удержаться от советов. «Шибко умная была», — Трофимыч ей так и говорил. Кузоватов вздохнул... Что толку от этих советов. Дочь она тоже всю жизнь на ум наставляла, а что вышло?

Трофимыч расстегнул ворот:

— Душновато у тебя...

Урбах не ответил, занятый делом.

— А у меня, брат, тоже... дочь.

— М-м?

— Дура бестолковая... Твоя хоть с адвокатом живет, а моя... не пойми с кем — с Колькой Барботкиным.

— Может быть, у них любовь?

— Любовь, это точно. Втюхалась в этого пьяницу... подштанники его драные стирает.

— Любовь — это главное. Это вам не с геем по контракту жить.

— Как так — по контракту?

— Ты меня спрашиваешь? Мы с Мирой прожили тридцать лет безо всяких контрактов... Дочь пишет, он обязуется ее содержать и тому подобное. Я не знаю, но родители у них в этом контракте не значатся. От Гоши мы получили две посылки, а от нее только открытки: Фрида под пальмой со своим пидорасом на фоне «кадиллака»... Фрида в бассейне... Фрида на фушетте...

— Бывает... — посочувствовал Кузоватов. — Моя тоже не больно...

— Это у нас бывает, а у них так заведено! — Урбах разволновался, стул под ним рыдал. — Очень прекрасно, не надо родителей. Раз так, пусть себе сдохнут и тому подобное. Но вы мне скажите, что они сделали с любовью? Любовь к контракту не подколешь, или я не прав? Я тебе отвечу на твой вопрос: любовь они победили вместе с другими болезнями и поэтому живут так долго.

— Эх ты разошелся, — Трофимыч усмехнулся. — Смотри, со стола смахнешь...

Но Иосиф отложил работу и повернулся к нему:

— Нет, ты слушай сюда... Скоро техника заменит человека, об этом пишут в газетах. Машины будут делать машины и так далее. Скотину выведут такую, чтобы сама себя пасла, я знаю, сама казнила и сама разделывала. Что, спрашивается, останется человеку? Он будет пи-

сать инструкции и контракты. Как ты себе думаешь? На свете останутся одни юристы, адвокаты и пидорасы... благодать! Господь Саваоф сойдет на землю и попросит вид на жительство. И они с ним тоже заключат, между прочим, контракт... И при чем здесь любовь, про которую ты спрашиваешь?

— Да я ничего... — Кузоватов был несколько озадачен. — Я не против... Ты сам завел про это дело. Моя дура тоже все: «любовь», «любовь»... А я ей говорю: любовь-то любовь, а расписаться надо. Хоть на алименты, случай чего, подашь... Хотя, конечно, без любви тоже нельзя: подштанники простирнуть юриста не попросишь.

В эту минуту в окошко мастерской просунулась голова клиента. Это был Сергеев:

— Привет, аксакалы!.. Иосиф Григорич, как там моя «сейка»?

Урбах пошарил в ящике:

— На...

— Жить будет?

— Будет... хотя, я извиняюсь, но это не часы, а говно. Вот посмотри: абсолютно нельзя сравнивать... «Победа»! От любящей жены.

ТРАВКИН

Шесть часов. Январское утро.

Но утро это только для тех, кто встает по будильнику: в природе еще глубокая ночь. Собаки нимало не выдохлись — их оргии в разгаре. Рыкающие, взвизгивающие стаи — ветер в ушах — проносятся, ломая кусты, пугают дворничих, и те замахиваются вслед лопатами. Собаки на бегу кусают снег и чужие холки, их брюхи и морды звенят сосульками, хвосты закладываются, отработывают в крутых поворотах.

Январское утро. Мороз. От фонарей в небо уходят стрелками голубые лучи. Дворничихи скребут у подъездов лопатами, и звуки эти — как вздохи астматика. Где-то далеко, а кажется — рядом, забормотал автобус — первый — он, конечно, пуст. И пусты улицы: только дворничихи и безумные собаки. Псиный запах — единственная пряность в дистиллированном воздухе.

Но вот скрипнула калитка (дом номер восемь по улице Котовского). Из калитки выехал и прислонился к забору велосипед пензенского завода. Машина стара, это видно даже в свете фонаря: заднее крыло глядит набок, как собачий хвост, колеса неодинаковы и спорят, в каком из них больше спиц. Велосипед этот служит явно не для прогулок: руль его, облупленный и пошедший старческими пятнами, прихотливо выгнут хозяином для удобства каждодневной езды.

Хрустнула цепь, снег стрельнул под шиной, тренькнул на кочке звонок, утробно звякнул подсумок, притороченный к седлу. Пензорожденный бицикл отправился в путь. Седло его не слишком отягощал сухой зад Максима Тарасыча Бурденки, нашего городского невропатолога. За спиной Максима Тарасыча висел рюкзачок, правая штанина зашпиlena была прищепкой, а голову, несмотря на мороз, прикрывала лишь кепочка с ушами. Путь предстоял неблизкий — на другой конец городка, в Мадрид. Пока они ехали, на улицах стали уже появляться первые прохожие — утренние страдальцы, бегущие по снежному первотропу. Скукоженные, несчастные, они тем не менее, завидев велосипед, почти все глухо здоровались из своих воротников:

— Здравсь, Макс Трсс...

Наш Мадрид, в отличие от одноименного испанского города, пострадавшего от итало-германских бомбежек, продолжал смотреться руиной. В далеком двадцать девятом году власти разгромили монастырь, приспособив остатки под жилье для приезжих проле-

тариев. «Приспособив» — громко сказано: просто «рассадник мракобесия» превратился в клоповый рассадник. С тех пор много керосина сгорело в мадридских примусах. Пролетарии получили в большинстве нормальное жилье, но почему-то Мадрид оставался все так же полон. Жизнь в монастырских развалинах продолжалась, ползучая и неугасимая, как торфяной пожар.

Но в то раннее утро лишь два-три тускло светящихся окошка выдавали присутствие в Мадриде жизни. Да еще мерин Щорс стоял у одного из подъездов, запряженный в телегу с керосиновой бочкой. Морда его была седа от инея, а под задними копытами ароматно парила свежая куча собачьего деликатеса. Щорс кивнул Максиму Тарасычу и фыркнул, покосившись на велосамашину. Подъезды в Мадриде не освещались отродясь, но Бурденко и во тьме привычно перешагнул сломанную ступень деревянной лестницы. Он поднялся на второй этаж и тихонько поскребся в драную дерматиную дверную обивку. Дверь тут же отворилась: его ждали.

— Это я, — шепотом сообщил Бурденко.

— Здравствуйте, Максим Тарасович! Как хорошо... Проходите, пожалуйста, — тоже шепотом ответили ему.

Коммуналка еще спала, только в конце коридора дверная щель прочерчивалась полосой света. Туда и прокрался Бурденко в сопровождении мелко шаркающей фигуры. В лучах электричества фигура оказалась старушкой в кофте и заштопанной шали.

— Здрасьте, Олимпиада Иванна, — Максим Тарасыч снял свою кепку.

— Не слишком раздевайтесь, прошу вас, у нас очень холодно. — Старушка приняла у него головной убор.

— Что вы, не беспокойтесь, я морозоустойчивый.

— Липа... Липа! — раздался дребезжащий голос из глубины комнаты. Там за ширмой стояла кровать. — Липа, налей доктору чаю.

— Ах, ну конечно! — Старушка засуетилась. — Надеюсь, Максим Тарасович, вы согласитесь пить из термоса? Не хотелось бы тревожить соседей...

— Что вы, Олимпиада Иванна, зачем вы спрашиваете! Мы с вами всегда пьем из термоса.

— Ах, извините, я забыла. Вот что возраст делает с людьми.

Приятная беседа строилась на несходстве взглядов их на чай из термоса. Олимпиада Ивановна строго судила свой чай, Максим же Тарасыч находил его замечательным.

— Ах, простите, ваша чашка не цела. Позвольте, я налью в другую.

— Что вы, не беспокойтесь, я уже выпил.

За ширмой лежал супруг Олимпиады Ивановны, Петр Александрович Лурье. С ним полгода назад случился апоплексический удар, и Бурденко приходил делать ему массаж и пользоваться травами. В целебных травах наш невропатолог считался большим докой, он даже прозвище получил от горожан — Травкин.

Напившись горячего чаю и заалев ушами, Травкин, не слишком мешкая, приступил к больному. Петр Александрович уже несколько оправился от удара: к нему вернулись речь и способность ходить в подкладное судно. Однако один глаз его и вооружение по правому борту почти бездействовали. Правая рука умела лишь устроить погром на тумбочке да с невероятной скоростью отращивать ногти. Тем не менее старик уже пытался вернуться к любимому своему занятию, игре по переписке в шахматы, и снова стал интересоваться вопросами текущей политики.

Надо сказать, Лурье не всегда жили в Мадриде. Лучшие свои годы (этих лет было пять) они прожили в большой квартире, в первой и единственной нашей довоенной пятиэтажке. В тридцатые годы инженер Лурье участвовал в строительстве химзавода, а потом на-

значен был главным конструктором. Завод начал давать продукцию, и все шло хорошо. Но однажды из леса прямо в цех, со страшным звоном выбив стекло, влетел огромный глухарь и умер. Суеверные рабочие из крестьян сочли это дурным знамением — и оказались правы. Спустя короткое время Петра Александровича забрали в НКВД, это был тридцать девятый год. Арестовали тогда не одного его, а почти все руководство завода, чем безусловно здорово ухудшили производственные показатели. Лурье объявили (надо полагать, из-за фамилии) французским шпионом. Московский следователь смеялся до слез, читая его собственноручное признание в том, что завербовали его господи Золя и Бальзак. Смешливый чекист, однако, держал его двое суток стоймя, добываясь подробностей, и больше года томил в лубянской камере. Потом все переменялось: пришел Берия и посадил того чекиста, а Лурье, наоборот, со смехом выпустили «по амнистии», хотя его никто и не судил.

Тем временем супруга шпиона Липа на законных основаниях также была подвергнута некоторому гонению. Впрочем, с ней поступили великодушно, приняв во внимание ее беременность. Ее всего лишь переселили из квартиры сюда, в мадридский клоповник, где она вскорости и разрешилась мертвой девочкой. Из всех тогда арестованных лишь один Лурье вернулся на завод, зато с великой верой в торжество справедливости. Конечно, многие перестали с ним здороваться, конечно, об инженерской должности мечтать ему теперь не приходилось, зато какого монтера получил РМЦ — грамотного и непьющего. На войну Петр Александрович ушел ополченцем, но и там судьба была к нему милостива. Демобилизовавшись после нескольких ранений, он вернулся в цех и с годами дослужился до начальника техбюро, в каковой должности, переработав лишних пять лет, вышел на пенсию. В жизни своей он жалел

лишь об одном — о том, что не сумел восстановиться в партии. Но ничто не мешало ему придерживаться твердых партийных взглядов. Однажды, будучи членом международного заочного клуба шахматистов, он отказался играть с датским полицейским. Лурье прочитал в «Известиях» о разгоне в Копенгагене рабочей демонстрации и предпочел шахматное поражение поражению в принципах.

Максим Тарасыч не знал биографии Петра Александровича, но ощущал глубокое благородство, исходившее от старика. Он искренне надеялся поднять его на ноги посредством своих знахарских отваров. К тому же ему нравилось заезжать сюда до начала приема и кушать чай с Олимпиадой Ивановной. Собственные его родители тоже любили беседовать за чаем, но они умерли почти одновременно лет десять тому назад на Украине.

Коммуналка между тем начинала пробуждаться. В комнате стариков чувствовалось, как она будто подергивается, отходя от ночного наркоза. Очнувшись, квартира приступала к исполнению утренней части своей ежедневной симфонии. Партии вступали одна за другой: барабаны торопливых пяток, носовые горны, кастрюльные литавры. Все шло в аккомпанемент несогласному с ранья матерному речитативу.

Максим Тарасыч вздохнул:

— Мне пора...

Он достал из рюкзака пакетики с травами:

— Вот... Три раза в день. Только не забудьте дать настояться. А это для клизмы.

Совершив церемонию прощания, Бурденко вышел от стариков. Пробираясь к выходу захламленным коридором, он столкнулся с бабой в халате.

— Ой! — заулыбалась баба. — Здрасьте, Максим Тарасыч!

— Здрасьте... Как здоровье? Отвар пьете?

– Отвар-то? М-м... А как же!

– Ну, молодца.

На улице было еще темно. Щорс уже ушел на маршрут, оставив по себе пирамидку остывших яблок да яму в снегу, прорытую терпеливым копытом. Железный его сочлен по профсоюзу вострепнулся, завидев хозяина. Пора было и им продолжить путь.

Наша поликлиника, где принимал Максим Тарасыч, возводилась изначально как общежитие для молодых медиков. Власти замахнулись тогда отгрохать чуть ли не лечебный центр, но средств хватило лишь на это здание с балконами, совсем небольничной архитектуры. Сюда упили всех, включая лабораторию кала и мочи, которая никак не могла удержать свои ароматы в пробирках. Бурденко делил кабинет с «ухогорлоносом» по фамилии Ялда, мужчиной довольно грубым. В этом Ялде, вероятно, скрывался садист: он так глубоко засовывал пациентам в рот шпатели, что они давились и выпучивали глаза, а гайморитчиков всех заставлял носом пить соленую воду. В отличие от него Максим Тарасыч был с больными ласков, говорил тихо и пристально заглядывал им в лица, словно был не невропатолог, а психиатр. Впрочем, и больными-то многих из них называть было нельзя. Часто другие специалисты, не найдя «патологии» у очередного ипохондрика, посылали его к Бурденко. Втайне они считали его шарлатаном, но народ любил у него лечиться, и очередь к нему не иссякала. Единственным лекарством, которое он признавал, были травы. Их он сам и его шестеро детей собирали все лето, сушили и раскладывали по пакетикам.

В тот день все шло как обычно. Он принял одну бабушку с трясушкой головы и рук, трех прыщавых пареньков (за справками — куда-то поступать), Варвару Кураеву (благодарила яйцами за прошлое лечение), Гусева-шофера (нога «отымается»). Он принимал, а очередь прибывала.

Гусев-шофер, выйдя из кабинета, на лестнице застал курящим своего приятеля Зайцева.

— Кого я вижу! Здоров, Заяц.

В ответ Заяц мрачно усмехнулся:

— Какой, на хер, здоров — вчерась так прихватило...

А ты чего тут делаешь?

— Да вот, к Травкину ходил. Нога у меня.

— Ну и чего он?

— Чего, чего... Травок надавал. Выйду — выкину.

Заяц нахмурился:

— Ты это... слышь, Гусь, только здесь не бросай. Он их потом из урны вытаскивает.

— Ладно. Вообще-то он мужик нормальный.

— Я и говорю... А ты попей травки-то — может, помогут.

— Ну их на хер, сама пройдет. Он еще говорит, курить бросай.

— Правильно, ёбть! А как бросишь при такой жизни...

Сам Максим Тарасыч не курил и не пил, но не из одних только гигиенических соображений. Шестеро ребяташек — тоже весомая причина для воздержания. Он принимал, если случалось, благодарственные приношения и никогда не отказывался перекусить, бывая на вызовах. Замечали многие, что, приходя в дома, Бурденко не разувается, но мало кто догадывался, что виной тому не бескультурье, а дырявые носки. Как-то в бане, попивая принесенный Травкиным целебный отвар, Сергеев спросил его сочувственно:

— Скажи, Тарасыч, как это тебя угораздило столько детей настрогать?

— Да Бог его знает... — Травкин невольно покосился на свои смуглые чресла, несоразмерные худым ляжкам. — Наверное, порода такая. Нас самих двенадцать детей было, только померли уси в голод. Слышал, голод на Украине був? Ось и я недомэрок...

— Что это ты по-холяцки заговорил? Слыхал. Но ты небось лучше бы жил, если б не эта твоя... порода.

— Лучше? — Тарасыч пальцем вынул из глаза слезинку. — Лучше — это как? Считаешь, я неправильно живу?

Сергеев, смутившись, отвел глаза.

— Нет... не то... Извини, я глупость сказал.

МУХА

Автобус подобрал Уткина посреди бескрайнего поля. Никаких остановок, разумеется, не было предусмотрено в зеленой пустыне, но водитель сделал то, чего никогда бы не сделал в городе. На чистых пространствах природы действуют другие правила человеческих отношений. Так, огромное судно прерывает свой почти планетарный ход, чтобы выудить из океана неизвестную мокрую личность, и тысячи его пассажиров радуются спасенному, как родному.

Разогнавшийся в поле до неестественной и даже неприличной для себя скорости, старый автобус долго судорожно тормозил. Промахнув лишних метров полтора, он остановился. Захрустели внутри, торопливо подбираясь, шестеренки, и — о чудо! — с третьей попытки нашлась задняя передача. Они встретились на полдороге — виляющий задом автобус и счастливый, запыхавшийся Уткин с бьющимся о бок этюдником.

— Спасибо!

Он цвел так радостно, что толстая кондукторша тоже ответила снисходительной ухмылкой. Уткин нашел в далеком зеркальце глаза водителя и благодарно закивал. Автобус тронулся, и художник, загремев этюдником, повалился на сиденье. Пассажиры окидывали его и его желтоватый ящик благожелательными взорами. Они выглядели удовлетворенными, будто сами были причастны к свершившемуся акту милосердия. Запла-

тив за проезд и оставив билет кондукторше, Уткин почувствовал себя причисленным к морскому братству.

Ржавая посуда ретиво ковыляла по зеленым волнам, позлащаемым вечерним солнцем. Там и сям на ворсистом пространстве полей темнели островки кудрявых кущиц, отороченные цветочным прибором. Эти островки отбегали далеко, но не теряли из виду материнского лесного берега, клубившегося на горизонте подобно облачному фронту. Весь день Уткин провел в сладостном труде вместе с пчелами. Одежда его была покрыта цветочной пылью, этюдник и душа полны нектара. Блаженная улыбка, неукротимая, как собачья зевота, разводила ему губы, и он, чтобы скрыть ее, отворачивался к окну.

Зеленая равнина впереди не доходила до горизонта. Она встречалась с небом слишком близко — край ее прятал под собой широкую низину, в которой угнездились городок. Вот над кромкой поля показался отчетливый полосатый столбик и стал расти; следом высунулся второй, третий... Это были заводские трубы. Выглянула шапка монастырского собора, забелели многоэтажки... И вдруг — словно баба уронила кошелку — высыпалась перед глазами вся городская мелочь. Автобус, рискуя потерять колеса, покатился под горку — казалось, он хотел покуражиться напоследок, перед тем как, въехав в улицы, снова стать старым, усталым рыдваном-«скотовозом».

Уткин вышел на своей остановке. Машина, булькая выхлопом и повиливая восьмерящими скатами, двинулась к недалекому уже концу своего пути. А художник, поправив на плече этюдник, пошел по улице вдоль заборов, перемежаемых калитками и воротами гаражей. Некоторые из гаражей были открыты: внутри или выкатив свои авто наружу, что-то ладили мужики-хозяева. Уткин здоровался, они здоровались в ответ, и легкая усмешка набегала на их лица при виде этюдника. Один га-

раж в конце улицы был недостроен; владелец его, Вовка Платонов, торчал из недорытой ямы погребца и спал, уронив бюст на бруствер. Рядом с Платоновым лежала пустая водочная бутылка и стояла вторая, початая, но Уткин поздоровался и с ним — на всякий случай.

Дорожка шла вниз, к речке Воле, соткавшей уже себе на ночь одеяло. На месте старого моста, словно гнилые зубы, торчали сваи и вязли в туманных испарениях. Скрежетали лягушки, чпокал соловей в раките. Здесь пахло сыростью, тиной, будто природа-бабушка, зевнув, несвеже выдохнула перед сном. Мимо, давясь хрипом, какая-то псина протащила в туман своего хозяина. Одинокая, пробрела домой отягченная корова. Невдалеке по железнодорожному мосту прогрохотал поезд и стих, как не было. Но, постепенно нарастая, к привычным звукам добавился новый, доносившийся сверху. Уткин поднял голову. Высоко-высоко, блистая в закатных лучах, по небу чертил самолет. «Интересно, — подумал Уткин, — видно ли оттуда наш городок?» И сам себе ответил: «Должно быть, видно — ведь я-то самолет вижу». Самолетик прополз словно муха по стеклу и исчез, оставив в темнеющем небе дымную полосу — просто белый пшик.

Ничто не испортило Уткину этого чудесного дня. Жена его Галя, женщина молочных форм, большеглазая, как телушка, встретила его не совсем дежурным поцелуем и на мгновение прильнула к нему мягкими грудями и животом. Она не разучилась скучать без мужа, если он уходил на целый день. Ужин (урожденный обед) бормотал на плите: Галя поставила его греться, издали заведя в окошко желтое пятнышко этюдника.

— Устал?

— Не очень...

Уткин, разуваясь, успел приласкать ее гладкую икру.

— А я тут твои работы перебирала... к завтрашнему. Он на секунду замер. Да, он забыл — завтра вернисяж.

Генка Суслов, директор кинотеатра «Юбилейный», давно предлагал Уткину выставиться у него в фойе. «Давай, — говорил он, — развесим твои работы. Пускай народ к искусству приобщается». Сам он искусство уважал, да и другу хотелось сделать приятное. Но Уткин сомневался: «Куда же ты денешь своих ван домов? Тебе по шапке дадут». — «Не дадут, — возражал Суслов. — Я план делаю, а на остальное начальству начхать». В конце концов Уткин решился, хотя и не без некоторых колебаний. Разумеется, его смущало не сусловское начальство, а опасение остаться непонятым горожанами. «Как-то еще они воспримут мою манеру? — думал он. — Поймут ли? С другой стороны, — убеждал он себя, — для кого же я работаю, если не для людей?» Уткину очень хотелось чувствовать себя работником, приносящим пользу. Он путался в своих рассуждениях, тем более что рассуждать был, в общем-то, не силен. Единственным способом разрешить так или иначе эти вопросы было действительно выставиться.

Все утро Уткины развешивали работы под наблюдением билетерши Фаины Ивановны. Сложив руки на животе и оттопырив нижнюю губу, тетя Фая с видом понимающего человека давала оценки и советы. Почтенная женщина стояла за порядок и хотела, чтобы пейзажи висели отдельно, «люди» — отдельно, «не пойми что» — отдельно. Против обнаженной натуры она категорически возражала:

— А Галку голую ты убери, убери... нечего. Не срами жену. Да и дети к нам ходят.

Галя, краснея, откладывала себя в сторону. Пойдя на такой компромисс с «цензурой», в остальном Уткин повинился уже только своему художественному чутью. К полудню все было готово, и Галя ушла домой к хозяйству. Для прокорма семьи она выращивала на продажу цветы, и к тому же в тот день они ждали гостей по случаю вернисажа. С неопределенным чувством тщесла-

вия, смешанного со страхом, художник окинул взглядом свою выставку и отправился в кабинет к Суслову пить пиво.

Пузатенький Генка подмахнул какую-то ведомость и расчистил стол.

— Завидую я тебе, — сказал он.

— Почему?

— Ну... ты человек творческий. А тут сиди, блин, администрируй. Народ у нас дикий: что ни двухсерийный — толчки так усерут! А за нашу зарплату убираться некому — хоть иди и сам чисти.

— Да ладно тебе...

— Я без шуток. Ты-то, поди, живешь со своей Галей в этих... эмпириях. Птички тебе поют.

— Поют, — усмехнулся Уткин. — Про финансы.

— Что, плохо картины продаются?

— Да так... Отвожу в Москву понемножку.

— Ничего, лишь бы на пиво хватало... Кстати, может, покрепче накатим — за успех?

— Нет, Ген, давай до вечера подождем.

— Ну смотри.

Они еще поболтали, и Суслов уехал за «Зловещими мертвецами». Уткин перебрался в буфет. Буфетчица Нинка, протирая тряпкой прилавок, сперва только бросала взгляды, но потом не смолчала:

— Ты что это, Уткин, вроде не пьяница, а с утра пиво дуешь?

— Да так... — не нашелся он.

— Твои, что ли, картинки там в фойе повесили?

— Мои.

— Надо поглядеть.

— Погляди.

— Некогда. Сейчас народ подвалит.

Но народу на дневной сеанс «подвалило» немного: в основном дети в сопровождении бабушек. Дети врывались с воплями и сразу начинали носиться по фойе,

не обращая внимания на картины. Лишь одна девочка остановилась перед какой-то акварелью и долго бессмысленно тарасилась, медленно выдувая изо рта белый пузырь жвачки. Вдруг пузырь лопнул, обрызгав ей нос, и девочка убежала, смешавшись с остальными. Бабушки беседовали с Фаиной Ивановной. Между прочим она обращала их внимание на выставку, но бабки издалика окидывали картины равнодушными взглядами и возвращались к разговору о насущном, не забывая пасти своих сопливых потомков. Уткин ушел домой обедать.

— Ну как? — спросила Галя.

— Да так... — Он пожал плечами. — Никак пока. Схожу еще на вечерний сеанс.

После обеда, не будучи в настроении работать, он прилег поспать. Спал Уткин некрепко: его беспокоила залетевшая в комнату неотвязная муха. Гадина кружилась над ним, щекотала в разных местах и, невидимая, росла, заполняя собой все пространство сна. Муха не подпускала к нему привычные приятные образы и фантазии, и они, званные гости послеполуденной дремы, так и топтались сиротливо на пороге сознания. В результате проснулся Уткин в каком-то смутном состоянии духа. При мысли о вернисаже сердце екнуло, но не радостно, а тревожно. Он вспомнил жвачную девочку в кинотеатре, и досада поднялась в нем изжогой. «Зряшная затея! Им «Зловещих мертвецов» смотреть, а не живопись. А все Суслов — его идея... Тоже еще, покровитель искусств!»

Он вышел на кухню. Галя, взглянув быстро и пытлииво, сразу почувствовала его настроение:

— Не выспался?

— Мык... — мотнул он головой.

— Выпей кофе, тебе идти скоро.

— Я не пойду.

— Ну здрастье! — Она укоризненно посмотрела большими глазами. — Для чего же мы огород городили?

— Не знаю... — ответил он.

Галя молча задвигалась по кухне, унимая недовольство. Трудно жить с художником! Но постепенно лицо ее прояснилось.

— Хорошо, — сказала она, — не хочешь — не ходи. Тогда будешь мне помогать: гости-то все равно придут.

Прихлебывая кофе, Уткин стал вспоминать, кого они приглашали на вернисаж. Бок, Сергеев, отец Михаил... Кочуев сам разносит...

— Интересно, батюшка придет? — пробормотал он вслух.

— Обещал, — откликнулась Галя.

— Ладно, — проворчал Уткин. — Хоть есть повод увидеться...

Друзья заявили гурьбой и довольно поздно, когда уже смеркалось. Ясно было, что они успели посмотреть и «Мертвецов». Суслов с порога стал громко петь:

— Зараза, Уткин, что же ты на свое открытие не пришел? Я хотел народу речь про тебя сказать.

Уткин насупился:

— Да так...

— Что «да так»? Посмотри, какие люди пришли на твое искусство посмотреть, — вон Подметкин... Знаешь его?

— А как же, — Уткин поздоровался за руку с собратом по искусству.

Приятели в очередь целовали Галю, даря ей — всяк в меру своей изобретательности — комплименты.

Ужин на столе уже заждался. Разлив водку и зацепив вилками первые закуски, гости вопросительно переглянулись:

— Давай, Сергеев, как близкий друг.

Сергеев встал и откашлялся. Наступила тишина.

— Дорогой э-э... Прямо хочется назвать тебя именником... Позволь тебя поздравить. В общем, вы-

пьем, братцы, за Уткина, настоящего художника! Стоп, стоп, я еще не кончил... Все мы тут мало смыслим в живописи, но лично мне твои работы безусловно греют душу... Суслов, ты потом скажешь... Давай, Уткин, за тебя, единственного среди нас художника!

— А Подметкин? — напомнил кто-то.

— Что Подметкин?

— Он тоже художник.

— Ах да... Прости, Подметкин. Правда, я твоих выставок не видел...

Подметкин не ответил, но почему-то выпил свою рюмку, не дождавшись общего чоканья.

Было еще несколько задушевных тостов, а потом разговор съехал на другие темы. Потом достали гитару, и начались песнопения. И только Подметкин меланхолически молчал, крутя в руках то стакан, то вилку.

— Пойдем покурим, — предложил ему Уткин.

Они вышли на крыльцо. Волглая прохлада приятно освежала после застольного угара. Ночь вспыснула землю росой, будто собираясь прогладить ее сухие морщины. Городские окошки перемигивались со звездами. Было тихо, лишь кузнечики неутомимо чесались, забираясь, казалось, в самое ухо.

Художники уселись на отсыревшую ступеньку. Уткину хотелось поговорить о своем творчестве, но Подметкин только курил и глядел в темноту. Разговор не вязывался, и Уткин решил зайти с другой стороны.

— Ну, а как у тебя? — спросил он.

— Что? — Подметкин вздрогнул. — А... Да все «матрики» крашу.

— Матрешки?

— Их самых.

Уткин хмыкнул:

— Ну и как?

— Нормально. Идут «матрики» — иностранцы берут. Вот Муху на «десятку» перепер.

Уткин не понял:

— Какую Муху? Цокотуху, что ли?

— Не какую, а какого... Художник такой австрийский. Известный, между прочим, стыдно не знать. Альфред или Альфонс... сейчас не помню.

— Ну и что он, этот Муха?

— Модерн. Сегодня в почете.

— Модерн...

— Что, и модерн не знаешь?

— Модерн я знаю.

— Темный ты, Уткин, — Подметкин вздохнул.

Уткин не обиделся:

— Ну и что?

— А то... Темный, потому и смелый. Выставки устраиваешь... Что ты можешь нового сказать?

Он замолчал, и повисла пауза. Уткин думал. Наконец он нарушил молчание:

— Выходит, если бы я не был темным, то не устраивал бы выставки?

— Ты меня понял, — усмехнулся Подметкин.

— А может, и вообще рисовать бы расхотел?

— Скорее всего.

— Но тогда скажи, зачем оно нужно, твое просвещение?

— А кому нужно твое рисование? — желчно возразил Подметкин. — Просвещение нужно хотя бы, чтобы не выглядеть дураком.

Неожиданно тьма перед ними еще сгустилась, и посреди черного пятна блеснуло серебро. То был наперсный крест отца Михаила.

— Здорово, дети мои! — весело приветствовал их священник.

— Здорово, батюшка, — хмуро ответил Уткин. — А еще позже ты не мог припереться?

— Ты уж прости, — Михаил поздоровался с ними за руки. — Служба, знаешь... Видишь, я в облачении.

Появление отца Михаила вызвало в доме оживление и новое налитие рюмок. Он, не садясь, перекрестил свою «штрафную» и хотел было сразу направить ее по назначению. Но хмельной Суслов остановил его довольно развязно:

— Э, нет, батюшка, ты не в пивную пришел! Ты сначала скажи по поводу: что ты думаешь про нашего Уткина и так далее.

— Да, пожалуй... — Отец Михаил посмотрел на Уткина, подвигал бородой и задумался.

— Давай, Миша, не тяни, — торопили его.

— Что же сказать?.. — он еще думал. — Вот что я скажу: всяк по-своему Господа славит.

Он лихо выпил и, не закусывая, повернулся к Уткину:

— Дай-ка я тебя просто обниму.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Железная дорога — наша гибкая, но упрямая железка — ежедневно с великими мучениями выбирается из Москвы. Царапая брюхо на стрелках, обдирая бока о бесчисленные столбы и светофоры, оставляя клочья зеленой шкуры на шершавых стенах бетонного лабиринта, она выдавливается из столицы пульсирующими толчками. Она стегает себя электрическими разрядами и кричит раненым зайцем, она проползает мимо ближних перронов, не открывая дверей цеплючим ордам московских пассажиров. Только бы вырваться! Но постепенно слабеет хватка спрута: истончаются, редеют и рвутся шупалы и путы трубопроводов, проводов, переходов и переходов; уже легче выбор пути в сплетении рельсов. И вот торжествующе гласит победное индейское улюлюканье! Еще хвост ее метет московские плевки и гондоны, а уже ноздри почуяли запах йода и трав, и первые еловые лапы протянулись, чтобы сбить с нее на ходу пыль

мегаполиса, ту болезнетворную пыль, какую найдешь еще разве в кисете задохнувшегося пылесоса. И нет больше распутия, нет сомнений, только два сверкающих рельса, скорость и ветер — смотри, не захлебнись! Впереди Россия — есть где разогнаться, хватило бы духу.

Но, набирая ход, устремляясь в космически бескрайние бездны страны, железка дает почему-то маленький изгиб, будто высунула язык, чтобы лизнуть кого-то мимоходом. Кому же предназначена ее дразнящая ласка? Кто это свернулся клубочком в долине и снисходительно жмурится на вагонный промельк? Нет, не взвихрит его веселый полет железной подружки, не унесет в заветные дали. Но он рад, ей-богу, рад этим кратким бесшабашным свиданиям и всегда поощрительно светит навстречу зеленым глазом — в добрый путь!

Мимолетное лобзание перрона, короткий нецеремонный свисток — и дорога, описав дугу, словно лента убегающей кокетки, скрывается в повороте. Городок, вздохнув, переставляет стрелки, перемигивает светомфором и принимается перебирать гостинцы, что вперемешку горстью высыпала она на привокзальную площадь. Часть из них, впрочем его же собственность, занятая железкой накануне: ночные рабочие, подрядившиеся задешево рыть метро, компания молодежи, «оттянувшаяся» в столице на всю катушку, зевающая блядь с поврежденным макияжем. От себя Москва прислала бледноногих дачников в шортах и дачниц с унылыми грудями, висящими в майках. Да еще пара чиновников с одним дипломатом на двоих озирается в поисках пива — какая-нибудь облинспекция «по водке». Словом, обычное ассорти...

Но сегодня дорога подбросила городку нечто необычное. Немногочисленная публика, прибывшая утренним поездом, уверенно впиталась в городские поры, отчасти забрана была скучавшим автобусом, и снова станционные окрестности почти обезлюдели. Но на

платформе неразстворимым остатком, комочком чужого мира продолжало гомонить семейство инородцев. Несколько ребятишек, похожих на цыганят, и женщина с аутически-безразличным лицом, едва выглядывавшим из платков, сгрудились около своих пожитков и не двигались с места. Кожа их была смугла, но не от загара, а словно бы изнутри, будто и там, под кожей, тело у них было темнее, чем у русского человека. И все же цыганами они не были. Они явно не знали, что им делать: их только что высадили за безбилетный проезд. Ушлые цыгане дождались бы следующей электрички и ехали дальше по кочевым делам, а эти выглядели растерянными. И хотя наше негреющее солнце и эти асфальтовые перроны не были им внове, вид их говорил: они неопытные путешественники. Спустя некоторое время — в результате ли долгих понуканий со стороны детей или собственных трудных размышлений — женщина подала гортанную команду, подхватила самый тяжелый узел и, не оглядываясь, пошла в сторону вокзального здания. Похватав остальные котомки, гомонящая мелочь поспешила за мамашей.

Наш вокзал старичок: он строился вместе с дорогой. Как строятся железные дороги, известно: примерно так же, как пишутся литературные произведения. Рельсы, как строчки, укладываются долго и трудно, чтобы потом кто-то духом промчался, почти не чуя их под собой. Вокзалы для железной дороги — что заголовки — обозначают место, где надо книжку либо захлопнуть, либо раскрыть. В те времена, когда строились наш вокзал и железка, литераторы были многоречивы, заголовки любили пышные — все потому, что читатель тогдашний никуда не спешил. К поезду тоже приходили задолго — чаще, чтобы встретить кого-то, чем чтобы ехать самим. На вокзале играла музыка, работал буфет, дамы демонстрировали свои шляпки... Впрочем, вся эта старинная привокзальная жизнь дав-

но описана. Теперь и читают, и ездят по-другому: навес, билетная касса, глава номер такой-то, платформа такой-то километр. Тем милее сердцу этот наш типовой анахронизм псевдоготического стиля и сестрица его, водонапорная башня, заправлявшая когда-то личный паровоз Саввы Мамонтова.

Вокзальное чрево было сумрачно и пусто; пахло дерматином и мокрыми полами. От дальней стены двигалась со шваброй старуха, давно взявшая на прицел бурю собаку, лежавшую под лавкой. Расстояние между ними еще не позволяло атаковать, но старуха разогрела свой боевой дух ворчанием:

– Ишь, блохастая, приперлась тута псиной вонять! Чего приперлась, не зима, чать? Щас я тебе!

Собака, решив, видимо, тянуть до последнего, молча за ней наблюдала, нервно шевеля бровями. За нее заступался пожилой бомж, составлявший вместе с бабкой все людское население зала.

– Сволочь ты старая, — укорял он. — Чего тебе собака сделала, пускай лежит.

– И тебя гнать! — возражала непреклонная бабка. — Заразу тока тощут! Воничу развели...

Бомж был задет:

– Молчала бы! У самой у тебя с-под подола селедкой смердит.

Обстановка накалялась, и, чем бы кончилось дело, сказать трудно. Но тут отворилась вокзальная дверь, и в зал ожидания, оглашая его чудными звуками иноплеменной речи, маленькой отарой вошло вышеописанное смутлокожее семейство.

В это самое время по улице Станционной, по направлению к вокзальной площади, шествовал известный в городке писатель Подгузов. Сегодняшним погожим утром он испытывал естественный подъем душевных сил. Он с удовольствием выпил чаю, собрал в портфель

нужные бумаги и тщательно оделся: на правую ногу он натянул красноватый носок, а на левую — синий с узором. Подгузов никогда не выходил из дому без галстука, пиджака и, главное, без портфеля. Портфель был хорош: «под крокодила», с двумя бронзовыми замками; таких давно уже не делали. Когда-то он с этим портфелем приходил в телеателье или жилконтору и говорил просто, без нажима: «Здравствуйте, я Подгузов, член Союза писателей». И телевизор его чинился чудесным образом, и новый унитаз почтительно принимал писательские отправления. Однако некоторое время назад портфель утратил свою волшебную силу. В государстве что-то развинтилось, и общество сошло с рельсов. Потревожь природу — и перестанут источать родники, потревожь общество — и узнаешь всю хрупкость житейской гармонии. Подгузов осознал эту хрупкость слишком поздно. Ужасный случай открыл ему глаза... Однажды он стоял в очереди в магазине; стоял, обтекаемый юркими старушками, вскидывал брови на невероятные ценники и с достоинством кивал на приветствия сограждан. Раньше, в портфельные времена, он получал продукты через служебный вход, из рук завмага Антонины Егоровны, но внезапное и неестественное изобилие прилавков вернуло его в народную гущу. Приближалась заветная столешница, где орудовали ловкие руки продавщицы Валентины. Там шлепались хладнокровные немигающие селедки, вертелась под ножом дорогая колбаска, и длинные поезда сосисок прибывали на платформу весов. Подгузов уже нащупывал в кармане портмоне, как вдруг магазинная дверь громко хлопнула и отскочила, вибрируя. В залу мирного торжища ввалились трое коротко стриженных мордатых молодцов. Вероятно, так же входила в буржуйские лавки революционная матросская братва, описанная с восторгом у раннего Подгузова. Но писателю было не до параллелей: его грубо оттолкнули, а когда

он попробовал сопротивляться, выругали непонятными словами:

— Ты чё, в натуре, тормоз?

Подгузов огляделся, ища поддержки, но народ безмолвствовал. Стриженные покупали водку и что-то еще; продавщица мгновенно подавала. Когда они набрали, что хотели, один мордатый, швырнув небрежно деньги, спросил, ткнув в писателя пальцем:

— Валь, что это за чудовище с портфелем, ты не знаешь? — И презрительно засмеялся.

Валька, знавшая Подгузова много лет, только холуйски подхихикнула. Писатель от обиды потерял самообладание.

— Что это за хамство?! — завизжал он. — Как ты смеешь, мерзавец?!

Стриженный перестал улыбаться.

— Что ты сказал? — Он посмотрел селедочными глазами. От этого взгляда Подгузову стало страшно.

— Ничего... — пробормотал он. — Вести себя надо...

Руки у бандюка были заняты покупками, и это спасло писателя от худшего. Стриженный только сплюнул ему под ноги и прорычал:

— Пошел на хуй, козел!

Он пошел с другими к выходу и уже в дверях, обернувшись, добавил:

— Радуйся, чмо, что я сегодня добрый.

По уходе братков магазин снова ожил. Валентина, отводя глаза, спросила Подгузова:

— Что будете брать?

Он не ответил. Как лунатик, писатель отчалил от прилавка и вышел из магазина. Не помня себя, доплелся он до дома, лег на диван и пролежал на нем неведомо сколько времени. Нет, он не помер, подобно известному чеховскому персонажу, и не наложил на себя руки. Подгузов всего лишь тихо двинулся умом. Так тихо и незаметно, бывало, трогался литерный спецсос-

тав («писатели едут на БАМ»): глядишь, перрон поплыл. Но это не перрон, а ты «поплыл», вот только куда?

Как-то Сергеев навестил его в поисках нужной книжки. Подгузов оброс, сидел дома в халате и старых гамашах. На вопрос о самочувствии он махнул рукой и отвернулся, чтобы скрыть накотившую слезу.

— Что с вами случилось? — настаивал Сергеев на правах давнего знакомого.

— Случилось? Случилось вот что...

И писатель поведал свое приключение.

Сергеев дослушал без улыбки. Потом уточнил:

— Стало быть, вас послали на три буквы?

— Вот именно, — горько подтвердил Подгузов. — Меня, члена Союза писателей, представляешь!

— М-да... — посочувствовал Сергеев. — А раньше вас никогда не посылали?

— Да ты что! Никогда! — возмутился Подгузов. Но, подумав, вспомнил: — Нет, было раз, в обкоме... Но то ж в обкоме!

Он обхватил голову руками:

— Что делать, Сергеев?.. Все эти годы я жил в башне из слоновой кости...

Сергеев усмехнулся:

— В нашем доме вы жили.

— Я образно... Но скажи мне, как теперь-то жить?

Подгузов начал раскачиваться.

— А что... Возьмите и напишите об этом.

Подгузов сардонически скривился:

— Куда писать? Ты что, с луны свалился? Некуда теперь писать...

— Я не в том смысле... Вы же литератор, вот и опишите свой случай.

Но Подгузов не стал описывать свой случай. Он вообще с тех пор не написал ни строчки. Правда, однажды он было сел за стол и попытался работать, но у него ничего не получилось. Мысли никак не хотели ложиться

на бумагу: ручка давала пропуски, словно скользила по кафелю, фразы свертывались в дрожащие капли и скатывались с листа. Снова и снова он пробовал прилепить их к упрямой бумаге, но безуспешно. И Подгузов отступился. Какое-то время он недвижимо сидел, вглядываясь в чистый лист, как в белую пропасть. Потом, будто по наитию, протянул руку, сложил лист пополам, перегнул, завернул уголки и... сделал «галочку». Он пустил «галочку» по комнате, и та, описав изящный полукруг, вернулась к нему на стол. Внезапно Подгузов испытал прилив восторга; наслаждение, близкое к оргазму, охватило его и сменилось чувством благодатной разрешенности.

Эффект, произведенный полетом «галочки», потряс писателя. Его духовному взору открылось нечто настолько важное, что было бы преступлением удерживать это в себе. Подгузов вышел из затвора и явился обществу. Одеваться он стал весьма торжественно, и хотя парадный костюм его от частого употребления быстро испортился, Подгузов этого уже не замечал. Взгляд его сделался мудрым и проницательным, речь — пророческой. Портфель, конечно, всегда был при нем. Днями напролет писатель ходил по улицам, пуская «галочек». Не для себя — для людей, а они шарахались от него и крутили пальцами у виска. Только ветер либо дождь могли прервать его миссию. Правда, гордость Подгузова порой роптала: «Уймись, не мечи бисер перед свиньями!», — но куда ей было тягаться с до предела обострившейся писательской совестью.

Вот в каком состоянии ума шел он по Станционной улице в то солнечное утро. Был будень, многолюдья не наблюдалось. Только голуби (настоящие, а не бумажные) бросались к редким прохожим в надежде на подачку. К десяти часам не было выпущено ни одной «галочки». Взгляд Подгузова, к его огорчению, не фиксировал несчастных, нуждавшихся в утешении, ведь «галочки» предназначались им. Не было в городке несчастных —

в то утро они как сквозь землю провалились. Но Подгузов был достаточно опытен и знал, где их искать...

Странная перемена случилась с российскими вокзалами. Давным-давно вместо дам, шеголявших шляпками, населили их люди с остановившимися глазами. И непонятно, почему такая безысходность во взгляде у людей именно едущих...

Войдя под гулкие своды, Подгузов не был разочарован. Целое семейство беженцев, бомж и больная собака — сразу десяток страждущих, неустроенных душ. Темноликие беженята разом повернулись к нему и умолкли, старуха перестала шмыгать шваброй, бомж поздоровался. Собака подняла голову, принюхалась и вновь положила голову на лапы, переведя глаза в зенитное положение. Подгузов сел рядом с женщиной, укутанной в платки; она испуганно покосилась на его портфель и отодвинулась.

— Не бойсь! Он тебе не обидит, — ободрила ее старуха. Он приласкал чумазого ребятенка, немного помолчал и спросил:

— Откуда едете?

Женщина вздрогнула, посообразжала, бормотнула что-то в платки и махнула рукой в сторону, как ей думалось, юга.

— Беженцы?

Она опять посообразжала:

— Бежаль, бежаль...

— А муж твой где, бабонька?

Пауза.

— Убиваль.

Глаза ее, заледенев, перестали моргать. Подгузов больше не спрашивал; лицо его сделалось морщинистым.

— Погоди... — сказал он и открыл портфель. — Погоди... — бормотал он, ловкими точными движениями складывая «галочку». — Все будет хорошо, вот увидишь.

Он пустил свою «галочку», за ней другую, и беженята с криками бросились их ловить. Бомж добродушно

посмеивался, бабка-уборщица качала головой, опершись на швабру. Собака вздохнула и отвалилась на бок: она поняла, что теперь ее не турнут.

ВИНИЛ

Сергеев проснулся и взглянул на стенку — ходики стояли. Чем старше они становились, тем с большей жадностью глотали время — так, что Сергеев не успевал поправлять гири. А что значит проснуться под стоячими часами — может быть, это вообще не значит проснуться? Были, конечно, в доме и другие часы: в спальне на тумбочке и на кухне, — но они мерцали каким-то своим временем, не имевшем к Сергееву прямого отношения. На руке же он и вовсе носил «Сейку», самозаводного паразита, пившего из него время, как кровь... Часовой вопрос занимал его довольно долго именно потому, что на сегодня в нем важности не было: день-то предстоял воскресный.

Он уже собрался было встать и, возможно, даже завести старые ходики, как вдруг зазвонил телефон. Вообще-то эта коробочка (тоже, кстати, электронная) сама уполномочена отвечать и выслушивать неурочные «мессиджи». Но жена не выдержала, потянулась за трубкой: сработал, наверное, материнский инстинкт — успокоить, кто бы ни запищал.

— Але?.. Да... Что?.. Когда?.. — Она терла лоб свободной рукой, прогоняя остатки сна. — Буду. Еду... Я же сказала: еду!

Разговор закончился, но жена не легла обратно, а потянулась за халатом.

- Кто это? — спросил Сергеев. — Куда ты едешь?
- Соседка тети-Машина... Упала — инсульт, что ли...
- Тетя Маша?
- Ну не соседка же.

Тетя Маша была дальняя родственница жены, жившая в Москве.

Сергеев вздохнул:

— Грустная история... А мне так хотелось отдохнуть сегодня.

— Ну и оставайся — все равно тебе там делать нечего.

По-хорошему ему все-таки надо было поехать с женой — хотя бы из семейной солидарности, но это было его всегдашнее свойство — долго запрягать. Жена успела позавтракать, проститься с ним и проехать полдороги до Москвы, пока этот вихрь, унесший ее, не добрался до Сергеева, не зашевелил и в нем смутное желание действовать. Сидеть одному дома не хотелось, ехать вдогонку за женой было глупо, и он решил, коли так случилось, исполнить свое давнишнее намерение — обойти кое-кого из приятелей в поисках старых виниловых пластинок. Вряд ли, полагал он, кто-нибудь из них еще слушает музыку своей молодости; сам же Сергеев почему-то все чаще обращался мыслями в те, уже ставшие далекими годы.

Удивляясь собственной решимости, он стал одеваться и через четверть часа уже шагал по улице в бодром ритме свежезаведенных ходиков. Многое переменялось в городке с милых сердцу виниловых пор, но все так же пока хорош он солнечным зимним днем. Нигде в природе не мокро, не потно; все так же бодро пованивает «свежаком» от прохожих мужичков. Все бело, чисто: прикрылись снегом помойки; собачий и иной кал не смердит, он затвердел на морозе, превращаясь под действием света в безобидный порошок. Вот только не стало уже почти слышно печного дыма, а жаль... Нет, все же много перемен, если приглядеться... Раньше, бывало, встанет корова посреди улицы, задерет хвост — и ничего: успеет спокойно сделать, что хотела. А теперь улицу запросто не перейдешь — машины несутся: одни похожи на обсосанные леденцы, другие — на крыс с ноздрями. Сергеев примечал и новые вывески, и но-

вые ржаво-кирпичные особняки, и новую, особую выходку некоторых скоробогатых горожан.

Да, надо признаться, время работает и в нашем городке. Государственного значения большак, извилисто разрезающий его, делит городок примерно пополам. Жители называют эти половины «старой» и «новой». «Новая», известное дело, дитя советской власти, которая, канув в Лету, бросила на произвол судьбы все свои порождения. Власть понастроила гражданам силикатных жилгробов, увековечила себя в горделивых названиях улиц и... тихо издохла где-то в подвалах пятиэтажек (зловоние и теперь стоит в их подъездах). Зато «старый» городок, рассыпавшийся в сени монастырского собора, севшего давным-давно шапкой на холме, — он теперь задышал, ожил, подобно древесной колоде, давшей вдруг молодые побеги. Зазвенели колокола, засновали деловито «овцы Божьи», да и миряне оживились: строят близ святого места приличные коттеджи.

Словом, понятия эти — «старое» и «новое» — перепутались у нас изрядно. Новым когда-то был строительный вагончик, стоявший на обочине упомянутого большака, а теперь он облез и врос в землю. Именно этот потерявший цвет анахронизм значился первым пунктом сергеевской экспедиции. Собственных колес у вагончика не имелось, зато кругом — где стопками, где просто так — лежали «лысые» и драные старые покрывки. Изнутри его по временам сотрясали стук компрессора и футбольные прыжки шин; шины эти принимала у граждан и выкатывала готовыми рука, шершавая не менее, чем они сами. Принадлежала рука Кольке Безукладову, школьному еще сергеевскому товарищу.

— Кого я вижу! — обрадовался Безукладов. — Заходи, дружище! Я как раз о тебе вспоминал.

— Ну уж, не ври, — усмехнулся Сергеев и полез внутрь.

Густой воздух Колькиной берлоги креплен был вонью горелой резины и тем сложным запахом рабочей теплушки, которым вагончик пропитался еще в прежней жизни. В недрах его, куда пробрался Сергеев, обнаружилась пышнотелая тетка в расстегнутой кофте. Она расположилась на старом автобусном сиденье, служившем Безукладову диваном.

— Здравсьте, — вежливо поприветствовал ее Сергеев,

Толстуха рассеянно кивнула. Трудно было понять, довольна она или нет его появлением. На столике перед ней стояли бутылка водки и два стакана с отпечатками пальцев. Вспомнив о приличиях, женщина хоть с опозданием, но застегнулась.

Неожиданно она оглушительно заорала:

— Колюня!! Ну сколько тебя ждать?!

— Иду, мои хорошие! — донесся ответный крик. — Уно моменто — обслужу клиента!

Жизнерадостный хозяин ввалился в тесную «кандейку» и сразу протянул подруге свою ужасную руку. Она заученно «сервировала» ему тыльную сторону ладони маленьким куском хлеба и ломтиком краковской (брать еду пальцами Безукладов не решался). Они с теткой выпили.

— Хочешь? — спросил Колька и кивнул на бутылку.

Сергеев отрицательно помотал головой.

— Ну и лапы у тебя, — заметил он.

Безукладов посмотрел на свои руки.

— Он мне ими затыжки на колготках делает, — сообщила застенчиво толстуха и нежно улыбнулась Кольке. Потом она, посерьезнев, неохотно, но решительно засобиралась:

— Пойду... Мне еще на рынок надо — буду мужу борщ готовить.

— Ступай, моя радость, — отозвался Безукладов. — Не забывай Колю.

Тетка ушла.

— Люблю толстых, — сообщил Колька.

Сергеев усмехнулся:

— Все знают, что ты их любишь.

Любовь к толстушкам стоила Безукладову инженерской карьеры. Как ни хороша была Марго из профкома, все-таки не следовало драться из-за нее в заводоуправлении. Зато, расплевавшись с начальством и уйдя с завода, он стал едва ли не первым «индивидуалом» в городке. Бесколесый вагончик его возглавил когда-то движение к новой жизни; эти фанерные стены отразили немало напастей. Но... «пелетон» давно уже его обогнал, а сам он потихоньку сошел с дистанции и завяз на обочине. Сергеев знал, что «дело» приятеля доживает последние дни: Безукладова закрывало само время. Не то время, от которого стареют мужчины и разваливаются вагончики, а то, которое понаставило на всех въездах и выездах мастерские со станками на электронике, с умытыми молодцами в ладных комбинезонах. «Иди работать к хозяину, — советовали Кольке товарищи, — вон ты как ловко с колесами управляешься». «Ну, нет уж, — возражал он, — под кого-то я теперь не пойду. И бабу туда не приведешь, а я без них завяну». «Ну и дурак, — отвечали приятели. — Ты и так завянешь, с бабами, — опомнишься, да поздно будет».

Сергеев осторожно повернулся в тесной «кандейке».

— Коль, я к тебе по делу...

— Ясно, лошадь, — ответил Безукладов, — без дела теперь никто не ходит.

— Нет, правда... Я помню, ты раньше музыку любил. Может быть, у тебя остались пластинки — вряд ли ты их сейчас слушаешь.

Колька вскинул брови:

— А тебе на кой?

— Ну... Собираю.

— Ностальгия прошибла? Ладно, не мое дело...

Безукладов задумался. Потом лицо его прояснилось.

— Придумал — будут тебе пластинки. Погоди только, сейчас переоденусь и запроу свой гадюшник.

Сергеев с удовольствием выбрался на свежий воздух, а спустя короткое время из вагончика показался и Колька, переодевшийся и слегка отмытый. Запрокинув голову, он сделал пятилитровый вдох.

— Хорошо...

— Ну, чего ты там придумал? — спросил Сергеев.

Безукладов почесал голову под шапкой.

— Надо бутылку взять...

— Бутылку — это понятно, а придумал-то ты что?

— Возьмем бутылку и пойдем к Боку.

— К немцу?

— Ага.

Сергеев засомневался:

— Слушай... неудобно как-то без звонка. Он, говорят, теперь большой бизнесмен стал.

— Неудобно идти в гости без бутылки, — возразил наставительно Колька, — а мы возьмем. И Томке вина возьмем... Увидишь, тот же Бок, только вид сбоку. — И он засмеялся своей шутке.

Однако увидеть Бока оказалось непросто. Железная дверь долго лязгала и лишь затем отворилась, отодвинув собой приятелей. За этой дверью была другая, открывавшаяся внутрь квартиры. Наконец показали две физиономии, первая из которых была не Бока, а его пса по имени Карл. Сам Генрих Иванович, придерживая Карла за шиворот, смотрел несколько оторопело и великой радости не выражал. Карл, шевеля бровями, поглядывал то на пришельцев, то на хозяина.

— Ишь, в сейфе живет, как доллар, — проворчал Безукладов. — Ну что, так и будем стоять или в дом приглашишь?

— А, да-да, заходите, — встрепенулся Бок. — Я думал... Просто ко мне рабочие должны были прийти.

— Гена, кто пришел? — раздался женский голос.

— К нам... ребята, — ответил он, оттаскивая задумавшегося Карла.

Вышла жена Генриха Иваныча Тома. Она казалась крупнее мужа и цвела развитыми формами. Безукладов не замедлил выразить восхищение, на что Бок насмешливо фыркнул. Он бросил приятелям тапки.

— Ладно, давайте на кухню, что ли... Тома, есть там у тебя?..

— Не надо, мы с собой принесли, — поторопился сообщить Безукладов. Тома оживилась:

— Проходите, ребята... А у Гены сегодня повод есть — да, Ген? Он заказ удачный спихнул.

Гена молча подтвердил.

Потянулись на кухню. По дороге Колька споткнулся о большую гирю.

— Ого, — усмехнулся он. — Сам поднимаешь или рабочих заставляешь?

Бок опять фыркнул и переставил гирю.

— Он у меня жилистый, — с улыбкой заметила Тома и добавила: — Хотя и маленький...

Бок не выдержал:

— Отстаньте от меня!

Тома захлопала трехэтажным холодильником. Кухня бизнесмена сияла белизной, как зимний день, только время подмигивало в проталинках разных дисплеев. Однако вскоре полные руки хозяйки расцветили стол; потеплело и в душах... Слюнявая морда Карла легла между закусками с выражением печали и лукавства.

Выпили за встречу, за Генкин заказ, и наступила пауза. Безукладов оглядывался.

— Однако маловата кухня для такого деятеля, — заметил он. — Строиться не думал?

— Строиться — имеешь в виду дом? Дом я уже построил, летом переезжаем.

– Мы еще две квартиры купили, – похвастала Тома. – На нашей площадке.

– Это еще зачем?

– На всякий случай... Их соединить можно.

– Понятно...

Выпили опять. Бок помалкивал, очевидно соображая, по какому все-таки случаю гости. Тома решила поддержать разговор:

– Ну а вы-то как живете? Сергеев, говорят, ты с женой развелся...

Сергеев вздрогнул:

– Что за бред?

– Ну... – Тома замялась, – вас давно вместе не видели.

– Просто я стал из дома редко выходить.

– Сиднем стал? – Бок нахмурился. – Смотри, весь век просидишь... Зацахнешь, как этот вот, – он кивнул на Кольку.

– Ничего я не зачах! – огрызнулся Безукладов.

– Нет, уж ты мне поверь, – внушительно возразил Генка. – Снесут скоро твою мастерскую и тебя вместе с ней.

– Такие, как ты, снесут – людоеды!

– А потому что нельзя думать только о бабах.

Они заспорили, а Сергеев задумался о своем. Странный вопрос задала ему Томка. «Зря я все-таки с женой сегодня не поехал», – пожалел он.

Пора, однако, было переходить к делу.

– Генрих!.. Ген, извини, что прерываю... Помнишь, ты в молодости дисками фарцевал? Ну, пластинками...

– Пластинками? – Генка насторожился. – Ну и что?

– Попросить тебя хотел... Если у тебя что-нибудь осталось и если не жалко, конечно, отдай мне.

Бок удивился:

– Кому они сейчас нужны – теперь у всех си-ди.

– Вот, как видишь, мне понадобились.

— Понятно... — пробормотал Генка, но в глазах его читалось недоумение. — Ты знаешь, старик, я вообще-то хлама в доме не держу.

— Понятно, — сказал уже Сергеев.

Теперь можно было вежливо отваливать, тем более что Безукладов заскучал от Генкиной правды-матки. Они было начали собираться, но Тома, порозовевшая от вина, стала упрашивать:

— Оставайтесь, ребята, ведь в кои веки...

Они вопросительно взглянули на Бока. Генка развел руками:

— Хозяйка просит...

Сам он тоже подозрительно зарумянился — ему, очевидно, хотелось «продолжения банкета». «С чего бы?» — вскользь подумалось Сергееву.

В итоге они «зависли» у Боков — без пользы для предприятия, но, кажется, с пользой для души. Приходили Генкины рабочие и были отправлены восвояси. Безукладов бегал за водкой и вместо одной, естественно, принес две бутылки. Сервировка стола становилась все более свободной; все больше кусков летело в розовую Карлову пропасть.

Наконец круглые Томины щеки улеглись на подставленные ладони.

— Ребята, может, хватит нам трепаться. Сто лет Гена не пел... я уж и забыла, что выходила за музыканта.

Бок смущенно отнекивался, но потом все-таки принес гитару.

— Ну вот, а сказал, хлама не держишь, — съехидничал Безукладов.

— Еще подколешь — и петь не буду, — предупредил Генка.

В юности, получив музыкальное образование прямо во дворе и усвоив необходимые аккорды, деятельный Бок организовал в нашем городке вокально-инструментальный ансамбль. С тех пор он без ложного стыда носил

у ровесников титул музыканта. Впрочем, как убедились Колька с Сергеевым, щипать гитару он еще не разучился — пел и играл вполне душевно, а компания, как могла, подтягивала. Сам расчувствовавшись, Генка внезапно прихлопнул ладонью струны и выпил не в очередь. Потом посмотрел на приятелей с пьяным вызовом:

— Вы небось думаете, что Бок заглобился — мол, у него одни бабки на уме?

— А то нет! — усмехнулся Колька.

— А вот и нет! Для кого я стараюсь, о ком думаю? О детях да вот о ней! — Он кивнул на Тому.

Сергеев поднял голову:

— Правда, Том, это он о тебе печется?

Тома засмеялась:

— А как же — печется! У него даже в записной книжке написано: «Не забыть приласкать Тому».

Генка обиделся:

— И ты с ними заодно! Все, не буду вам больше петь.

— Ну спой!

Пели еще.

Расходились поздно. Генриха развезло; он порывался провожать, а Тома, смеясь, его удерживала:

— Куда ты пойдешь, такой пьянящий!

«Чему она радуется? — подумал Сергеев. — Генке нельзя столько пить».

С Безукладовым они расставались на перекрестке.

— Ты давай... осторожно, — напутствовал Кольку Сергеев.

— И ты... смотри под ноги.

Мерзлая дорога была в пятки; сугробы перегораживали путь. Однако Сергеев счастливо избежал их предательских объятий и вскоре достиг своего дома. Поперек подъезда стояла чья-то большая иномарка, но, обойдя и это препятствие, он поднялся на третий этаж, разобрался с замком и оказался наконец в собственном жилище. В квартире горел свет; посреди передней кра-

совались чужие мужские ботинки. Заглянув в комнату, Сергеев увидел сидящего на диване лощеного господина, в котором не сразу признал бывшего жениного одноклассника Гарика Моргулиса.

— Приве-эт, — удивленно протянул Сергеев. — Так это твоя лайба там... пройти не дает?

— Привет. — Моргулис привстал и протянул руку. — Ты не волнуйся, мы сейчас уезжаем.

Сергеев нахмурился:

— Кто это «мы» и куда это вы уезжаете?

Из спальни показалась жена — в макияже и одетая «на выход»:

— Привет!

Но улыбка ее быстро погасла.

— Ф-ф-у-у... Значит, пьянствовал? Вот, смотри, Гарик, стоило мне за порог, как он уже...

Гарик ухмыльнулся и покачал ногой.

— Куда это вы уезжаете? — повторил Сергеев почти грозно.

— В Москву, куда же. У тети Маши удар, сидеть с ней некому. Я только за вещами: придется пожить у нее несколько дней.

— Так, — сказал он мрачно-недоверчиво. — А этот здесь при чем? — Он кивнул на Моргулиса.

— А вот скажи ему спасибо. Хорошо, мир тесен, — случайно встретились, а то кто бы меня свозил туда-обратно, да еще среди ночи.

— Случайно, стало быть... Ну, спасибо, Гарик-друг.

— Нот эт олл, — отозвался Моргулис и опять противно ухмыльнулся.

Сборы продолжились. Мужчины сидели некоторое время в молчании; Гарик оглядывал со снисходительным видом убранство сергеевского жилья.

Сергеев поерзал:

— Гарик, ты что, в зоопарке — что ты все рассматриваешь?

– Ремонт тебе надо делать...

– Будут деньги – сделаю. Ты-то, я смотрю, процветаешь?

– Ай эм фajn, – ответил Моргулис небрежно и будто невзначай посмотрел на свои швейцарские часы.

Гарик работал в Москве то ли риелтором, то ли криэйтором и в городок наведывался нечасто – навестить родителей и порисоваться перед старыми знакомыми. С детства он был пронырой, однако не все его предприятия оканчивались успешно: например, попытки ухаживать за девочкой Наташей, ставшей потом сергеевской женой. Лично Сергеев не раз украшал большими «бланшами» физиономию будущего риелтора. Дело, конечно, прошлое, но, как видно, старая любовь не ржавеет – иначе с чего бы этот пижон стал катать ее среди ночи в такую даль...

Между тем жена наконец собралась. Она дала ему необходимые хозяйственные инструкции, вручила Гаррику самую тяжелую сумку и была такова. Даже не стала целовать Сергеева на прощание.

– От тебя дурно пахнет, – сказала она. – Смотри, поменьше тут пьянствуй без меня.

И Сергеев остался один. Хмель не давал как следует осмыслить произошедшее, но это было и хорошо. Он лег спать и накрылся хмелем, как одеялом. «Потом, потом...» – пробормотал он, засыпая, хотя смутно осознавал, что это гадкое «потом» уже здесь и будет с терпением сиделки дожидаться его пробуждения.

Так оно и случилось: наутро Сергеев сообразил, что у тети Маши нет телефона, а он не знает ее адреса. Получалось, что жена покинула совершенно всякие пределы досягаемости. Это открытие сделало его похмелье еще более тягостным. Он пытался себя успокаивать: мол, ничего страшного не происходит, сидит она с теткой и скучает по нему; поживет там – вернется, и все будет по-старому. Но успокоиться не давала мысль о Мор-

гулисе, память о его подлой ухмылке. Что-то здесь было не так, и фантазия подсказывала ему — что. «Да, — говорила фантазия, — ты обманут; сидит она там не с тетей Машей, а с Гариком в ресторане, а он, гад, гладит ее по руке...» Почему-то других сцен фантазия ему не рисовала — видимо, щадила и без того несчастного Сергеева.

Прошло два дня, а от жены не было ни слуху ни духу. Сергеев приходил с работы, готовил себе ужин, ел его без аппетита, мыл посуду. Потом он доставал из шкафа портвейн и садился слушать (вот когда они понадобились!) свои виниловые пластинки. Поздно вечером он переваливался в кровать и... спал — не спал, ворочался до утра; в эти две ночи он говорил с женой больше, чем во весь последний год.

Наконец эта ломка в одиночестве стала ему невыносима. На третий вечер он, неожиданно для самого себя, оделся и подался из дому так решительно, словно по обдуманному важному делу. В действительности дела у него никакого не было, а был порыв, определенный, впрочем, в смысле направления. Сама страдающая душа повлекла Сергеева к товарищу его, священнику отцу Михаилу — человеку, сведущему в скорбях и знающему слова утешения.

Жил Михаил неблизко — в подгородней деревушке Гаврилки. Идти туда следовало через железную дорогу, через речку и дальше полем. А надо сказать, нигде человек настолько не чувствует свое одиночество, как зимним вечером в российском поле. И так это ощущение срезонировало в больной сергеевской душе, что ему ужасно захотелось сесть прямо тут, в снегу, замерзнуть и превратиться в бесчувственную кочку... Но он себя пересилил и все-таки добрался до отца Михаила.

О. Михаил (для своих — просто Миша) приходу Сергеева не удивился, а только посетовал, что тот давно не появлялся. Гости у батюшки случались часто, несмотря

на удаленность проживания. Сергеев вошел, и его обдало приятным запахом старого бревенчатого дома.

— Здравствуй, Надя, — приветствовал он подошедшую маму, и они поцеловались по-православному.

Михаил пригласил его:

— Проходи... Только не пугайся — у меня тут лазарет.

Сергеев прошел в комнату, и первый, кого он увидел, был... Генка Бок, лежавший на кровати. К кровати был приставлен стул, к стулу привязана швабра, а к швабре — капельница; трубка от капельницы тянулась к руке Генриха Ивановича.

— Привет, — слабым голосом поздоровался Бок.

— Приве-эт, — недоуменно отозвался Сергеев. — Ты что это тут валяешься?

— Что, что... Запой у меня, — Бок вздохнул. — Томка не знает, я для нее в командировке.

— А что ж ты не в больницу?.. А, ну да...

— В больницу нельзя — весь город станет пальцами показывать. Вот — Надя выхаживает.

— И давно у тебя эти... запой?

— Не очень... Понимаешь, работа достала — одни нервы. Хочется расслабиться, и вот — дораслаблялся...

— М-да...

Сергеев сочувственно крутнул головой. Он помолчал несколько секунд и вдруг неожиданно признался:

— А от меня, Ген, жена ушла.

— Болтаешь... — Бок даже приподнялся с подушки. — У вас же любовь со школы.

— Стало быть, кончилась любовь... — Сергеев печально усмехнулся. — Лямур пердю, как говорят французы.

Сзади подошел отец Михаил:

— Чего «пердю»?

— Лямур... — повторил Сергеев. — От меня жена ушла.

— Не может быть... Наташа? — это изумилась Надя.

— Другой у меня нет... и этой, кажется, тоже.

Генка заворочался в кровати:

— Надька, вынимай из меня иглу.

— Зачем это?

— Водку будем пить, вот зачем... По такому поводу...

Все бросились его отговаривать, но Генрих был непреклонен.

Спустя два часа они уже... пели песни. Курица, осененная отцом Михаилом, лежала растерзанная; окна старого дома выходили прямо в космос... Впервые Сергеев почувствовал, что у него отлегло от души...

Проснулся он от хода часов. Мерно, с явным удовольствием, они хрустели секундами, как буренка жвачкой. «У попа-то часы идут», — подумал Сергеев и стал ждать, когда они начнут бить. Но часы все не били, зато с улицы донеслись голоса: казалось, женщины пели, но без мотива. Он открыл глаза и огляделся; напротив, сбросив одеяло, спал Бок — его крепкое тело отливало искусственным загаром. Сергеев встал и выглянул в окно. По дороге двигалась похоронная процессия; впереди в куртке, надетой поверх подрясника, шагал с кадилом отец Михаил. Процессия подходила все ближе, и Сергеев спросонья испугался: «Сюда, что ли, несут?» Но нет — недружно перебирая ногами и попадая валенками в обочины, гаврилковцы протащились мимо, в сторону недалекого местного погоста. «На дому отпевал», — сообразил Сергеев и задернул занавеску. Ударили часы, и, словно отвечая им, громко захрапел Генка. Сергеев подошел к нему и бережно, как ребенка, перевернул. «Спи уже... алкоголик», — пробормотал он и вернулся в свою койку.

Он снова уснул и даже увидел сон — из тех, утренних, что запоминаются особенно хорошо. Приснилась ему Генкина жена Тома. Она что-то мыла и прибирала в сергеевской квартире, а он все никак не мог отправить ее домой. «Иди к себе, — убеждал он Тому. — У тебя там Генка лежит больной!» А она, смеясь, соглашалась: «Да, да, он совсем зачах!» — и не уходила.

Часы принимались бить еще несколько раз — их он слышал сквозь сон, но не слышал, как встал Генрих Иванович и ушел на свою нервную работу, как заглянул к нему вернувшийся с кладбища батюшка и, пошевелив бородой, снова закрыл дверь.

Сергеев проспал чуть ли не до обеда. Солнце вовсю жгло занавески; часы приветствовали его насмешливым напоминанием: день в разгаре. Он оделся и тихонько вышел из комнаты. На кухне кто-то заговорщицки шептался:

— Опять, зараза, скинула... Что с ней делать — ума не приложу.

— Врача-то приводила?

— Да приводила, что от него толку... Может, старуху позвать — пусть пошепчет?

— Господь с тобой, Марь Петровна, ты же в церковь ходишь!

— А что же делать?

— Продай ты ее, и дело с концом.

— Жалко продавать-то — привыкла я к ней... А нельзя батюшку попросить — может, молебен какой?..

— Не знаю... надо спросить.

Сергеев вошел:

— Здравствуйте.

— А, проснулся, — Надя улыбнулась. — Умывайся, скоро кушать будем.

— А где отец Михаил?

— У себя, письмо благочинному пишет.

Сергеев пошел к батюшке в «кабинет». Открыв дверь, он удивился, найдя его за компьютером, довольно ловко щелкающим клавишами.

— Ай да поп! — вырвалось у него.

Михаил вздрогнул и обернулся:

— Ты меня напугал... И чем это я тебе не поп?

— Нет, ничего... Смотрю, и ты в ногу со временем шагаешь.

— А как же. Телефон провел, к «нету» подключился — удобно. А тебе что, не нравится? Хочешь, чтобы время остановилось?

Сергеев не ответил.

Михаил подвигал бородой:

— Кстати... Бок тут говорил, что ты старые пластинки собираешь. Хочешь, дам — у меня их целая куча валяется.

— Давай... Теперь только их и слушаю вечерами.

Батюшка почесал заросли на шее:

— Угу... Ну ты унывай-то не очень... С чего ты вообще взял, что она ушла? Глядишь, вернется, а тебе стыдно будет.

— Нет, Миша, — тихо возразил Сергеев, — чувствую я, что не приедет.

— Чего ты там чувствуешь, — Михаил заговорил строже, — психуешь просто... Ты посмотри на этого павлина Моргулиса — нашел к кому ревновать. И даже если она с ним закрутила (во что я не верю), все равно к тебе вернется. Ты только укрепишь духом и жди... А вернется — простить обязан, это я тебе как духовное лицо говорю.

— Ладно тебе, духовное лицо, — грустно возразил Сергеев, — ты уж не заходишь. Никто еще не вернулся, и прощать некого.

Миша, слегка смутясь, остался, однако, на своем:

— Вернется, вот увидишь. Ты только... не опускайся... Я хотел сказать: не опускай руки.

Сергеев усмехнулся:

— Спасибо за совет.

Обратно он шел тем же полем. Снег под солнцем блистал такой сахарной белизной, что хотелось его полизать. Мимо Сергеева с ревом пронеслись два снегохода; краснолицая девчонка, обхватившая руками своего ковбоя, скользнула победным взглядом по пешему недотепе. Сергеев улыбался; он шел не спеша, помахив-

вая сумкой с пластинками и сушеными грибами. Это Надя заставила его взять грибы:

— Наташе скажи, пусть суп тебе сварит.

Потом, подумав, добавила:

— Пожарить тоже можно.

Назавтра к нему пришел Безукладов.

— Привет, Сергеев. Давненько я у тебя не был...

Я вот тебе «пластов» принес — у ребят достал.

Без церемоний оглядевшись, Колька заметил:

— А что — прилично живешь...

— Как же мне жить? — удивился Сергеев.

— Ну... Поп говорит, ты одичал совсем — на компьютер лаешь.

— А-а, ты Мишку видел... Ну, понятно...

— Не знаю, чего тебе понятно... Закусить-то у тебя найдется? — Колька подмигнул. — А то знаем мы вас, вдовцов соломенных.

Сергеев приготовил закуску, и они принялись за принесенную Безукладовым бутылку. Выпив и прожевав бутерброд, Колька вдруг сообщил:

— А знаешь, Сергеев, мне ведь хана... Прав был немец — закрывают мою лавочку.

— Ну и куда ты теперь?

— Да есть мысли... Но на все нужно время, а жрать надо каждый день; хорошо еще, что не женат, — никто с меня бабки не спрашивает.

— Да, это хорошо... — усмехнулся Сергеев.

Они еще выпили и помолчали. Безукладов барабанил пальцами.

— Что-то хочешь сказать? — спросил Сергеев.

— Скажу... если не обидишься? — Колька посмотрел ему в глаза. — Плюнь ты на нее! Из-за баб расстраиваться — последнее дело. У этого козла бээмвуха, баксы... А бабы в сорок лет не бывают идеалистками.

— Она не такая, старик. — Сергеев возразил, но как-то вяло.

— Брось, все они одинаковые... — Колька поиграл желваками. — Одно тебе обещаю: если этого сучка встречу, своей рукой ему мозги вышибу!

Ответить Сергеев не успел — в дверь позвонили.

Он открыл. На пороге стоял Генрих Иваныч.

— Привет, — обрадовался Сергеев, — ты как чувствовал — у меня уже Безукладов сидит. Заходи, вместе меня жизни поучите.

Бок не ответил на улыбку; похоже, он был здорово пьян. Молча пройдя в прихожую, Генрих плюхнулся на банкетку.

— Ты что, старик, все еще в запое? — спросил участливо Сергеев.

Генка молчал, уставясь перед собой невидящим взглядом. Из кухни показался Безукладов:

— Кто пришел?.. А-а, немец, здорово... Что это с ним?

— Не знаю... Ген, что случилось?

— Карл... погиб, — выдавил Генка и заплакал.

Бедный старый Карл, задумавшись, попал под машину — очень уж их много развелось в городке... Сегодня Генрих Иваныч закопал своего друга... ах, если бы он мог похоронить в той же яме воспоминания, что вчера еще грели, а теперь жгли ему душу.

— Мы с ним на Азовское море ездили... как он любил купаться... — Бок вздохнул, и глаза его вновь увлажнились.

Приятели пили за упокой собачьей души и утешали, как могли, Бока, как вдруг опять раздался дверной звонок.

— Кто там еще?.. — Сергеев отставил невыпитую рюмку и пошел открывать.

Он отворил дверь и... вот уж кого он меньше всего ожидал увидеть, так это Моргулиса! В руках Гарик держал две большие сумки.

— Хай! — Моргулис вошел по-хозяйски, с обычным своим самоуверенным видом. Он поставил сумки: — Ну, чего застыл? Принимай жену.

Наташа действительно показалась в дверях.

Однако немая сцена оказалась скомкана: на кухне загремели стулья и вышли оба сергеевских собутыльника. Безукладов попытался оценить ситуацию, но Бок, неожиданно для всех, молча и яростно набросился на Моргулиса.

— Чего?! Чего?! — завизжал Гарик тонким голосом, увертываясь от пьяных кулаков.

Генку схватили за руки.

Моргулис истерически вопил:

— Сволочи, чего я вам сделал?! Трое на одного... Наташка, уйми их!

— Будешь, гад, знать, как наших баб уводить, — мрачно пригрозил Безукладов. — погоди, еще я до тебя доберусь...

— Каких баб? — вытаращился Гарик. — Кого я уводил?

— А с кем она была? — Сергеев кивнул на жену.

— Ты что, идиот? — Наташа выступила из-за Гариковой спины. — Ты что, не знаешь, с кем я была? Я тебе звонила каждый вечер... А где ты был, я не знаю. Из-за тебя, между прочим, Гарика сорвала.

— А ответчик?.. — недоверчиво возразил Сергеев.

— Ты посмотри, может, у тебя телефон не работает, — посоветовал Моргулис, приходя в себя.

Сергеев поднял трубку. Телефон молчал...

— Ну?

— Тьфу ты, черт!.. — вырвалось у него.

Похоже было, что недоразумение разъяснилось. Жена пошла переодеваться с дороги. Моргулис потребовал водки.

— А не боишься — за рулем-то?

— Плевать...

— Молодец, — похвалил Колька, — это по-нашему... Ты того... на Генку не обижайся, он сегодня Карла похоронил.

– Карла?.. А что за Карл, тоже немец?

– Молчи, дурак...

Чувствуя, что Наташе их попойка не в радость, сергеевские приятели довольно скоро засобирались. Моргулис объявил, что в Москву сегодня не вернется, и они решили продолжить у Безукладова.

Сергеев провожал их до двери:

– Вы уж извините, мужики, я дальше пас...

– Понятно, понятно...

– Гарик, ты меня прости... И спасибо тебе за помощь.

– Если что – обращайтесь, – небрежно ответил

Моргулис.

После их ухода жена разбирала сумки. Она была не в духе и потому без почтения хлопнула на стол стопку пластинок:

– Вот. Это тебе Гарик прислал.

– Спасибо.

– Спасибо... А ты что здесь устроил? Не просыхал все время, грязьцу развел... Мусор-то хоть раз вынес?

– Нет...

– Вот иди и вынеси.

И Сергеев пошел выбрасывать мусор. Еще спускаясь по лестнице, он услышал крики и шум сражения; они доносились из квартиры Васьки Матюшина. Когда он возвращался с пустым ведром, Васькина дверь была уже нараспашку, а побоище, похоже, достигло кульминации. Безотчетно Сергеев шагнул в открытую дверь. Васька кидал в жену чашками, но попадал все время в стену, и это приводило его во все большее бешенство.

– Эй, артиллерист, – сказал Сергеев, – ты так всю посуду переколотишь!

Васька обернулся и выкатил на него красные глаза:

– А тебе чего надо?! Канай отсюда!

– Ты это... зачем женщину обижаешь?

– Твое какое дело? Учю, чтобы не блядовала... Может, ты тоже ее трахал? Так я тебе щас...

– Попробуй, – тихо ответил Сергеев и поставил ведро.

Васькина жена, всхлипывая, пыталась их остановить, но было поздно... Сергеев с таким упоением, так отчаянно махал руками, что совершенно ошеломил здорового Матюху. Минуты через три бойцы выдохлись.

– Хорош, Сергеев... Ты мне зуб выбил... – прохрипел Васька и полез пальцами в окровавленный рот. – Тьфу!

Оба тяжело дышали. Васька переступил, и под ногой его что-то хрустнуло; он, сопя, нагнулся. Это были сергеевские часы.

– «Сейка», бля... – сокрушенно прочитал Матюха и протянул часы Сергееву.

БОЛЬНИЦА (1)

Почему это доктора все пишут такими каракулями, будто находятся в состоянии аффекта? Лидия Филипповна вручила жене листок направления, похожий больше на предсмертную записку, чем на документ.

– Что ж, – участковая посмотрела на Сергеева без улыбки. – Допрыгался ты до пневмонии. Завтра с утра – в стационар... как говорится, с вещами.

Она допила свой кофе, надела пальто, не успевшее просохнуть, и, коротко простившись, ушла в осенний сырой и непроглядный вечер.

– Допрыгался... – жена задумчиво повторила врачихины слова.

Сергеев виновато пожал плечами.

– Филипповна-то совсем постарела... – пробормотал и откинулся на подушку.

Ночь Сергеев пролежал на спине, стараясь не шевелиться и удерживая кашель: всякое движение отдавалось колющей болью в правом боку. По временам над

ним склонялась жена и давала таблетки и воду. Покачивались ее груди, которые Сергеев останавливал влажной благодарной рукой...

А утром, собрав необходимое в полиэтиленовый пакет, они пошли в больницу. На дворе стоял поздний октябрь, и весь городок представлял собой одну большую лужу. Мокрыми были все: и вороны, и собаки, и машина, сломавшаяся посреди дороги, и шофер, чинивший ее стынущими руками. Перекошенный, бредущий с трудом, Сергеев лишь дополнил своей фигурой общую унылую картину — еще бы лучше это сделала похоронная процессия.

Городская больница размещалась в нескольких одноэтажных бараках, разбросанных по некрутому взгорку и почти терявшихся в колоннаде рыжих старых сосен. У подножия вековых деревьев происходило малозаметное, но непрерывное движение. Медленно прогуливались нечесанные, странно одетые личности — больные; мимо них, будто не замечая ходячую нежить, сновали деловитые медработники в халатах. Сергеев, еще не войдя в отделение, почувствовал, что ступает в другой, особый мир, где не будет места его прежним заботам.

— Тэк-с... Угу... — «тук-тук». — М-да, ну что ж...

Доктор Эйбель благоухал утренним лосьоном и выглядел как-то уж слишком здоровым рядом со сгорбившимся, потным от слабости Сергеевым.

— Что скажешь, Александр Иванович? — В женином вопросе прозвучали и тревога, и надежда вместе.

— Жить будет. — Эйбель дружески улыбнулся. — Тебе ведь без мужа никак нельзя... верно я понимаю?

Свободных коек в палате оказалось несколько, но Сергеев, едва найдя в себе силы переодеться, рухнул в первую попавшуюся. Однако кровать не дала ему опоры: Сергеев почувствовал, что продолжает куда-то проваливаться, глохнет, тонет в простынях, пахнущих тинной... Жена, склонившись, запечатлела на его влажном

лбу прощальный поцелуй и ушла. Сергеев, востепенувшись, последовал было за ней — из больничного барака по мокрой асфальтовой дорожке, прыгая через лужи, раздвигая липкую завесу то ли дождика, то ли тумана... но он не догнал ее. Сквозь сон Сергеев слышал чужие голоса и звуки; как отвязавшуюся лодку, его кружило и медленно несло меж незнакомых берегов...

И вот он в больнице. Первые сутки прошли для Сергеева в температурном забытьи. В организме его происходило нешуточное сражение: болезнь огрызалась, но медицинские сестры, сами заголяя Сергееву зад, умелой рукой вводили в тело все новые маршевые батальоны антибиотиков. Это продолжалось, покуда вечером следующего дня все поры тела его внезапно не отворились и пот не извергся из него обильными потоками. Затем наступило облегчение. Колотье в боку утишилось, разум Сергеева прояснился.

Приподнявшись в койке, он нашел подле себя на тумбочке тарелку с холодной котлетой и картофельным пюре, которые тут же съел, не почувствовав вкуса. Рядом с тарелкой стояла пустая стеклянная банка с наклеенной самодельной этикеткой. Сергеев повернул банку этикеткой к себе и прочитал: «Сергеев, 2-е отд., общ. ан. мочи». Он усмехнулся: пора было осваиваться в новой жизни. Держась за спинку кровати, он встал на ноги, дождался, пока пройдет головокружение, и с именным сосудом в руке отправился на поиски туалета.

Впрочем, долго искать ему не пришлось: стоило Сергееву выйти в коридор, как нос его сам повел в нужном направлении. Сортир второго отделения слышен был далеко — как своими запахами, так и звуками, довольно порой впечатляющими. И конечно же, он никогда не пуствовал. Сергеев обнаружил здесь трех меланхолических курильщиков, из которых двое — в спортивных штанах с отвислыми задками — стояли, а третий — без штанов — сидел орлом на цементном возвышении. Тут же серди-

тая уборщица в сером халате тыкала шваброй в ноги изможденному субъекту, качавшемуся над писсуаром. И еще... еще какой-то лохматый человечек крался вдоль стены, выглядывал что-то в ее трещинах и время от времени быстро выстреливал резинкой — прямо как лягушка своим языком.

Сергеев поборол минутную застенчивость и облегчился, не забыв уделить разумную толику для «общ. ан.». Здесь же на подоконнике он нашел целое общество банок, уже наполненных мочой всех цветов радуги, и свою пристроил туда же. Казалось, ничто больше не удерживало его в этом зловонном «заведении», но... Сергеева заинтересовал странный человечек с резинкой.

— Кто это? — тихо спросил он у одного из курильщиков.

— Кто?.. А... Это Сёма. — Курильщик равнодушно покосился на лохматого. — Тараканов бьет.

Сергеев взгляделся — Сёмино лицо показалось ему знакомым.

— Эй, — спросил он, — ты не Стрекалов Сёма?

Лохматый едва удостоил его взглядом.

— Не мешай ему. — Курильщик хмыкнул. — Вишь, сколько у него работы.

Это была правда. Теперь только Сергеев заметил их — самых многочисленных обитателей второго отделения. Тараканы здесь были повсюду: и на стенах, и на потолке, и на полу; всех возрастов, живые и мертвые, они висели гроздьями в углах и хрустели под ногами словно шелуха семечек. Иные сидели в глубокой задумчивости и только посторонялись немного, если сигаретный пепел падал им на голову; иные, наоборот, носились как угорелые, так что даже Сёме было за ними не угнаться. Некоторые, судя по их внушительным размерам, доживали в сортире до глубокой старости, а некоторые гибли во цвете лет, угодив в толчок или в банку с мочой.

И хотя болезнь притупила в Сергееве остроту восприятия, он содрогнулся в отвращении.

— Ну и гадость! — вырвалось у него. — Лежать не захочешь в такой больнице.

Курильщики посмотрели на Сергеева, потом иронически переглянулись:

— Новенький, что ли?..

Один из них снисходительно усмехнулся:

— Погоди, мужик, обвыкнешь... — и медленно сплюнул на пол.

СОБАКА СТРЕКАЛОВА

Валерка Стрекалов, старший брат лохматого Сёмы, тоже был маленького роста. От маленьких родителей своих братья унаследовали полдомика, разгороженного внутри на множество клетушек. Достигнув положенного возраста (но не роста), Валерка женился на пигалице Анчутке и создал собственную маленькую семью. Места в домике вполне хватало для троих маломерков, и даже для четверых, когда у Валерки случилось крошечное прибавление. За двести семьдесят пять рублей молодые купили в универмаге мопед, и это была их самая крупная покупка. В остальном же Стрекаловы трагались экономно, потому что лопали мало, а одежду покупали со скидкой в детском отделе.

Вечерами, окончив дневные делишки, собирались они за столом и ужинали из блюдечек. Потом Анчутка шла в огород. Валерка выкатывал из сарая мопед и продолжал нескончаемую его починку. Дурачок Сёма садился рядом на корточки и задумчиво разглядывал гайки и шестеренки, разложенные на тряпочке. Прикасаться к машине ему воспрещалось, поэтому он держал руки за спиной, со страхом и надеждой ожидая, что мотор затрещит и выпустит голубой вкусный дым. Дите Стрека-

ловых лежало весь вечер спокойно, как все недоношенные дети, на крылечке в половинке от чемодана.

Жизнь их могла бы показаться идиллической и была бы таковой, если б не одно обстоятельство. Заборчик Стрекаловых естественным образом соединялся с другими заборами по улице Котовского. Полдома их стояли в ряду с прочими домами и, хуже того, — смыкались стеной с половиной Глебки Макарова. Макаров, мужик деловой и сильный, давно уже вырастил свою половину в большой дом, под стать себе и своему хозяйству. Так что стрекаловское жилище, прилепившееся сбоку, казалось рядом с ним не более чем курятником. Сёму, понятно, эта унижительная пропорция не беспокоила, на то он и дурачок, но вот Валерку съедала обида. Обида не только на Макарова, но и на других соседей, живших, как назло, богаче Стрекаловых.

Валерка много думал, отчего его жизнь складывается, как бы это сказать, незначительно. Он и техникум закончил, и выпивал всегда в меру, и на работе старался, и... ничего. И выходило по размышлению, что виноват во всем его малый рост. Бригадиром стать надеялся — не выбрали: ни голоса командного, ни вида представительного. Стащить с завода чего-нибудь в хозяйство — силенки не хватало: Макаров прет целые брусья через забор, а ему и пары досок не осилить. Отношение к коротышке пренебрежительное: за пивом к бочке пойдешь — и то ототрут всегда в самый хвост. Однажды поддали они с Сёмой и пошли к Макарову ругаться, Валерка сам уж не помнил, за что — за канаву какую-то. И что вышло? Покидал их Глеб обратно через забор обоих, и все.

Однако Макарову следовало знать, что маленькие мужички обид своих не прощают. Стрекалов долго думал, как ему с Глебкой посчитаться, и надумал...

Как-то Сергеев, минуя стрекаловский палисадник, заметил, что Валерка играет с щенком.

— Привет, Валерка!

– Здорово.

– Ты, я смотрю, собаку завел. Что за порода?

– Кавказец.

– Да ну! Что-то мелковат...

Валерка обиделся:

– Сказано тебе, кавказец. Вырастет – зверюга будет...

– И зачем тебе зверюга? – усмехнулся Сергеев.

– Надо... – уклончиво ответил Стрекалов и покосился на макаровский участок.

– Смотри, – предостерег Сергеев, – как бы он вас самих не сожрал. Откусит твоей Анчутке зад, будешь знать...

– Ничего, – возразил Валерка, – я его на цепь привяжу.

– А кормить станешь с лопаты... – Сергеев опять усмехнулся. – Эх, парень, наживешь ты с ним хлопот.

Судьба, однако, судила по-своему. «Кавказец», конечно, подрос, но не настолько, чтобы кормить его с лопаты: ростом он вышел с небольшую дворняжку. Единственное, что оказалось в нем кавказского, – это свирепый нрав и неспособность к дрессировке. Но Стрекалов в нем души не чаял.

– Отличная собака, – похвалился он как-то Сергееву, – всех кур у Макарова передушил. Большого-то пса Глебка давно бы уже пристрелил, а в Мурзайку сколько ни стрелял – попасть не может.

БОЛЬНИЦА (2)

За несколько дней, проведенных здесь, Сергеев втянулся – «обвыкся», как ему и было предсказано. Он познакомился со своими соседями по палате, с тремя медсестрами, сменявшимися через сутки, и даже с рыжим кобельком Мишкой, навещавшим второе отделение в отсутствие Эйбеля. Давно уже Сергеев приобрел статус

«ходячего» и получал свои уколы в процедурной комнате, следом за больничными старушками. Этим старушек нельзя было опередить: они имели предубеждение только к таблеткам, а инъекции и клизмы, напротив, принимали с истовым усердием. Задолго до урочного времени они выстраивались в коридоре перед дверью в процедурную, толкались и ссорились из-за очереди злобным шепотом. Сергеев освоился также с географией второго отделения, представлявшего собой барак с длинным коридором внутри. Коридор в одном месте утолщался, образуя подобие холла. Здесь стояли две кушетки, приспособленные для сидения, и общественный древний холодильник, служивший по совместительству пьедесталом своему ровеснику-телевизору. В этом холле многие обитатели отделения проводили по вечерам свой культурный досуг. Женщины, собиравшиеся из разных палат, судачили о чем-то и сплетничали, а когда начинался сериал, умолкали и с дружным вниманием обращались к телевизору. Героев мыльных опер узнавать приходилось подчас лишь по голосам: зрительный ряд на экране тоже был сплошное мыло. Иногда старому телеприемнику даже доставалось кулаком, но он от этого только морщился.

Однако ни сам Сергеев, ни его товарищи по палате телевизор не смотрели. Все они оказались, по счастью, картежниками и вечера свои коротали за игрой в «козла». Новые приятели вообще зажили довольно дружно, по общему их мнению, хотя и не были знакомы до больницы. Они объединялись не только за карточным столом, но также при съедении яств, присылаемых каждому «с воли». Даже курить компания ходила обычно полным составом одновременно. К слову сказать, место для курения они нашли свое собственное: чтобы не дышать сортирным смрадом, приятели наладились дымить на веранде. Заколоченная снаружи, веранда эта, холодная и темная, использовалась в отделении как чулан или

свалка для всякого хлама. Для чего она предназначалась по проекту, было уже не понять — если барак вообще строился по какому-нибудь проекту. Сюда же, когда были свободны, выходили побаловаться сигареткой медсестры, точнее, две из них — Алевтина и конопатая Маринка. Алевтина была женщина неразговорчивая и с виду несколько суровая, Маринка же, напротив, любила потрепаться, особенно с Сергеевым, которого уверяла, что помнит по школе. Однажды, курия и болтая с ней на веранде, Сергеев заметил в шутку, что здесь на холодке можно держать покойников — вместо часовни. Маринка согласно кивнула, но тут же посулила ему типун на язык — потому-де, что «летальных» в отделении не было уже полгода и век бы их не видеть.

Поначалу их было четверо сопалатников: сам Сергеев, Сашка — краснорожий конюх из Матренок, Николай Федорыч — пожилой токарь с завода и толстый Михалыч — известный в городке предприниматель, изготовлявший для квартир железные двери, похожие на те, какими раньше закрывались трансформаторные будки. Несмотря на такое свое разное положение в гражданской жизни, ужились они, как было сказано, вполне неплохо. Конечно, у кого не бывает недостатков. Сашка, например, чудовишно храпел по ночам — так, что соседняя палата стучала им в стенку. Михалыч храпел потише, зато часто пускал громкие ветры — и ночью, и среди бела дня. Николай Федорыч хотя был культурнее их обоих, но оказался страшным занудой, чем особенно изводил своих партнеров по картам. Надо думать, и Сергеев не был безупречен, но... об этом он знать не мог, потому что все четверо проявляли в отношении друг друга разумную деликатность. Словом, коллектив в палате подобрался нормальный, мужской. Только Эйбель Александр Иванович во время обходов тянул своим немецким носом и велел им почаще проветривать помещение.

Так они жили до того дня, когда к ним подселили Сучкова. Новенького привели перед самым обходом, и Эйбель осматривал его прямо в палате. Тощий полутолый субъект стоял, задрав негустую, но длинную бороду, и косил на Александра Иваныча мутноватым глазом. На груди его выделялся «киль», как у курицы, а в сочельнике видно было, как бьется сердце.

— Тэк-с... Угу... Как вас зовут, уважаемый?

«Уважаемый» пошатывался от докторских прикосновений. Крути от стетоскопа долго не проходили на его желтом теле.

— Яков Денисыч, — не сразу сообщил бородатый каким-то сдавленным голосом. — Су... Сучков.

— Вот и славно...

Доктор сложил стетоскоп, велел Якову Денисычу одеваться и вышел из палаты. Но уже развеялся в воздухе аромат Эйбелева лосьона, а Сучков все стоял, желтея убогой наготой и глядя отрешенно перед собой.

— Проснись, борода! — засмеялся Михалыч. — Сеанс окончен.

Но «сеанс» только начинался. Неожиданно Яков Денисыч бурно задышал и забормотал что-то неразборчивое; руки его беспокойно задергались. Затем бессвязная речь его перешла в завывания, глаза закатились; Сучков повалился на пол и заскреб ногтями линолеум, искривляясь и корчась всем телом. Из всех оторопевших сопалатников первым нашелся Сергеев. Он схватил с тумбочки обеденную ложку и, придавив Сучкова коленом, сунул ее в мычащий рот. Минуты три Яков Денисыч грыз эту ложку, пуская в бороду кровянистую пену, но постепенно конвульсии его стихли и он обмяк. Его перетасили в койку. Припадок закончился, но страдалец еще долго не мог прийти в себя: то и дело он вскидывался, тарачил глаза и вскрикивал: «Что?!. Что?!»

Припадок Якова Денисыча сделался, конечно, предметом обсуждения и даже послужил поводом для заглаз-

ных шуток, но вскоре он был заслонен другим, более значительным событием. На следующий день в палату к ним пришла Надежда — так звали третью, некурящую медсестру отделения. Вид у нее был расстроенный.

— Что я вам скажу, ребята... — сообщила сестра. — В четвертой палате бабушка отходит. — И сокрушенно добавила: — Как раз в мое дежурство подгадала...

Мужчины выразили Надежде сочувствие и посоветовали вызвать для бабушки попа.

— Попа-то попа, — грустно возразила она, — а если ночью помрет — кто выносить будет?

— Ну, пусть до утра останется — чай, не убежит.

Она покачала головой:

— Не положено их с живыми держать: больные от этого расстраиваются. — Надежда вздохнула. — Притом женщины...

Вот, стало быть, зачем она пришла... Приятели чесали затылки: никому из них не улыбалось возиться ночью с покойницей. Надежда искательно засматривала им в лица. Наконец, после паузы, голос подал Михалыч.

— Что же, — произнес он задумчиво, — помочь-то можно... Только нам опосля надо будет руки помыть...

Сестра, просветлев, пообещала поговорить с Эйбелем насчет «помыть руки», и на том порешили.

Тем временем печальное известие быстро распространилось по всем палатам. Из уважения к бабушке, еще, впрочем, не покойнице, второе отделение приспустило флаги. Больные в коридорах разговаривали вполголоса, и даже телевизор вечером работал тише обычно. О виновнице событий Сергеев узнал, что звали ее Нефедова Варвара, но что на имя свое она давно уже не откликалась, а издавала по любому поводу один только звук «о».

— «О» да «о»... А ить раньше какая говорунья была!

Одна из больничных старушек знала Нефедову с юности:

— Кансамолка была... стриженная... ох и речиста!

Сидя в холле на кушетке, бабульки спорили — годится ли, чтобы батюшка причащал бывшую комсомолку: «Оне ведь в церкву с гармошкой ходили». Но покуда старушки решали, он и явился — священник; прошелестев мимо них черным ветром, отец Михаил скрылся в четвертой палате. Пробыл он у Нефедовой минут пятнадцать, потом вышел и обратным путем, благословляя недужных, случившихся в коридоре, покинул отделение.

По уходе отца Михаила все, даже бабушки, примолкли и разбрелись по койкам. Отделение затихло в ожидании. Однако вестей из четвертой палаты все не поступало, и ожидание мало-помалу перешло в сон. Только Сергеев с приятелями не гасили света, сидели у себя, вяло шлепая картами, и прислушивались к шагам, доносившимся из коридора.

— Скорей бы уж...

Наконец дверь в палату приоткрылась, и в проеме показалась голова Надежды.

— Все! — сказала сестра, сдерживая волнение. — Пошли, ребята.

В дверях четвертой палаты они столкнулись с дежурным врачом, единственным ночью на всю больницу. Он уже констатировал летальный исход и возвращался назад, досыпать в ординаторскую первого отделения. Мертвая Нефедова лежала совершенно голая; тело ее выглядело на удивление молодым. Несколько женщин сидели в своих койках, оцепенев, словно ночные куры. Надежда принесла и разложила на полу старые брезентовые носилки. По ее команде мужчины за четыре угла взяли простыню, на которой лежала покойница, и подняли тело с кровати. В этот момент мертвая издала стон, похожий на звук «о».

— Ешь твою душу! — Они от испуга чуть не выронили покойницу.

— Воздух выходит! — прошептала Надежда, но видно было, что и она струсила от неожиданности.

Нефедову все-таки переложили на носилки; на матрасе после нее осталось только мокрое пятно. Покойницу отнесли на веранду, которая таким образом сослужила службу, предсказанную Сергеевым. Носилки приятели поставили на два стула — от крыс повыше. Потом они перекурили и пошли получать обещанный спирт.

МОГИЛА

В то утро впервые по-настоящему приморозило. Земля стелилась сизая, небо туманилось сизое, а солнце горело неярко, как свечка в изголовье усопшего. Дорога на кладбище шла меж полей, взборожденных окаменевшей, неряшливо припудренной пахотой. Речка кривила черствые губы, и в черном рту ее блесстел золотой зуб. И речные берега, и обочины дороги жестко щетинились мертвой травой; сухие кусты на кочках торчали неопрятно, напоминая старческие бородавки. Словом, сама природа в то утро сильно смахивала на покойницу, и только легкий парок над речкой показывал, что она притворяется.

Козлов, Твердов и Барабулькин не были профессиональными копцами-могильщиками. На это дело их отрядили с завода, пообещав, естественно, по отгулу. Добравшись до кладбища, они постучались в дверь маленького домика, выстроенного при въезде. На домике прибита была вывеска «Зал прощания», но копцы знали, что это никакой не зал, а всего лишь сторожка, где хранился инвентарь и грелся у печки кладбищенский смотритель Ильич.

Ильич внимательно оглядел мужиков — не ханыги ли — и выдал им две лопаты, лом и лестницу. Бородастый, как Сусанин, он повел их, уверенно вслушая снег,

на край кладбища — туда, где еще не выросли деревья и где желтели молодые кресты-новобранцы.

Барабулькин, замыкавший отряд, задержался у чьей-то старой могилы.

— «Прохожий, остановись! Ты в гостях, а я дома», — вслух прочел он на покосившемся кресте. — Читал? — толкнул он Твердова.

— Угу... — ответил Твердов.

— Хорошо сказано!

Ильич привел их на место и проинструктировал, где и как им копать.

— Ничего, — ковырнул он лопатой землю, — еще не прихватило... Хотя все равно с глиной намаетесь. Так что отдохнуть ко мне милости просим... небось захватили с собой — для сугреву?

За работу они взялись довольно резво, однако вскоре поняли, что зритель был прав: кладбищенская глина оказалась тверда как камень и с трудом подчинялась даже лому. Провозившись с перекурами часа четыре, неопытные копцы действительно умаялись.

— Хорош! — объявил наконец Козлов. — Пошли обе-
дать.

Они побросали инструмент в недорытую яму и побрели по собственным следам назад в «Зал прощания». Козлов с Твердовым дорогой толковали о каких-то делах, а любопытный Барабулькин озирался. Могильные холмики были покрыты свежим снегом, и казалось, что это и есть сами покойники, лежащие под общим белым одеялом. Вороны, обычный гарнизон любого российского кладбища, сидели на безлистных деревьях и молча без интереса наблюдали за мужиками: они понимали, что поживы от могильщиков не будет.

В «Зале прощания» было жарко натоплено. К Ильичу из городка пришли две собаки и лежали у печки, воняя псиной. Увидев мужиков, зритель обрадовался.

— Молодцы, робяты! — похвалил он. — Полдня уже, а они тверезые... Давеча одни копали — так все к обеду и полегли в могиле.

Козлову, как старшему в их бригаде, на заводе выделили со склада ЛВЖ литр технического спирта; кроме того, каждый из копцов принес из дома по увесистому тормозку со снедью. Обед получился обильный — угощали не только Ильича, но и собак. Спирт, как ему и положено, ударил в головы не сразу, а с запозданием, исподтишка, так что к концу трапезы «тверезых» среди них уже не было. Старик Ильич, захмелев, развеселился и молот всякую чушь.

— Я, — болтал он, — тута, как Ильич в Мавзолее... мумия! Меня смерть не берет, как я есть ее прислужник.

Дворняги, налопавшись объедков, заснули друг на друге, словно пьяные. Ильич тоже начал задремывать. Козлов вздохнул и скомандовал подъем: хочешь не хочешь, а работу надо было заканчивать. Вернувшись на место, они поняли, что могилу придется докапывать вдвоем: молодой Барабулькин, как оказалось, совершенно окосел и к делу стал непригоден. Тем не менее к сумеркам могила была готова. Козлов подровнял стенки и по лестнице вылез из ямы. Появился проспавшийся Ильич. Он поглядел вниз и похвалил:

— Молодцы, дотемна спроворили.

Смотритель взял инструменты, а Козлов с Твердовым подхватили под руки бессмысленно улыбавшегося Барабулькина. Расставались с Ильичом у сторожки; довольный старик пожимал мужикам руки:

— Прощевайте, робяты. Случай чего, заходите...

Козлов, усмехнувшись, возразил:

— Кто же к тебе сюда придет без нужды...

Старик согласился:

— И то верно — никто... окромя энтих, — он кивнул на собак. — Ладно, ступайте с Богом, только своо не

потеряйте. Не то замерзнет и обратно сюды... хе-хе... по нужде.

Разумеется, Козлов с Твердовым Барабулькина не бросили. Его, измазанного в снегу и кладбищенской глине, доставили домой, завели на этаж и прислонили к квартирному косяку. Потом они позвонили в дверь и... быстро выбежали на улицу, чтобы не объясняться с барабулькинской женой. Там, на улице, мужики рассмеялись сами себе — тому, как дали стрекача словно пацаны.

На другой день были похороны. Барабулькина не пустила жена, а может быть, он просто не явился с похмелья. Козлову с Твердовым предстояло нести гроб; к ним присоединились еще Титов и Лопанов. Хоронили Варвару Нефедову, мамашу Александра Палыча, их начальника участка. Нести ее было одно удовольствие, потому что она почти ничего не весила. Гроб с покойницей выставили перед домом на табуретки и немного около него потолклись. Потом его занесли вместе с венками в кузов грузовика и повезли в церковь на отпевание. Желающие тоже поехали следом в заводском автобусе. Перед церковью процедура повторилась в обратном порядке: гроб со стуком вытянули из кузова и на плечах понесли в храм. Покойница от этих манипуляций покачивала головой, будто сетовала на лишнее беспокойство. Одна старушка в публике даже сказала другой:

— Знать, не хочет Варвара в церковь...

И та согласилась:

— Угу... Как была кумунисткой, так и осталась.

Мужики внутрь не пошли, а остались курить за церковной оградой.

— Теперь надолго... — сказал задумчиво Твердов.

— Да уж... — согласился Козлов. — Покурим — пойдем греться.

— Раньше по-другому хоронили: прямым ходом.

— Зато с оркестром... — Козлов усмехнулся.

Действительно, в прошлые времена хоронили у нас с оркестром. Что ни неделя, с разных направлений ветер доносил скорбные нестройные завывания труб и глухое буханье переносного барабана. Музыканты порой «выходили на жмура» такими пьяными, что спотыкались не только в мелодиях, но и просто ногами. Но то было раньше...

Что ж, хоть и без оркестра, но старуху Нефедову похоронили по-людски. Александр Палыч остался доволен. Перед тем как поставили и заколотили крышку, он долго всматривался в серое лицо мертвой матери и что-то поправлял у нее в гробу. Конечно, в продолжение тягостной процедуры все провожатые порядком замерзли, однако вернуться в автобус не решались из приличия. Впрочем, это ничего: с кладбища их повезли в заводскую столовую на поминки, и там они отогрелись.

БОЛЬНИЦА (3)

— Мишка!

— ...?

— Заболел!

Кобелек подумал и лег на бок, косясь на колбасу в Маринкиной руке.

— Мишка!.. Летальный!

Он закрыл глаза, хотя хвост его продолжал постукивать по полу.

— Ай да молодец!.. А еще что он умеет?

Маринка засмеялась:

— Мишка!.. Эйбель идет!

Пес заскулил и полез под стул.

— Ну прямо цирк!

Конечно же, Маринка обманывала. Эйбель сегодня в отделении отсутствовал, потому что день этот был воскресный.

Накануне ночью разыгралась непогода. Встряхивая ветхий барак, ветер налетал, ускорял бой капель по жестяному подоконнику. Ближняя осина кренилась и скреблась, скреблась в окно, будто просилась в палату... Потом дождь сменился метелью, которая, стихнув, перешла в густой снегопад. Утром все звуки в отделении звучали глуше обычного, словно бы его простегали снаружи ватой. Выглянув в окно, Сергеев увидел, что пришла зима.

Сдавая смену, Алевтина озабоченно щупала батареи:
— Не подвел бы Емельяныч...

Но Емельяныч не подвел. В окно было видно, как густо, бойко дымила больничная кочегарка, полуврытая в землю наподобие дота. Истопник Емельяныч только изредка показывался на поверхности — зачерпнуть ведром из не разобранный покамест угольной кучи. Этот «дот», как свой огневой рубеж, он должен был теперь стойко держать до весны. Сам одетый в невзрачный мундир из угольной пыли, Емельяныч даже не взглядывал за недосугом на свою противницу — зиму. А она между тем наступала во всей красе: в белом новеньком кителе, ослепительно сияя золотой кокардой, зима развертывала свои полки под голубым, без пятнышка огромным знаменем...

С утра по свежавыпавшему снежку в отделение потянулись посетители. Граждане «с воли» входили, тронутые морозцем, краснощекие, бодрые. Однако, попав в сумеречное паркое чрево барака, пахнувшее клозетом, бинтом и казенной кухней, они как один конфузились и робели. Здесь им делалось не по себе, как тому древнегреку, что попал в загробное царство. Посетители со скрытой тревогой высматривали своих среди бледных обитателей отделения. Но они ли это? Те ли их близкие, домашние, выплывали навстречу, сгустившись из душного воздуха, перебирали передачи и выслушивали семейные интимные доклады?

И к Сергееву пришла жена — принесла сумку с разными вкустоями. И она, как полагается, пыталась оживить, развлечь его беседой. А где-то за семью одежками млело ее женское естество и спрашивало о своем...

В это воскресенье посетители были у каждого из сергеевских сопалатников. К Сучкову приходила супружница — такая же худая и нервная, как он сам. Она шептала ему что-то на ухо и подозрительно посматривала по сторонам — выясняла, наверное, не обижают ли тут ее Якова Денисыча. Николая Федорыча навестила дочь. Без лишних слов она вымыла ему тумбочку, перестелила постель, посидела молча минут десять и ушла, поцеловав его на прощание в шершавую щеку. Но хотя дочь держалась с ним чрезвычайно сдержанно, Федорыч почему-то разволновался: сопел, протирает очки и после ее ухода курил один на веранде. Ближе к обеду за дверью раздались топот и зычные голоса. В палату, следя на линолеуме, ввалились трое дюжих мужиков — Михалычевы работяги. Они бросили ему в кровать большой пакет с апельсинами.

— Ты чё это, в натуре, удумал, Михалыч? Работы невпроворот, а он залег! Хотя бы на мобилу позвонил... На вот, реестры подпиши...

Михалыч подписывал и ухмылялся почти застенчиво.

— Не умею я с этой хреновиной обращаться, — оправдывался он. — Какие там кнопки нажимать — никак не усеку...

Позже всех, уже когда стемнело, побывала посетительница и у краснолицего Сашки. Была эта женщина ему сожительница или просто знакомая, приятели так потом и не выяснили, потому что Сашка на их расспросы отвечал уклончиво. Сначала в окне палаты показалось ее белое круглое лицо, а через несколько минут уже вся тетка вошла с другой стороны — через дверь. Была она полная, немолодая и все косилась на мужчин с боязливой улыбкой, пока Сашка выгружал в тумбочку

принесенные ею харчи. Потом он взял ее за руку и увел на веранду, где они шушукались битых полчаса.

Но лишь один посетитель выразил желание остаться на ночь – рыжий кудлатый Мишка. Будучи изгнан из всех других палат, он нашел себе приют в мужском общежитии: здесь запах псины никого особенно не раздражал. Правда, Маринка хотела его вытурить, но вместо этого осталась сама – поужинать с мужчинами за их общим, богатым сегодня столом. Потом вся компания до полуночи играла в «козла» навывлет...

Ночью Сергеев проснулся от женского истошного визга. Первая мысль была, что в отделении опять кто-то умер. Но в следующее мгновение он услышал звон бьющегося стекла и почувствовал едкий запах гари. Он вскочил. В щели под дверью вспухал белый, словно ватный, валик.

– Горим, братцы! – Сергеев схватился за штаны.

– Полундра! – заорал Михалыч, и вся палата повскакивала с коек.

Сучков, как был в трусах, рванулся к окну, но Сергеев его оттащил:

– Куда, дурак! Хочешь, чтобы полыхнуло?!

Полуодетые, они выбежали в коридор. Там, задыхаясь в дыму, металась Маринка:

– Мужчины! Лежачим помогите!

Женщины, воя от страха, лезли на подоконники и кулями переваливались наружу, в снег. Лежачие сползали с кроватей и падали со стуком на пол. Крик и стоны стояли повсюду. Сергеев с товарищами хватали стержни и переправляли их через растворенные окна. Но через эти же окна вместе с уличным воздухом пожар получал свою силу. Все новые кроваво окрашенные сгустки дыма выхаркивались откуда-то, и уже отчетливо слышалась грозная хрусткая поступь огня...

– Сергеев! – Маринка кинулась к нему, давясь кашлем. – В пятой бабка парализованная осталась!

Зажав рукой нос и рот, Сергеев бросился по коридору и исчез в дыму...

Сколько длилась вся эта суматоха — кто может сказать? Спустя, быть может, четверть или полчаса люди, уже сбившись дрожащей кучкой, стояли и в оцепенении смотрели, как гибнет второе отделение.

Только когда окна барака превратились в красные рыкающие пасти, когда над проваливающейся крышей взметнулись победные языки пламени, взвыла где-то рядом пожарная сирена. Машина протаранила забор и увязла в сугробе; в снег из нее попрыгали нетрезвые огнеборцы. Но куда бойцы, мешая друг другу, разматывали рукав, их усатый командир уже командовал отбой. Тушить пожар было поздно.

Ведомые кашляющей Маринкой, с охами и причитаниями, несчастные потянулись в первую терапию. Перебудив аборигенов, они набились в чужое отделение целой толпой, принеся с собой запах шашлыка и наполнив барак стенаниями. Вскоре туда же прибежал всклокоченный Эйбель и появился откуда-то милицкий капитан с блокнотом. Началась переключка. Капитан записывал фамилии аккуратно, иногда уточняя, а когда закончил переключку, зачитал список и спросил, все ли налицо.

— Сергеева нет! — слышался мужской голос.

— И бабушки одной! — добавил женский.

— Сергеева нет, — капитан записывал, — и бабушки одной... Как ее фамилия?

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Наши ветерки местные — порядочные лентяи: по большей части спят котами в лесу, прядая еловыми верхушками. Разве приснится что — и ударят, махнут по полю пыльными хвостами, взъерошат траву; и кружатся по-

том пчелы, вспоминая, за каким цветком обедали. Но бывает, конечно, и им, сибаритам, захотится размяться. Они приходят в городок на мягких лапах и гуляют по улицам, играют с чем попало и пристают к людям: уберут со лба волосы, перевернут наконец беребимую пальцами страницу. А то вздуют кверху клешеную юбочонку или примутся кувыркать в небе галок, взвизгивающих от восторга.

Наши ветерки любят пошалить: захотят — и затолкают обратно дым в печную трубу или заберутся к мужику в самое брюхо, покрутят там да и выскочат на волю со страшным шумом. Но как бы им ни вздурилось, играя, наши ветерки когтей не выпускают. Другое дело — ветры залетные, пришлые — эти рвут не шутя. И несут они с собой не лесной йод, а вонь гари, и слышится в них не птичий гам, а волчий вой (но это, говорят, не волки, а муэдзины воют за лесами). Злые ветры докрасна раскаляют топки телевизоров, и те изрыгают пламя, пытаются опалить нам лица. Эти ветры валят вековые деревья и срывают домовые крыши; признаться, немало шапок унесли они и с наших голов. Однако не сами головы — такое даже им не под силу: слишком крепко пришиты головы к плечам, слишком глубоко тела наши врыты в родной суглинок.

Мы непросты. Мы научились греться у телевизора, как у камелька. Нас невозможно напугать и очень, очень трудно разозлить. Ветер налетел и... стих — увяз в дремучем лесу. А телевизор — он же такой маленький, меньше собачьей будки, в которой скачут блохи. Мы усмехаемся миру, копошащемся в ящике, зеваем и уходим спать. Возможно, и миру, моргающему воспаленными телеглазами, мы безынтересны. Но это уж всяк сам решает, что важнее: завтрашняя прополка в огороде или, положим, обострение в Гваделупе. Мы не навязываем никому свои ценности, однако привержены им до последнего вздоха. Взять для примера Селиверстова

Пал Егорыча. В сентябре прошлого года (а год был очень сухой) лежал он в нашей больнице и помирал от рака. (И, главное, знал, что помирает.) Так он все дела свои успел устроить: дарственные, какие надо, написал, с попом, отцом Михаилом, сам заранее договорился. И в числе важного Татьяне, жене своей, велел обязательно хорошенько яблони пролить. Тетя Таня сперва не поняла — даже подумала, что он бредит: как это, осень — и поливать? А он ей разъяснил: «Дура, — говорит, — лето ж сухое было! Обязательно надо полить на зиму. И вообще... делай, что велю». (Правильно, кстати, сказал.)

Вот так мы о своем заботимся: если что посадили, растим до последнего. Это и есть растительная жизнь — когда все растет и все живет. Растительная жизнь — чем она плоха? И воздух где чище, нежели в лесу, среди растений? Однако находятся критики — кого ветром занесет, кто самоходом (жабу свою выгуливает). Те самые бедолаги, которые путают свои нервные болезни, понимаешь, с духовностью. Поживут три дня, и уж готов у них приговор: «Скучно, — говорят, — тут у вас. На какой участок ни заглянешь, везде одно и то же: яблони да огород, а в огороде картошка да огурцы, кабачки да капуста».

Что им возразить? Во-первых, пробовали мы сажать и патиссоны, и топинамбур, но они нам не понравились. Во-вторых, если разобраться, то и огурцы, и капуста у всех разные: кому что удастся. И в-третьих, пусть не часто, но и в наших огородах такое порой диво зреет, что руками разведешь. Но нарочно чудеса выращивать — это увольте. Пускай природа сама распорядится, не надо ее насиловать и себя тоже. У природы нет таких растений, чтобы цвели беспрерывно, а каждое тихо сидит, набирается соков и лишь иногда, поднатужась, выпустит цветок — кому на пользу, а кому на радость. А вечные цветы — кладбищенские; сидят на

проволочках, и радости от них нету ни им, ни покойникам. И душа человеческая цветет не каждый день — бывает, что раз в жизни. Что ж, лишь бы не на проволочке цвела, лишь бы не бумажным цветом.

Скучно? Да уж, так и веет скукой от этих физий, заглядывающих через наши заборы. И нечем, кроме скуки, и пустоты своей, и болезней своих, им с нами поделиться. Иному, разве, придет охота о нас, убогих, порадовать. Приставит ко лбу ладошку, окинет глазом: «Эй вы, — крикнет, — овощные культуры! Разогнитесь, посмотрите, как интересен мир, сколько в нем такого разного... прекрасного». — «Мир-то, может, интересен, — отвечаем мы не разгибаясь, — иначе жизнь коротка. Посадить бы успеть да вырастить». — «Это что же — вы, стало быть, этим и счастливы?» — удивляется он. «Стало быть, так. Иди с Богом и не мешай». И отступается благодетель, и кривится от скуки: «Эх, растительная ваша жизнь... Тыфу на вас!»

Тыфу и на тебя! Мир твой мы и по телику посмотрим, а здесь десять соток, и со всем надо управиться. Бумажные цветы годятся, быть может, для кладбища, но не вешай нам их на уши. А настоящие цветы тоже, между прочим, в земле растут, и кто хочет их выращивать, забудь о таком всяком, забудь о болезнях нервных, обо всем лишнем и трудись, как если бы растил овощи. Эдак мы ему образно отвечаем.

Вон Галька Уткина — на цветочках, можно сказать, всю семью содержит. И на рынке не гнушается стоять. То же и муж ее, Вовка-художник, — плохой-хороший, мы не понимаем, главное, трудится, рук не покладая, и все его уважают. В каждом почти доме по картине его висит, а спроси его, где эта Гваделупа, — он не знает. Зачем ему Гваделупа или всемирная интеграция, когда он даже в Союз художников не вступает? «Не нужны мне, — говорит, — буклеты и вернисажи с шампанским — у меня и костюма-то приличного нет». Зато у него есть поле

и речка, и Галя белокожая, и фантазии хоть отбавляй — он тебе такое нарисует, чего в жизни-то не увидишь. Зато сосед ему, неловкому, всегда калитку или крыльцо поправит, а возьмет за работу свой пруд собственный с гусями, которых Вовкин талант в лебедей оборотил.

А союзы эти — они до добра не доводят, между прочим. Что гулящему человеку некогда в доме крышу ладить, то и суетящемуся — починять свою голову. Вот пример: писатель наш, Подгузов. Был когда-то член союза, большой человек, почет имел. И что же? Первым ветром крышу ему снесло — не вынес, видишь ли, трагизма перемен. Ходит теперь, болезный, по улицам, «галочки» пускает.

А вот обратный пример. Есть, говорят, у нас такой Сергеев — однофамилец твой. Обычный мужик, на заводе работает; квартира, семья — все как у людей. Однако рассказы пишет не хуже писателя — уже книжку написал. Но обрати внимание, про что пишет — про нас, про наш городок, про вот эту самую растительную жизнь. А мировые проблемы ему до фени... Да что я тебе толкую, сам, поди, о нем слышал?

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕТРОВИЧ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не утерпел	7
У железной дороги	20
Бросили?	31
Грабли для Петровича	41

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рыбалка	55
Штаб	77
Дело случая	92

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Генрих	108
Годы чудесные	139

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Павильон	164
----------------	-----

СЕРГЕЕВ И ГОРОДОК

Роман

Частный сектор	215
Судьба	222
Пиджак	234
Брамс	245
Колесо	253
Не поле перейти...	262
Друзья	268
Напраслина	275
Переезд	281
Тяжелый день	295
Облом	305
Яблина	317
Безотцовщина	324
Про любовь	333
Травкин	340
Муха	348
В добрый путь	357
Винил	366
Больница (1)	387
Собака Стрекалова	391
Больница (2)	393
Могила	399
Больница (3)	403
Растительная жизнь	407

Литературно-художественное издание

Зайончковский Олег Викторович

ПЕТРОВИЧ

Романы

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*
Выпускающий редактор *Т.С. Королева*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Корректоры *И.Б. Москаленко, М.И. Уланова*
Компьютерная верстка *Е.М. Илюшина*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Издание осуществлено при техническом содействии ООО «АСТ»

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Шорт-лист премий «БОЛЬШАЯ КНИГА»
и «РУССКИЙ БУКЕР»**

**Олег Зайончковский
СЧАСТЬЕ ВОЗМОЖНО**

Роман нашего времени



Герой романа — писатель. Сочинитель чужих судеб, он даже не пытается распутать свою, с поистине буддистским спокойствием наблюдая, как его жена уходит к другому, из тех, кто «круче». Негаданно-нечаянно любовный треугольник приобретает странные очертания и победителем оказывается... брошенный муж.

«Зайончковский безусловно национальный автор, с особенным отечественным строем ума, выражающимся и в философствованиях, напоминающих Гоголя и Пелевина».

Лев Данилкин

«Автор имеет редкий дар. Он способен разглядеть в микрочастице космос, и это придает его произведениям размах...»

Майя Кучерская

Лонг-лист премии
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

Олег Зайончковский
ЗАГУЛ



Герой романа — Нефедов — отменный муж и семьянин, поссорившись с женой, уходит из дома, то есть в загул. Не вполне трезвый, выбитый из привычной колеи, он против собственной воли становится главным действующим лицом необыкновенных и опасных приключений, связанных с пропавшей рукописью знаменитого русского писателя Почечуева. Нефедов не только спасает для Отечества культурную ценность, но и сам возвращается в лоно семьи.

«Олег Зайончковский приближает нас к самой лучшей, самой живой интонации русской классической прозы. И отнюдь не в музейно-стилизационном формате, безо всяких “батенок” и “помилуйте”. Мы вроде как сидим на веранде, пьем чай, беседуем и никуда не спешим. При этом не дуем на блюдце с пальцем на отлете. Просто: достойно пьем чай с приятным собеседником, не как прадеды, а как мы сами. Но и как прадеды».

Леонид Костюков

Олег Зайончковский – автор романов «Петрович», «Сергеев и городок», «Счастье возможно», «Загул»; финалист премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Его называют последователем русской классической традиции и одновременно одним из самых оригинальных современных русских прозаиков.

И в романе «Сергеев и городок», и в «Петровиче» герои живут «не так далеко от Москвы», ритм их жизни подчинен природному, совпадает с течением времени, здесь четче проступает связь поколений. Герой «Петровича» – мальчик, подросток, юноша – окружен любящей семьей, где его кличут отнюдь не детским именем Петрович, может быть, потому, что он снисходительно терпит «глупости» взрослых.

Последовательно переживая каждому известные тревоги: детский сад, драка во дворе, первая рыбалка, – Петрович взрослеет и то ли находит свой путь, то ли повторяет кем-то уже пройденный и заранее предопределенный...

Роман вошел в лонг-лист премии «Ясная Поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность».

ISBN 978-5-271-44973-4



9 785271 449734